МОСКОВСКИЕ ГРАДОНАЧАЛЬНИКИ

Александр Васькин

ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Автор для повествования о московских генерал-губернаторах выбрал четыре ярчайшие фигуры хозяев Первопрестольной, чьи судьбы связаны с драматичной и великой историей Москвы времен 1812 года. Здесь и Федор Ростопчин — человек «безызвестного происхождения», свидетель и участник событий отступления русских войск от Москвы и великого московского пожара, и Дмитрий Голицын — талантливый полководец, отмеченный Суворовым и Кутузовым, любимый народом градоначальник, отстроивший Москву, и Арсений Закревский — человек незнатный и небогатый, герой Аустерлица и Бородина, адъютант Барклая, генерал-губернатор Великого княжества Финляндского, с 1848 года — военный генерал-губернатор Первопрестольной, управляющий жизнью города железной рукой. И наконец, Владимир Долгоруков — единственный московский генерал-губернатор, удостоенный чести быть почетным гражданином Москвы. Он управлял Москвой четверть века и был автором многих значительных усовершенствований в разнообразной жизни города, вдохновителем проекта величественного памятника героям войны 1812 года — храма Христа Спасителя, строительство которого было закончено именно при этом градоначальнике. Биографии градоначальников содержат множество интереснейших фактов и наблюдений современников, которые спорили о личностях генерал-губернаторов, как спорят о них и современные историки. Книга написана по архивным документам и воспоминаниям очевидцев. Представляет интерес для широкого круга читателей.

- Александр Васькин
  -
  - НЕДРЕМЛЮЩЕЕ ОКО ГОСУДАРЯ
  - ФЕДОР РОСТОПЧИН О МОСКВЕ:
    -
    - ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
    - БИБЛИОГРАФИЯ
  - ДМИТРИЙ ГОЛИЦЫН:
    -
    - ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
    - БИБЛИОГРАФИЯ
  - АРСЕНИЙ ЗАКРЕВСКИЙ:

- ■
- ■ ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
- ■ БИБЛИОГРАФИЯ

○ ВЛАДИМИР ДОЛГОРУКОВ:

- ■
- ■ ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
- ■ БИБЛИОГРАФИЯ

○ ИЛЛЮСТРАЦИИ

- ■
- ■
- ■
- ■
- ■
- ■
- ■
- ■
- ■
- ■
- ■
- ■
- ■
- ■
- ■
- ■
- ■
- ■
- ■
- ■
- ■
- ■
- ■
- ■
- ■
- ■
- ■
- ■
- ■

○ INFO
○ СТАРЕЙШАЯ РОССИЙСКАЯ КНИЖНАЯ СЕРИЯ
○
○ НОВАЯ КНИЖНАЯ СЕРИЯ
○ СЕРИЯ «ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ»

• notes
  ○ 1
  ○ 2

- ○ 3
- ○ 4
- ○ 5
- ○ 6
- ○ 7
- ○ 8
- ○ 9
- ○ 10
- ○ 11
- ○ 12
- ○ 13
- ○ 14
- ○ 15
- ○ 16
- ○ 17
- ○ 18
- ○ 19
- ○ 20
- ○ 21
- ○ 22
- ○ 23
- ○ 24
- ○ 25
- ○ 26
- ○ 27
- ○ 28
- ○ 29
- ○ 30
- ○ 31
- ○ 32
- ○ 33
- ○ 34
- ○ 35
- ○ 36
- ○ 37
- ○ 38
- ○ 39
- ○ 40
- ○ 41
- ○ 42
- ○ 43
- ○ 44
- ○ 45
- ○ 46

- ○ 47
- ○ 48
- ○ 49
- ○ 50
- ○ 51
- ○ 52
- ○ 53
- ○ 54
- ○ 55
- ○ 56
- ○ 57
- ○ 58
- ○ 59
- ○ 60
- ○ 61
- ○ 62
- ○ 63
- ○ 64
- ○ 65
- ○ 66
- ○ 67
- ○ 68
- ○ 69
- ○ 70
- ○ 71
- ○ 72
- ○ 73
- ○ 74
- ○ 75
- ○ 76
- ○ 77
- ○ 78
- ○ 79
- ○ 80
- ○ 81
- ○ 82
- ○ 83
- ○ 84
- ○ 85
- ○ 86
- ○ 87
- ○ 88
- ○ 89
- ○ 90

- ○ 91
- ○ 92
- ○ 93
- ○ 94
- ○ 95
- ○ 96
- ○ 97
- ○ 98
- ○ 99
- ○ 100
- ○ 101
- ○ 102
- ○ 103
- ○ 104
- ○ 105
- ○ 106
- ○ 107
- ○ 108
- ○ 109
- ○ 110
- ○ 111
- ○ 112
- ○ 113
- ○ 114
- ○ 115
- ○ 116
- ○ 117
- ○ 118
- ○ 119
- ○ 120
- ○ 121
- ○ 122
- ○ 123
- ○ 124
- ○ 125
- ○ 126
- ○ 127
- ○ 128
- ○ 129
- ○ 130
- ○ 131
- ○ 132
- ○ 133
- ○ 134

- ○ 135
- ○ 136
- ○ 137
- ○ 138
- ○ 139
- ○ 140
- ○ 141
- ○ 142
- ○ 143
- ○ 144
- ○ 145
- ○ 146
- ○ 147
- ○ 148
- ○ 149
- ○ 150
- ○ 151
- ○ 152
- ○ 153
- ○ 154
- ○ 155
- ○ 156
- ○ 157
- ○ 158
- ○ 159
- ○ 160
- ○ 161
- ○ 162
- ○ 163
- ○ 164
- ○ 165
- ○ 166
- ○ 167
- ○ 168
- ○ 169
- ○ 170
- ○ 171
- ○ 172
- ○ 173
- ○ 174
- ○ 175
- ○ 176
- ○ 177
- ○ 178

- ○ 179
- ○ 180
- ○ 181
- ○ 182
- ○ 183
- ○ 184
- ○ 185
- ○ 186
- ○ 187
- ○ 188
- ○ 189
- ○ 190
- ○ 191
- ○ 192
- ○ 193
- ○ 194
- ○ 195
- ○ 196
- ○ 197
- ○ 198
- ○ 199
- ○ 200
- ○ 201
- ○ 202
- ○ 203
- ○ 204
- ○ 205
- ○ 206
- ○ 207
- ○ 208
- ○ 209
- ○ 210
- ○ 211
- ○ 212
- ○ 213
- ○ 214
- ○ 215
- ○ 216
- ○ 217
- ○ 218
- ○ 219
- ○ 220
- ○ 221
- ○ 222

- ○ 223
- ○ 224
- ○ 225
- ○ 226
- ○ 227
- ○ 228
- ○ 229
- ○ 230
- ○ 231
- ○ 232
- ○ 233
- ○ 234
- ○ 235
- ○ 236
- ○ 237
- ○ 238
- ○ 239
- ○ 240
- ○ 241
- ○ 242
- ○ 243
- ○ 244
- ○ 245
- ○ 246
- ○ 247
- ○ 248
- ○ 249
- ○ 250
- ○ 251
- ○ 252
- ○ 253
- ○ 254
- ○ 255
- ○ 256
- ○ 257
- ○ 258
- ○ 259
- ○ 260
- ○ 261
- ○ 262
- ○ 263
- ○ 264
- ○ 265
- ○ 266

- ○ 267
- ○ 268
- ○ 269
- ○ 270
- ○ 271
- ○ 272
- ○ 273
- ○ 274
- ○ 275
- ○ 276
- ○ 277
- ○ 278
- ○ 279
- ○ 280
- ○ 281
- ○ 282
- ○ 283
- ○ 284
- ○ 285
- ○ 286
- ○ 287

Жизнь замечательных людей ®

Серия биографий

Основана в 1890 году
Ф. Павленковым
и продолжена в 1933 году
М. Горьким

ВЫПУСК

1595

(1395)

Александр Васькин

МОСКОВСКИЕ ГРАДОНАЧАЛЬНИКИ XIX ВЕКА

МОСКВА
МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ

*

© Васькин А. А., 2012
© Издательство АО «Молодая гвардия»,
художественное оформление, 2012

НЕДРЕМЛЮЩЕЕ ОКО ГОСУДАРЯ

Градоначальник — начальник с правами губернатора, управляющий градоначальством.

Д. Н. Ушаков. Большой толковый словарь современного русского языка

Как только не называлась эта важнейшая должность в Московской губернии — главноначальствующий, губернатор, генерал-губернатор, главнокомандующий, военный губернатор, военный генерал-губернатор, но суть оставалась одна — начальство над городом, причем во всем и везде. А главное — московский градоначальник отвечал за все, что происходило в подведомственной ему губернии.

Кажется, что со всей полнотой отразить весь смысл выполняемых московским градоначальником обязанностей удалось Екатерине II в своих «Наставлениях губернаторам» в 1764 году: «Губернатор недремлющим оком в Губернии своей взирает на то, чтобы все и каждый по званию своему исполнял с возможным радением свою должность, содержа в нерушимом сохранении указы и узаконения наши, чтоб правосудие и истина во всех судебных, подчиненных ему местах обитали, и чтоб ни знатность вельмож, ни сила богатых, совести и правды не могли помрачать, а бедность вдов и сирот, тщетно проливая слезы, в делах справедливых утеснена не была»[1].

Градоначальство в Москве утвердилось в 1708–1709 годах в процессе Петровских реформ, проводимых в сфере управления страной. Выстраивая новую вертикаль власти, первый российский император поделил страну на губернии. Как это ни покажется странно, но основными причинами, побудившими Петра к учреждению губерний, были его военные походы, прямым следствием чего явилось частое отсутствие царя в России и все возрастающие казенные расходы.

Петр хорошо понимал, что его частые отлучки из Москвы не идут на пользу государству; уделяя большое внимание внешним сношениям и военным делам, он все меньше времени тратил на решение внутренних проблем. Государственный аппарат разбалтывался, эффективность царской власти снижалась. Так и возникла у Петра идея нарезать территорию России на несколько крупных частей во главе с верными ему людьми — наместниками,

которые могли бы без лишних проволочек изыскивать необходимые средства на военные расходы.

Военные походы Петра требовали больших затрат, что, в свою очередь, вызывало необходимость пополнения государственной казны. Ас этим были определенные проблемы. Государственные налоги и сборы со всей страны стекались в столицу, где расходились по московским приказам и, как правило, таяли там, как прошлогодний снег. Лишь малая часть собираемых средств вновь тратилась на насущные государственные нужды, как то: финансирование армии, производство и закупка вооружения. Петр одновременно с реформой госаппарата менял и фискальную систему: она должна быть такой, «чтобы всякий знал, откуда определенное число получать мог»[2].

Это была не первая попытка царя-реформатора изменить систему власти в Москве, опиравшуюся дотоле на приказы, существовавшие еще со времен Ивана Грозного и занимавшиеся каждый своим делом: счетный, челобитный, посольский, тайных дел и др. Располагались приказы в Кремле.

Реформа самоуправления, предпринятая Петром в январе 1699 года, положила начало существованию в Москве совершенно нового учреждения: Бурмистерской палаты (или Ратуши), состоящей из представителей торгово-промышленного сословия. Как и многие новинки того времени, появление Ратуши стало результатом поездки молодого царя в Западную Европу, где подобные органы управления существовали издавна.

В подчинении московской Ратуши находились местные земские избы — выборные посадские органы во главе с земскими старостами, которых стали называть бурмистрами. Ратуша возглавлялась президентом и была коллегиальным органом, состоявшим из двенадцати бурмистров. Наделив Ратушу правом финансового контроля, Петр полагал, что сможет покончить с воровством воевод. Ратуша собирала в казну государственные платежи: налоги, таможенные пошлины, мзду с кабаков и харчевен, чтобы затем распределять накопленные деньги.

Волновала царя и необходимость увеличения государственных расходов, вести которые он также доверил Ратуше. Но здесь его ждало разочарование. Так, назначенный в 1705 году инспектором ратушного правления Алексей Александрович Курбатов беспрестанно докладывал царю о злоупотреблениях уже не только среди воевод, но и среди выборных московских бурмистров: «В Москве и городах чинится в сборах превеликое воровство…и ратушские подьячие превеликие воры»[3].

Тем не менее, несмотря на коррупцию среди московских

чиновников, Петру удалось добиться увеличения прибылей Ратуши, однако все возрастающих военных расходов они покрыть не могли. Терпение государя переполнилось, и он вновь решился на реформу — губернскую. Как справедливо отметил Василий Ключевский, «губернская реформа клала поверх местного управления довольно густой новый административный пласт… Петр поколебал эту старую, устойчивую и даже застоявшуюся централизацию. Прежде всего, он сам децентрализовался по окружности, бросив старую столицу, отбыл на окраины, и эти окраины загорались одна за другой либо от его пылкой деятельности, либо от бунтов, вызванных этой же деятельностью»[4].

Указом от 18 декабря 1708 года Петр I создал следующие губернии: Московскую, Азовскую, Архангелогородскую, Ингерманландскую (с 1710-го — Санкт-Петербургскую), Казанскую, Киевскую, Сибирскую и Смоленскую. С годами число российских губерний росло. В 1775 году их было уже 23, к 1800-му — 41, а к концу существования Российской империи — уже 78.

В 1719 году губернии были подразделены на провинции во главе с воеводами, провинции же состояли из уездов, руководимых комендантами. А во главе губерний царь поставил главных начальников — губернаторов. Первым московским губернатором в 1708 году был назначен родственник царя Тихон Никитич Стрешнев (1644–1719), один из немногих бояр, бороду которого Петр пожалел. Стрешнева царь любил как отца родного, часто так и обращаясь к нему в письмах и при разговоре. Один из ближайших сподвижников Петра, Стрешнев пользовался его особым доверием, недаром еще в 1697 году именно его царь оставил управлять государством, отправившись в Западную Европу.

Наместниками остальных губерний Петр также поставил преданных себе людей, в частности, столичным генерал-губернатором стал Александр Меншиков. Приставка «генерал» в его новой должности означала, что Меншиков управлял приграничной губернией и был в военном звании. Так появился первый в России генерал-губернатор.

Главной задачей губернатора стал сбор доходов на содержание расквартированных на территории губернии войск, а также управление и надзор над этими войсками, контроль за работой судов. Занимались царские наместники и гражданским управлением, зачастую полагаясь в этой части своих полномочий на вице-губернаторов. Первый вице-губернатор появился в России уже при следующем после Стрешнева градоначальнике — князе Михаиле Григорьевиче Ромодановском, также петровском

сподвижнике. Вице-губернатором при Ромодановском стал В. С. Ершов.

Как отмечал историк С. М. Соловьев, «при губернаторах находилась земская канцелярия, приводившая в исполнение все его распоряжения. Для суда учреждены были земские судьи, или ландрихтеры и обер-ландрихтеры, и чтоб дать им полную независимость, они и имения их были изъяты из-под ведомства губернаторского… Губернаторам предписывалось смотреть, чтобы не было волокиты и напрасных убытков челобитчикам всякого чина»[5].

После того как столичные функции в 1714 году перешли к молодому и быстрорастущему Санкт-Петербургу, значимость должности генерал-губернатора Москвы нисколько не уменьшилась. Москва — старая столица — своим многовековым опытом главного города Руси, а затем и Российской империи оказывала на жизнь страны огромное влияние. Именно здесь всегда решалась судьба России. И в 1612-м, и в 1812-м, и гораздо позднее, когда никаких генерал-губернаторств не было и в помине — в 1941 году.

Важнейшим обстоятельством, определявшим значение фигуры московского градоначальника, было и то, что именно в Москве короновались на царствование все российские самодержцы. И от того, как была подготовлена и организована церемония, как проходила встреча нового государя (или государыни) с Москвой и москвичами, зависело расположение самодержца к своему наместнику в Первопрестольной.

На протяжении двухсот лет место и роль главного начальника Москвы в системе самоуправления неоднократно менялись. И вызвано это было как объективной необходимостью, так и субъективными причинами. Ведь как писал В. О. Ключевский, есть один симптом русского управления на протяжении столетий: «Это — борьба правительства, точнее, государства, насколько оно понималось известным правительством, со своими собственными органами, лучше которых, однако, ему приискать не удавалось»[6].

В 1719 году полномочия назначения губернаторов перешли к Сенату, важнейшему органу управления, созданному Петром для руководства страной в его отсутствие. В 1728 году при Петре II в соответствии с «Наказом губернаторам и воеводам и их товарищам» губернаторы получили право осуждать виновных на смертную казнь. Существенно расширились полномочия губернаторов и при Анне Иоанновне, давшей своему наместнику в Москве графу Семену Андреевичу Салтыкову (он был двенадцатым московским генерал-губернатором) следующие

указания: следить и наблюдать за всеми московскими чиновниками и учреждениями, немедленно сообщать в столицу о непорядках и безобразиях, а в исключительных случаях для предотвращения оных принимать решения самому, на месте.

В екатерининскую эпоху в 1764 году в известном «Наставлении» губернаторы и вовсе были названы «хозяевами» своих территорий. Причем хозяйские права не остались на бумаге: все учреждения губернии поступали в полное распоряжение их наместников с правом увольнения чиновников, а подчинялись наместники только лишь императрице и Сенату. Лишь двух генерал-губернаторов императрица выделила особо, издав для них отдельные «Наставления московскому и санкт-петербургскому генерал-губернаторам». В это время (1763–1772) Москвой управлял Петр Семенович Салтыков, сын того Салтыкова, о котором мы упоминали выше. Согласно высочайшим указаниям губернатор должен был раз в три года объезжать свои владения.

Однако переломным этапом в развитии городского самоуправления стала губернская реформа 1775 года, проведенная Екатериной II и надолго установившая новую структуру власти в губерниях. Итогом реформы, закрепленной в «Учреждениях для управления губерний Всероссийския империя», стало определение губернии как основной административно-территориальной единицы с населением в 300–400 тысяч человек[7]. Во главе губернии стоял губернатор, опиравшийся на свою канцелярию — губернское правление, контролировавшее деятельность губернских учреждений. Решением финансовых вопросов занимался вице-губернатор, судебных — прокурор. Несколько губерний объединялись в генерал-губернаторство. Самих же генерал-губернаторов переименовали в наместников. Московский и санкт-петербургский генерал-губернаторы стали именоваться главнокомандующими (указ от 13 июня 1781 года «О новом расписании губерний с означением генерал-губернаторов»).

Суть этой реформы состояла в том, чтобы превратить генерал-губернатора в главный надзорный орган на местах, несколько подняв его статус как непосредственного руководителя губернией (эти функции оставили губернаторам), но с такими полномочиями, чтобы генерал-губернатор, если нужно, мог и поправить губернатора, принять решение за него. Губернатор выполнял административно-полицейскую функцию, а генерал-губернатор — еще финансовую и судебную. Как говорится, губернатор был и Бог, и царь…

В Москве генерал-губернатором или главнокомандующим с 1782 по 1784 год был граф Захар Григорьевич Чернышев. И хотя управлял он недолго, но в наследство будущим начальникам Москвы он оставил один из главных символов власти — свой дом на Тверской улице, где и по сей день размещается мэрия столицы.

На первый взгляд новая система власти отличалась стройностью и простотой (чувствовалась женская рука государыни императрицы). Здесь было предусмотрено всё: кто и за что должен отвечать, а главное — перед кем. Благодаря губернской реформе Екатерины II в Москве, образно говоря, было посажено крепкое и разветвленное дерево власти с сильными и длинными ветвями, держащими на себе административные, полицейские, судебные, хозяйственные и финансовые органы. Корни этого дерева питались российским законодательством, а на вершине находился генерал-губернатор.

Основы созданной губернской реформой управленческой системы сохранялись до 1918 года. Правда, отдельные изменения в эту систему вносились и при следующих монархах. Например, при Павле I, ревизовавшем законодательное наследство своей матери. Он вновь передал часть функций генерал-губернаторов губернаторам, издав в 1796 году указ «О новом разделении государства на губернии». Институт же генерал-губернаторства при нем и вовсе перестал существовать. Самих же генерал-губернаторов стали называть военными губернаторами. Но на практике все осложнялось местными и личностными особенностями царских сановников.

При Александре I в 1802 году наместников губерний подчинили Министерству внутренних дел, восстановив при этом и должности генерал-губернаторов. Именно по представлению министра император их и назначал. Интересные свидетельства об отношениях Министерства внутренних дел и губернаторов находим мы в отчете Третьего отделения Собственной Его Императорского Величества канцелярии за 1832 год: «При всем разумении, при всем усердии гражданского губернатора он необходимо встречает затруднения в сохранении должного в губернии устройства и порядка. Должно к сему присовокупить, что и из числа губернаторов есть многие, которые худо разумеют свое дело и руководствуются людьми неблагонадежными… Министерство внутренних дел встречает затруднения находить достойных губернаторов; звание сие в общем мнении потеряло свою значительность, и люди образованные и с достатком отклоняются от сей должности, зная, с какою она сопряжена трудностью и строгою ответственностью и сколь ничтожны средства, коими губернатор должен действовать»[8].

В 1853 году Николай I утвердил «Общую инструкцию генерал-губернаторам». В этой инструкции в очередной раз был определен круг обязанностей главного начальника губернии: он отвечал не только за государственную безопасность и исполнение российских законов, но и за безопасность продовольственную и даже санитарную. Он имел право надзирать и контролировать деятельность подведомственных учреждений и судов. Генерал-губернатор был наделен полномочиями принимать чрезвычайные меры в целях пресечения беспорядков и волнений.

Эта инструкция призвана была также обозначить систему разделения власти между генерал-губернатором и губернатором на местах. Губернатор, заведуя всеми текущими административными делами в своей местности, должен был исполнять все законные требования, предложения и предписания генерал-губернатора. Но являясь вторым лицом в местной администрации после генерал-губернатора, губернатор тем не менее не был его заместителем. В инструкции оговаривалось, что в отсутствие генерал-губернатора губернатор управляет по правилам своей должности на том же основании, как в губерниях, где нет генерал-губернаторов[9].

Но, несмотря на инструкцию, окончательной ясности в разделении ответственности между генерал-губернатором и губернатором не было. Почти по каждому вопросу их компетенция могла пересекаться. Часто генерал-губернатор занимался не только стратегическими задачами развития губернии, но и не свойственными ему мелкими задачами, которые мог бы решить и губернатор.

Недаром, по данным на 1874 год, штат канцелярии генерал-губернатора Московской губернии князя Владимира Андреевича Долгорукова был почти в три раза больше численности канцелярии губернатора. Штат канцелярии московского генерал-губернатора, включающий в себя: адъютантов генерал-губернатора, чиновников по особым поручениям, управляющего канцелярией, начальников отделов, столоначальников, их помощников, казначея, контролера, журналиста (с помощником и переводчиком), архивариуса, канцелярских чиновников и канцелярских служителей, инспекторов по надзору за типографией, литографией и книжной торговлей, а также чиновников, состоящих при МВД и находящихся в распоряжении московского генерал-губернатора, — насчитывал 112 человек. А в управлении московского губернатора служило всего 34 человека, в обязанности которых входило решение текущих вопросов[10].

Естественно, возникал вопрос — а не упразднить ли вовсе пост губернатора? Для чего нужно кормить столько чиновников,

выполняющих сходные функции? Именно Москва и являла собой наиболее яркий пример подобного дублирования. В январе 1874 года в своем дневнике бывший министр внутренних дел П. А. Валуев отметил: «Тимашев (заместитель Валуева. — *А. В.)* передал мне в Государственном совете записку об упразднении в Москве должности гражданского губернатора. Я старался ему доказать, что таких мер нельзя принимать потому только, что Дурново (губернатор Москвы. — *А. В.)* не ладит с кн. Долгоруковым и что Дурново вообще оказался несостоятельным»[11].

Запись Валуева демонстрирует, насколько субъективными были причины тех или иных кадровых и правовых решений в области управления страной и губерниями вне зависимости от их уровней. Эта субъективность и лихорадила систему самоуправления в России и Москве, так как правила игры неоднократно менялись.

Какие бы законы и положения ни принимались в области местного самоуправления, последнее слово всегда было за генерал-губернатором, личным представителем государя. Вот почему вне зависимости от того, кто был на этой должности, его всегда называли хозяином Москвы. Несмотря на совершенствование законодательства возможности Московской городской думы в управлении городом следует признать недостаточно большими. Правда, к компетенции думы отнесли вопросы благоустройства и прочие хозяйственные дела.

Ни одно решение Московской городской думы не могло быть реализовано без одобрения генерал-губернатора. Думцы вынуждены были не только обращаться к нему за разрешением по любому малосущественному вопросу, но и еще отчитываться об исполнении дел и своих расходах.

Каким образом хозяин Москвы осуществлял свою власть? Как правило, в его канцелярию поступал рапорт обер-полицмейстера или иного чиновника или докладная с изложением просьбы. В ответ генерал-губернатор направлял городскому голове предложение вынести этот вопрос на обсуждение городской думы. Иногда одновременно с думой в курс дела вводился и губернатор. Бесполезно было пытаться решить вопрос, минуя генерал-губернатора, напрямую с думой. Ведь в итоге решал все один человек[12].

Обострение политической ситуации в Российской империи и нарастание революционных настроений вынудили Александра II наделить генерал-губернаторов еще более широкими полномочиями. Согласно положению «О мерах к охранению государственного порядка и общественного спокойствия» от 1881

года, генерал-губернаторы получили право подавлять на своей территории малейшие проявления неповиновения властям: закрывать собрания, запрещать нахождение в губернии неблагонадежных лиц, которых с каждым годом появлялось все больше и больше. Приговоры военных судов также утверждались генерал-губернаторами.

На рубеже XIX–XX веков существенно возросли полицейские функции императорских наместников, оно и понятно: террористические акты следовали один за другим. Серьезно ухудшилась криминальная обстановка в стране. Мишенью террористов стали высшие чиновники империи, в том числе генерал-губернаторы. Так, в феврале 1905 года от взрыва бомбы, брошенной Иваном Каляевым, погиб бывший московский генерал-губернатор великий князь Сергей Александрович.

В условиях ужесточения внутренней политики наиглавнейшими обязанностями генерал-губернатора стали обеспечение общественного спокойствия и охрана порядка, за которую непосредственно в городе отвечал обер-полицмейстер.

Одной из особенностей московского управления было то, что в Первопрестольной обер-полицмейстер подчинялся не губернатору, а генерал-губернатору. Как мы увидим из дальнейшего повествования, такое подчинение давало генерал-губернатору широкие возможности в достижении поставленных им целей. Все зависело от того, сторонником каких методов управления был главный начальник Москвы: либеральных или жестких. Если это был, например, Арсений Закревский, то нередко дело заканчивалось превышением полномочий со стороны полиции. При Владимире Долгорукове хватало и простого внушения провинившимся.

Гражданский губернатор же распоряжался только уездной полицией. Полномочия московской полиции простирались весьма далеко — от наведения порядка на улицах до организации благоустройства и поддержки санитарии на должном уровне. Еще в 1782 году был принят «Устав благочиния, или полицейский», согласно которому полицейские обязаны были проявлять «неусыпное старание и попечение, чтоб дороги, улицы, мосты и переправы чрез реки и воды, где есть, в таком исправном состоянии и содержании были, чтоб проезжим не было ни остановки, ни опасности»[13].

Интересно, что с января по июнь 1905 года должность московского генерал-губернатора была вакантной, в это же время вместо должности обер-полицмейстера был введен пост градоначальника, которому надлежало управлять и полицейскими, и административными делами в Москве. Именно с

1 января 1905 года Москва стала отдельным градоначальством. Тем не менее уже в апреле того же года неспокойная обстановка внутри страны вновь вернула в Москву генерал-губернатора. Им стал генерал-адъютант А. А. Козлов.

С этого времени началась чехарда новых назначений и должностей в Москве. В октябре 1909 года пост генерал-губернатора Москвы вновь оказался свободным. Функции по управлению городом оказались раздроблены между министром внутренних дел, губернатором В. Ф. Джунковским и градоначальником А. А. Андриановым, последний с июля 1914 года был назначен главноначальствующим над Москвой. А в мае 1915 года главноначальствующим над Москвой стал князь Феликс Феликсович Юсупов граф Сумароков-Эльстон.

Последним главным начальником Москвы оказался (сам того не ведая) Иосиф Иванович Мрозовский. 2 октября 1915 года именно на него, генерала от артиллерии и командующего Московским военным округом, возложили обязанности по управлению Первопрестольной. Время ему досталось неспокойное — Москва была объявлена на военном положении. Закончилось его градоначальство домашним арестом 1 марта 1917 года.

Почти 200 лет просуществовали в России генерал-губернаторы и губернаторы. За это время в Москве сменилось 50 руководителей города. Чаще всего менялись генерал-губернаторы в XVIII веке — почти 40 раз! А в XIX веке хозяев дома на Тверской было всего лишь двенадцать.

Находились на этой должности люди разные: и прирожденные начальники, вписавшие в историю Москвы незабываемые страницы, и случайные, занесенные в Первопрестольную ветром политической конъюнктуры. Были среди них и представители знатных дворянских родов, причем нередко целыми семьями (да-да, есть примеры, когда сразу несколько поколений рода оказывались на генерал-губернаторском посту в Москве), случались и люди худородные. Были и те, кто, родившись в России, до конца жизни говорили с французским акцентом и писали только по-французски. Появлялись и другие, знавшие лишь русский язык.

Далеко не каждый хозяин города достоин отдельной биографии в серии «Жизнь замечательных людей», но некоторые действительно этого заслуживают. В этой книге собраны жизнеописания московских градоначальников XIX века. Почему XIX? Дело в том, что событие, произошедшее в жизни Москвы в 1812 году, не только изменило ее, но и предвосхитило ее дальнейшее развитие на многие десятилетия. Это, конечно, французское нашествие на Москву и пожар, спаливший три

четверти московских зданий.

Вся последующая жизнь второй столицы была продиктована событиями 1812-го, поэтому и деятельность градоначальников московских направлена была на восстановление Москвы, создание ее нового образа. В этой обстановке многое зависело от того, кто занимал самую высокую должность в Первопрестольной — какой это был человек, как видел он дальнейшее развитие города, готов ли был отдать Москве все свои силы и способности или вел себя как временщик. Из представленных в книге биографий естественно наибольшее внимание ввиду двухсотлетия Отечественной войны 1812 года привлекают личности Федора Ростопчина, Дмитрия Голицына и Арсения Закревского. Но и фигура Владимира Долгорукова не менее значима для Москвы. Так как последняя четверть XIX века и начало XX — предвестие тяжелых испытаний, грянувших в нашей стране в 1917-м.

ФЕДОР РОСТОПЧИН О МОСКВЕ: «ДВА ГОД А Я МУЧИЛСЯ В НЕЙ» [14]

РАСТОПЧА (растопила) — об. тамб. ротозей, разиня, олух.

Толковый словарь
В. И. Даля. 1863-1866

Фигура Ростопчина относится к той весьма распространенной у нас категории исторических деятелей, оценку которых с течением лет невозможно привести к общему знаменателю. Казалось бы, что за 200 лет, прошедшие с окончания Отечественной войны 1812-го, на многие трудные вопросы должны быть даны ответы, причем довольно определенные и точные. Но чем больше времени проходит с той поры, тем значительнее становится водораздел между противниками и сторонниками взглядов и деятельности графа, генерала от инфантерии Федора Васильевича Ростопчина.

Как только не называли его — «крикливый балагур, без особых способностей», «предшественник русских сотен», вредитель, победитель Наполеона, саботажник, борец с тлетворным влиянием Запада, писатель-патриот, а еще «основатель русского консерватизма и национализма». Последнее определение стало популярным уже в наше время.

Порой сам Ростопчин удивлялся, насколько разнообразным и красочным выглядит калейдоскоп мнений современников о нем: «Что ж касается именно до меня, то и конца бы не было, если бы я хотел говорить о всех глупостях, сказанных на мой счет: то иногда я безызвестного происхождения; то из подлого звания, употребленный к низким должностям при Дворе; то шут Императора Павла; то назначенный в духовное состояние, воспитанник Митрополита Платона, обучавшийся во всех городах Европы; толст и худощав, высок и мал, любезен и груб. Нимало не огорчаясь вздорами, столь щедро на счет мой расточенными кропателями историй, я представлю здесь мою службу. Я был Офицером Гвардии и Каммер-Юнкером в царствование Императрицы Екатерины II; Генерал-Адъютантом, Министром Иностранных дел и Главным Директором Почты в царствование Императора Павла 1-го; Обер-Каммергером и Главнокомандующим Москвы и ее Губернии при нынешнем

ИМПЕРАТОРЕ. Что же касается до моего происхождения, то, не во гнев господам, рассуждающим под красным колпаком, я скажу, что родоначальник нашей фамилии, поселившейся в России назад тому более трех столетий, происходил по прямой линии от одного из сыновей Чингис-Хана…»[15]

Попробуем разобраться. Рождению столь противоречивых характеристик Ростопчина отчасти способствовал и сам герой нашего повествования, приложивший руку к «изваянию» своего образа в собственных сочинениях, в которых напустил немало словесного тумана, создавшего определенные трудности для потомков.

В 1839 году увидели свет его не лишенные остроумия «Мои записки, написанные в десять минут, или Я сам без прикрас». Согласно этим запискам родился Ростопчин 12 марта 1765 года, причем появление на свет произошло следующим образом: «Я вышел из тьмы и появился на Божий свет. Меня смерили, взвесили, окрестили. Я родился, не ведая зачем, а мои родители благодарили Бога, не зная за что»[16]. А вот биографы Ростопчина считают по-другому, ссылаясь на дату рождения, выбитую на надгробном камне, — 12 марта 1763 года. (На восстановленном в конце XX века надгробии графа стоит только год — 1763-й.)

Относительно места рождения Ростопчина также существуют разные мнения. Официальная биография в энциклопедии гласит, что родился граф в селе Козьмодемьянское Ливенского уезда Орловской (в то время Воронежской) губернии. Сам же Ростопчин на одном из своих портретов написал о себе: «Он в Москве родился и ей он пригодился».

В истории Москвы было немало потомственных градоначальников, происходивших из одного рода, — одних Салтыковых было пятеро, Ромодановских — трое, а уж о Долгоруковых и Голицыных и говорить не приходится. А вот Ростопчиных не было ни до, ни после. Потому как знатностью фамилия эта не отличалась. Есть две гипотезы ее происхождения. Свой вариант толкования слова «растопча» приводит Владимир Даль в толковом словаре, его-то мы и вынесли в эпиграф. Но олухом Ростопчина никак нельзя было назвать. Ближе к истине, по-моему, другая версия, согласно которой в основе фамилии Ростопчина было название одной из самых древних профессий — растопник, растопщик, то есть тот, кто зажигает огонь. Вот и не верь после этого в предначертания!

Ведь недаром авторитетный языковед Б. Унбегаун, автор словаря русских фамилий, отмечает, что русские фамилии обычно образуются от «прозвищ, даваемых человеку по его профессии, месту проживания или каким-либо другим

признакам». Правда, фамилии Ростопчин в этом словаре нет, что неудивительно, ведь Ростопчин был тем русским, которого не надо долго скрести, чтобы обнаружить в нем татарина. Как-то император Павел спросил его:

— Ведь Ростопчины татарского происхождения?

— Точно так, государь, — ответил Ростопчин.

— Как же вы не князья? — уточнил он свой вопрос.

— А потому, что предок мой переселился в Россию зимою. Именитым татарам-пришельцам, летним цари жаловали княжеское достоинство, а зимним жаловали шубы[17].

Своим татарским происхождением Федор Васильевич гордился, выдавая себя за дальнего родственника самого Чингисхана. Правда, официальные документы, подтверждающие дворянское происхождение Ростопчина, гласят, что основателем рода был крымчак (крымский татарин) Борис Растопча, начавший свою службу великому князю Василию Ивановичу еще в 1500-х. Потомки Растопчи рассеялись по всей России — жили они в Твери, на Орловщине, в Воронежской губернии.

Отец нашего героя, зажиточный помещик, отставной майор Василий Федорович Ростопчин, широко известен был разве что в пределах своего уезда. Жена его, урожденная Крюкова, скончалась вскоре после рождения младшего сына Петра. На руках у Василия Федоровича осталось двое детей, которых воспитывали нянька, священник, учивший их словесности, и гувернер-иностранец (по всей видимости, француз, так как ненависть к галлам Ростопчин пронес через всю жизнь).

Подрастающего Феденьку учили «всевозможным вещам и языкам». Описывая свое детство, Ростопчин довольно безжалостен к себе, отрекомендовав себя «нахалом и шарлатаном», которому «удавалось иногда прослыть за ученого»: «Моя голова обратилась в разрозненную библиотеку, от которой у меня сохранился ключ». Как мы убедимся в дальнейшем, это одно из самых редких, нехарактерных для Ростопчина проявлений самокритичности.

25 сентября 1775 года началась его военная служба — он был зачислен в лейб-гвардии Преображенский полк. В 1782-м произведен в прапорщики, в 1785-м — в подпоручики, в 1787-м — в поручики, а в 1790 году получил чин капитан-поручика лейб-гвардии Преображенского полка[18].

«Домашний» запас знаний он серьезно пополнил во время пребывания за границей в 1786–1788 годах. Федор Ростопчин побывал в Германии, Франции, Англии. Слушал лекции в университетах Лейпцига и Геттингена (кстати, последнее учебное заведение было весьма популярно среди либеральной дворянской молодежи Европы).

Эти два года сформировали Ростопчина, образовали его как весьма просвещенного представителя своего поколения. Надо отдать ему должное — он проявил отличные способности к самоорганизации, поставив себе цель получить максимально возможный объем знаний. Он занимался не только гуманитарными науками, изучением иностранных языков, но и посвящал время математике, постижению военного искусства. Учился Ростопчин целыми днями, по десять часов кряду, делая перерыв лишь на обед.

Из дневника, который Ростопчин вел в Берлине в 1786–1787 годах, мы узнаем, что его часто принимали в доме у российского посла С. Р. Румянцева, который ввел его в высшие слои местного общества. А в ноябре 1786 года Ростопчин сделал дневниковую запись о посвящении в масоны — факт малоизвестный, его Федор Васильевич предпочел вычеркнуть из своей биографии, хотя в дальнейшем именно борьба с масонами займет ведущее направление в его деятельности. Карьерный рост Ростопчина связывают именно с его принятием в масоны и дружбой с С. Р. Воронцовым, русским послом в Лондоне и влиятельным представителем общества вольных каменщиков.

После возвращения на родину, пребывавшую в ожидании очередной войны, для Ростопчина наступило время «неудач, гонений и неприятностей», так он назвал военную службу. До начала русско-шведской войны 1788–1790 годов он пребывал в главной квартире русских войск в Фридрихсгаме, затем под командованием Суворова волонтером участвовал в Русско-турецкой войне 1788–1791 годов, штурмовал Очаков, сражался при Фокшанах, на реке Рымник.

Любопытно, что Ростопчин сетовал на невнимание к нему со стороны начальства, выразившееся в «отсутствии почестей, которые раздавались так щедро». Но разве не большой честью для него, молодого офицера, был подарок Суворова — походная палатка прославленного военачальника. Такое отличие дорогого стоит, тем более что весьма разборчивый Суворов Ростопчина заметил и приблизил к себе. В дальнейшем пути их не раз пересекались. Только ролями они поменялись — теперь уже Суворов удостаивался особого расположения Ростопчина, ставшего главой Военного департамента во время Заграничного похода русской армии. Александр Васильевич отзывался о Ростопчине как о «покровителе», «милостивом благодетеле»[19].

По иронии судьбы именно Ростопчин в 1797 году и сообщил Суворову о его отставке: «Государь император, получа донесения вашего сиятельства от 3 февраля, соизволил указать мне доставить к сведению вашему, что желание ваше предупреждено

и что вы отставлены еще 6 числа сего месяца»[20].

Во время русско-шведской войны Ростопчин, командуя гренадерским батальоном, был представлен к Георгиевскому кресту, но не получил его. Потерял он и единственного, младшего брата Петра, геройски погибшего в бою со шведами.

Звездный час Ростопчина наступил в декабре 1791 года, именно ему поручено было доставить в Петербург, самой Екатерине II, известие о заключении исторического Ясского мирного договора с турками, по которому Черное море в значительной части стало российским.

Об этом эпизоде из своей жизни Ростопчин рассказывал с удовольствием. С. Р. Воронцов рекомендовал Ростопчина своему другу канцлеру А. А. Безбородко, тот и взял молодого офицера на Ясскую мирную конференцию на бумажную, но очень ответственную работу — ведение журналов и протоколов заседаний.

Гонца, прибывшего с дурной вестью, в иное время могли и убить, а вот тот, кто приносил радостную новость, имел все шансы удостоиться монаршего благоволения, хотя мог и не иметь прямого отношения к содержанию известия. Счастливый случай произошел первый раз в жизни Ростопчина. Именно на нем остановил свой выбор Безбородко, послав его в столицу с донесением к императрице. И кто знает, сколько времени еще Ростопчину пришлось прозябать в армии, если бы не выпавшая ему удача.

В феврале 1792 года Ростопчин, по представлению Безбородко, по приезде в Петербург получил звание камер-юнкера в ранге бригадира[21]. Он состоял при посольстве А. П. Самойлова в Турции. Екатерине молодой и образованный офицер понравился, она оценила его остроумие. Не зря в мемуарной литературе закрепилось прозвище, якобы данное ему императрицей, — «сумасшедший Федька». Подобная характеристика скорее говорит об оценке личных качеств Ростопчина, а не его способностей к государственной службе, проявить которые ему удалось, служа уже не императрице, а ее сыну, засидевшемуся в наследниках, — Павлу Петровичу. Именно к его малому двору в Гатчине в 1793 году и был прикомандирован камер-юнкер Ростопчин, в обязанности которого входило дежурство при дворе.

Насколько почетной была служба у будущего императора? Ведь Павел как раз в то время сильно сомневался в своих шансах на престол, подозревая, что Екатерина передаст его своему внуку — Александру Павловичу. Сомневались и придворные интриганы. Гатчина являлась чем-то вроде ссылки, куда мать, желая

отодвинуть сына подальше от трона, удалила его в 1773 году, «подарив» ему это имение.

Павел жил в Гатчине как в золотой клетке, хорошо помня о судьбе своего несчастного отца. Одинокий, повсюду чувствующий негласный надзор, обиженный матерью, оскорбленный и униженный поведением ее придворных, поначалу Павел воспринял этого доселе неизвестного, малознатного, но амбициозного, молодого офицера с опаской. Но постепенно Ростопчин начинает завоевывать расположение наследника.

Обязанности при дворе дежурные офицеры исполняли небрежно, демонстрируя этим отчужденность и неприятие деятельности Павла, убивавшего время в Гатчине то перестройкой дворца, то военной муштрой (даже собственных детей у него отобрали). Ростопчин же удивил всех усердием и старательностью в службе. Вероятно, у него вновь появился тот «пламенный порыв», с которым он поступал на военное поприще.

Ростопчину удалось внушить окружающим весомость этой службы. Однажды его порыв стал причиной сразу двух дуэлей. Вызов он получил от камер-юнкеров, которых он назвал негодяями за неисполнение ими своей службы. «Трое камер-юнкеров, кн. Барятинский, Ростопчин и кн. Голицын, поссорясь за дежурство, вызвали друг друга на поединок», — писал современник[22]. Дуэли не состоялись — скандал докатился до государыни, летом 1794 года наказавшей Ростопчина ссылкой в Орловскую губернию, в имение отца.

Ссылка имела показательный характер и во многом способствовала созданию авторитета Ростопчина как сторонника Павла. При дворе даже поползли слухи, что наследник прятал Ростопчина у себя в Гатчине, впрочем, не нашедшие подтверждения. В том же году Ростопчин женился на Екатерине Петровне Протасовой, дочери генерал-поручика и сенатора П. С. Протасова и А. И. Протасовой, племянницы камер-фрейлины императрицы Екатерины II, графини А. С. Протасовой.

Через год, в августе 1795-го, Ростопчин вернулся в столицу, окончательно утвердившись в глазах придворных как фаворит Павла Петровича. «Нас мало избранных!» — мог бы вслед за поэтом вымолвить Ростопчин. Да, близких Павлу людей было крайне мало, вот почему в скором будущем карьера Ростопчина разовьется так быстро. 1 января 1790 года его произвели в бригадиры[23].

А в ноябре 1796 года скончалась Екатерина II, освободив сыну дорогу к долгожданному престолу. Но вот что интересно: и на этот раз Ростопчин явился вестником важнейшей новости, но уже не для императрицы, а для будущего императора. Когда 5

ноября 1796 года с Екатериной II случился удар, именно Ростопчин стал первым, кто сообщил об этом Павлу. Целые сутки находился он неотлучно около наследника, присутствуя при последних минутах государыни в числе немногих избранных.

Все, что произошло в тот день, Ростопчин описал в своем очерке «Последний день жизни императрицы Екатерины II и первый день царствования императора Павла I». Так стремительно, на протяжении суток выросла роль Ростопчина в государстве. Теперь глаза придворных с мольбой устремлялись на главного фаворита нового императора. Вот уже и влиятельный канцлер Безбородко, вытащивший когда-то Ростопчина из безвестности, умилительным голосом просит его об одном: отпустить его в отставку «без посрамления». Лишь бы не сослали!

Павел, призвав Ростопчина, вопрошает: «Я тебя совершенно знаю таковым, каков ты есть, и хочу, чтобы ты откровенно мне сказал, чем ты при мне быть желаешь?» В ответ Ростопчин выказывает благородное желание быть при государе «секретарем для принятия просьб об истреблении неправосудия». Но, во-первых, поначалу следовало исправить самое главное «неправосудие», столько лет длившееся по отношению к самому Павлу; а во-вторых, у нового государя было не так много преданных людей, чтобы ими разбрасываться, назначая на второстепенные должности, и он назначил Ростопчина генерал-адъютантом, «но не таким, чтобы гулять только по дворцу с тростью, а для того, чтобы ты правил военною частью». И хотя Ростопчин не желал возвращаться на военную службу, возразить на волеизъявление императора он не посмел (должность генерал-адъютанта была важнейшей при дворе — занимающий ее чиновник должен был рассылать поручения и рескрипты государя и докладывал ему поступающие рапорты). Теперь Ростопчин мог исполнять должность генерал-адъютанта и одновременно помогать просящим, которых вскоре появилось превеликое множество.

Однажды Павел сказал про Ростопчина: «Вот человек, от которого я не намерен ничего скрывать». Он отдал ему печать, чтобы тот опечатал кабинет Екатерины, передал несколько распоряжений относительно «бывших», а после принятия присяги, состоявшегося тут же, в придворной церкви, попросил (а не приказал) об одном деле весьма тонкого свойства. «Ты устал, и мне совестно, — сказал государь, — но потрудись, пожалуйста, съезди…к графу Орлову и приведи его к присяге. Его не было во дворце, а я не хочу, чтобы он забывал 28 июня». (28 июня — день, когда свершился государственный переворот, итогом которого стало воцарение Екатерины II. Отец Павла, Петр III, вскоре после

этого был убит, по всей видимости, Алексеем Орловым.)

Ростопчин приехал к Алексею Орлову, разбудил его и предложил немедленно принять присягу новому государю, что тот и сделал. А когда Павел во время похорон Екатерины решил перенести еще и прах своего отца в Петропавловский собор, то Алексея Орлова он заставил возглавлять траурную процессию.

Влияние Ростопчина росло как на дрожжах. Он стал правой рукой императора. И надо отдать ему должное: своими широкими полномочиями он не злоупотреблял, за прошлые обиды не мстил.

Надо ли говорить, что знаки отличия стали появляться на мундире Ростопчина как грибы после дождя: уже 7 ноября 1796 года он получил чин бригадира и орден Святой Анны 2-й степени, 8 ноября — чин генерал-майора и звание генерал-адъютанта, 12 ноября — орден Святой Анны 1-й степени, 18 декабря — дом в Петербурге, а 1 апреля 1797 года по случаю коронации Павла — орден Святого Александра Невского. В ноябре 1798 года он был произведен в действительные тайные советники.

За короткий срок царствования Павла I Ростопчин успел поруководить несколькими ведомствами: военным, дипломатическим и почтовым. Где бы он ни работал, ему всегда удавалось доказывать значительность занимаемой должности. Многие современники, даже противники, отмечали завидную работоспособность Ростопчина, его хорошие организаторские способности. В этом он был под стать императору, вставшему спозаранку и день-деньской занимавшемуся текущими государственными делами. Павел задумал за несколько лет сделать то, на что обычно требуются десятилетия. Особую заботу нового императора составляли укрепление и централизация царской власти, введение строгой дисциплины в обществе, ограничение прав дворянства (например, император приказал всем дворянам, записанным на службу, явиться в свои полки, а служили тогда с младенчества).

Смысл жизни подданного — служение государю, а всякая свобода личности ведет к революции. Этот постулат павловского времени Ростопчин принял на всю оставшуюся жизнь. Именно Павел «сделал» Ростопчину прививку от либерализма.

Ростопчину потребовалось немного времени, чтобы «закрутить гайки»: ужесточить цензуру, запретить выезд молодежи на учебу за границу.

Ростопчин в 1799 году отмечал, что работает «до изнеможения»: встает в половине шестого утра, через 45 минут — уже у государя, при котором пребывает до часу дня, занимаясь рассылкой приказов и чтением поступающих документов. Ложился спать он в десять часов вечера.

Управляя Военным департаментом и Военно-походной канцелярией императора (с мая 1797 года), Ростопчин написал новую редакцию Военного устава по прусскому образцу. Целью нового устава было превращение армии в хорошо отлаженный механизм с помощью повседневных смотров и парадов. Как глава почтового ведомства (с мая 1799 года) он имел возможность читать проходящую через него почту. Факт немаловажный, особенно для того, кто знает толк в интригах. Но наиболее бурную деятельность Ростопчин развил, занимаясь внешнеполитическими делами Российской империи.

В сентябре 1799 года государь назначил его первоприсутствующим в Коллегии иностранных дел, фактически канцлером (занимавший эту должность Безбородко умер еще в апреле 1799 года). Ростопчин планировал развернуть внешнюю политику России на 180 градусов, избрав в качестве союзника Францию, а не Англию с Австрией. Таким образом, он двигался в русле политики Павла, который «перевернул все вверх дном», как выразился его старший сын Александр. Ростопчин даже планировал тайно отправиться в Париж для ведения переговоров с Бонапартом. Но разве государь мог его отпустить — ведь на дворе стояла уже осень 1800 года, тучи над Михайловским замком сгущались. Из затеи Ростопчина ничего не вышло.

Ростопчин считал, что у России не может быть политических союзников, а есть лишь завистники, которые так и норовят сплотиться в деятельности против нее. Недаром ему приписывают фразу: «Россия — это бык, которого поедают и из которого для прочих стран делают бульонные кубики». Как напишет Ростопчин впоследствии в своей «Записке…о политических отношениях России в последние месяцы павловского царствования», «России с прочими державами не должно иметь иных связей, кроме торговых».

Получается, что Ростопчин задолго до Александра III, провозгласившего главными и единственными союзниками России армию и флот, сформулировал основные постулаты политики царя-консерватора. Поэтому Ростопчина и принято относить к основателям русского консерватизма и даже национализма.

При дворе росло число завистников, надеявшихся, что царствование Павла будет коротким. Ростопчин должен был быть готов, что в любое время он так же быстро сойдет с пьедестала, как и очутился на нем.

Первая отставка последовала в марте 1798 года, когда в результате происков фаворитки Павла Е. И. Нелидовой он был снят со всех постов и выслан в свое имение. Правда, уже через

полгода Ростопчин вновь понадобился государю (у Павла вместо Нелидовой появилась новая любимица — А. П. Лопухина). Новые «знаки благоволения», как называл их Ростопчин, не заставили себя ждать — графский титул «с нисходящим его потомством» в феврале 1799 года, а еще три тысячи крепостных и 33 тысячи десятин земли в Воронежской губернии. В марте 1800-го Федор Васильевич назначен членом совета императора.

Награждали не только Ростопчина, но и его родственников. Так, в апреле 1799 года вышел следующий приказ: «За верность и преданность нашего действительного тайного советника графа Ростопчина еще в знак нашего к нему благоволения всемилостивейше жалуем отца его, отставного майора Ростопчина в наши действительные статские советники, увольняя его от всех дел»[24]. Ростопчин сам настоял на таком благоволении.

Причиной очередной опалы явилась интрига представителей противоборствующего лагеря — графа Панина и графа Палена, но по большому счету она была вызвана грядущей сменой власти. Недовольство павловским царствованием достигло критической массы. Даже родной сын Александр жаловался, что «сделался теперь самым несчастным человеком на свете». Ненависть вызывали даже награды, раздаваемые Павлом. Стремясь предать забвению учрежденные Екатериной ордена, он учредил орден Святого Иоанна Иерусалимского, которым он удостоил и Ростопчина в декабре 1798 года. А в марте следующего года Павел сделал его великим канцлером Мальтийского ордена, великим командором которого сам являлся.

Но не древний рыцарский орден помогал Павлу в осуществлении его преобразований. Опорой императору были ближайшие сподвижники, в числе которых наибольшее влияние имели Ростопчин и Аракчеев. А потому главной задачей заговорщиков во главе с тем же графом Паленом, генерал-губернатором Петербурга, было устранение преданных императору людей. Аракчеева удалось скомпрометировать в глазах Павла осенью 1799 года, а Ростопчин продержался до февраля 1801-го.

Чувствовал ли Ростопчин, что кольцо заговора сужается и развязка вот-вот наступит? Судя по письму, написанному им незадолго до отставки, — да. «Я не в силах более бороться против каверз и клеветы и оставаться в обществе негодяев, которым я неугоден и которые, видя мою неподкупность, подозревают, и — не без основания, что я противодействую их видам», — писал он. Ростопчин считал, что больше всего в смене власти в России заинтересована Англия, куда, по его мнению, и вели основные

нити заговора.

Как и в прошлый раз, Ростопчину было велено выехать в подмосковное имение Вороново. Император даже отказался с ним переговорить напоследок, а жить Павлу оставалось всего три недели. Почувствовав неладное, император написал было Ростопчину, чтобы тот немедля возвращался. Но было слишком поздно. Ростопчин узнал о смерти любимого императора в дороге и в Петербург уже не поехал.

Как пошли бы дела, если б Ростопчин успел вернуться в Петербург? История не знает сослагательных наклонений. Но ясно, что он ни при каких условиях не мог бы оказаться среди заговорщиков, потому как предан был государю лично. Преданность была следствием того доверия, что оказывал ему Павел. Именно в его окружении он был на своем месте. А его вйдение государственных интересов полностью соответствовало взглядам Павла. Со своей стороны, он имел влияние на императора и использовал всякую возможность воздействовать на принятие государем важнейших решений. Ростопчин как государственный деятель сумел максимально реализоваться именно в павловское царствование.

Итог службе Ростопчина подвел Петр Вяземский: «Служба Ростопчина при Императоре Павле неопровержимо убеждает, что она не заключалась в одном раболепном повиновении. Известно, что он в важных случаях оспаривал с смелостью и самоотвержением, доведенными до последней крайности, мнения и предположения Императора, которого оспаривать было дело нелегкое и небезопасное».

Если Аракчеева Александр вернул и приблизил к себе, то о возвращении Ростопчина не могло быть и речи. Отношения между новым государем и бывшим фаворитом его отца были крайне напряженными. Как выражался сам Федор Васильевич, наследник «его терпеть не мог». Девизом нового царствования стало «Все будет как при бабушке», и потому Ростопчин пришелся не ко двору.

Удалившись в свое имение Вороново, купленное у графа Д. П. Бутурлина в 1800 году за 320 тысяч рублей, Ростопчин не остался без дела. Свои силы он направил совершенно в другое русло — сельское хозяйство. Впрочем, новым для него, уроженца российской провинции, оно не было. Планы его были грандиозны, изменился лишь масштаб его деятельности.

Федор Васильевич решил преобразовать сельское хозяйство в отдельно взятом имении, сделав его образцовым и максимально прибыльным. Поначалу Ростопчин посеял в своих полях американскую пшеницу и овес, поставив себе целью увеличение

урожайности хлеба. Для этого он придумал удобрять посевы илом, известью, навозом, а еще и медным купоросом. Ростопчин совершенствует и орудия труда — молотилку и соху, борясь с плугом и английской системой земледелия.

Вставал Ростопчин до зари, ложился затемно, целыми днями пропадая на пашне. Как писал он, «жарюсь в полях, жизнь веду здоровую и в один час бываю цыганом, старостою и лешим». Получив первые результаты своих опытов, граф приходит к мысли, что иноземные «орудия для хлебопашества» нам ни к чему — не подходят они для нашего климата. И если что-то и брать у англичан, так это приспособления для обмолота зерна.

Своими соображениями Ростопчин делится в книге «Плуг и соха. Писанное степным дворянином», имеющей два эпиграфа. Первый: «Отцы наши не глупее нас были». И второй, в стихах, который заканчивался так:

Служил в войне, делах, теперь служу с сохой.
Я пользы общества всегда был верный друг,
Хочу уверить в том и восстаю на плуг[25].

Мысли Ростопчина, изложенные в этой книге, свидетельствуют не только о том, что его консерватизм еще более укрепился, но и демонстрируют их злободневность:

«То, что сделалось в других землях веками и от нужды, мы хотим посреди изобилия у себя завести в год… Теперь проявилась скоропостижно мода на английское земледелие, и английский фермер столько же начинает быть нужен многим русским дворянам, как французский эмигрант, итальянские в домах окна и скаковые лошади в запряжку. Хотя я русский сердцем и душою и предпочитаю отечество всем землям без изъятия, не из числа, однако ж, тех, которые от упрямства, предрассудков и самолюбия пренебрегают вообще все иностранное и доказательства отражают словами: пустое, вздор, не годится. Мое намерение состоит в том, чтобы тем, кои прославляют английское земледелие, выставляя выгодную лишь часть оного, доказать, что сколь английское обрабатывание земли может быть выгодно в окрестностях больших городов, столь бесполезно или, лучше сказать, невозможно всеместно для России в теперешнем ее положении».

Ростопчин не только занимался самообразованием, много читал, выписывал иностранные журналы, но и помогал учить других, открыв в Воронове сельскохозяйственную школу. Здесь у шведских агрономов Паттерсона и Гумми учились крепостные Ростопчина и его соседей-помещиков. Для воплощения в жизнь полученных знаний крестьян обеспечивали удобрениями и

семенами. И хотя английскую систему земледелия он критиковал, но за опытом обращался именно к западным агрономам и садовникам, перенимая у них самое лучшее. Он настолько хорошо освоил земледельческую науку, что вскоре стал именовать себя не иначе как «профессором хлебопашества». Кажется, из него получился бы неплохой министр сельского хозяйства.

Занимался Ростопчин и разведением скота — коров и овец, но больше всего — лошадей, основав на своих землях конные заводы. Благо что на плодородной, богатой пастбищами Воронежской земле были для этого все условия. Арабские и английские скакуны чувствовали себя здесь вольготно. Из переписки Ростопчина тех лет узнаем: «Приведен ко мне жеребец столь хороших статей для Ливенского моего завода, что я решился его туда отправить». В селе Анна он держал табун в две тысячи лошадей, приносивший ему более 200 тысяч рублей дохода в год[26]. Выведенную на его заводах новую породу лошадей назвали ростопчинской.

Ростопчин выстроил в Воронове новый большой дом, разбил прекрасный парк, знаменитый своими цветниками и украшенный итальянскими мраморными статуями. В оранжерее, проект которой приписывают самому Дж. Кваренги, он выращивал ананасы. А еще граф задумал в пику наводнившему Россию французскому табаку устроить у себя табачную фабрику, употребляя на сырье произрастающий в Малороссии табак.

За 12 лет, что Ростопчин жил в Воронове, поместье преобразилось. И хотя после 1812 года бывать здесь хозяину не было ни времени, ни сил, долго еще в Воронове ощущались благотворные последствия инновационной деятельности графа. А в сентябре 1812 года, после спешного бегства из Москвы, Ростопчин приехал в Вороново, чтобы сжечь его.

Что сталось с богатой коллекцией предметов искусства, собранной владельцем усадьбы с тех пор, как он был фаворитом императора Павла? Старинные гравюры и дорогой фарфор, скульптурные изваяния и редкие книги — все это вполне могло сгореть. Только вот на пожарище не нашли никаких следов, даже от мраморных скульптур. Вероятно, Ростопчин заблаговременно вывез наиболее ценные вещи.

Граф оставил французам записку следующего содержания: «Восемь лет украшал я это село, в котором наслаждался счастием среди моей семьи. При вашем приближении обыватели, в числе 1720, покидают жилища, а я предаю огню дом свой, чтобы он не был осквернен вашим присутствием. Французы! В Москве оставил я вам два моих дома и движимости на полмиллиона рублей: здесь

вы найдете только пепел»[27].

Ростопчин призывал и других помещиков брать с него пример и не увлекаться английской системой земледелия, весьма популярной тогда. Он был уверен, что именно его методы организации сельского хозяйства способны значительно увеличить доходы государства. Хотя истинной преградой на пути развития экономики России было крепостное право, убежденным сторонником которого являлся Ростопчин. Он, как и император Павел, считал, что помещики лучше позаботятся о своих крепостных, чем крестьяне, предоставленные сами себе. Но время Павла прошло, императором стал Александр, провозгласивший во время своей коронации 15 сентября 1801 года: «Большая часть крестьян в России — рабы… Я дал обет не увеличивать числа их и потому взял за правило не раздавать крестьян в собственность». Ростопчин же расценивал свободу крестьян как «неестественное для человека состояние, ибо жизнь есть наша беспрестанная зависимость от всего». Вольность способна и вовсе привести к бунту — в этом он был твердо уверен. Недаром академик Е. В. Тарле писал, что для Ростопчина слова «Россия» и «крепостное право» были синонимами, слившимися в неразрывную двуединую сущность. Что бы сказал Ростопчин, узнав о том, что за пол века после отмены крепостного права в 1861 году объем сельскохозяйственного производства вырос в семь раз!

Все, что ни делал Александр I, хорошо чувствовавший общественные настроения, вызывало у Ростопчина резкий протест. Особенно в направлении либерализации общества: свобода въезда и выезда из России, свобода торговли, открытие частных типографий и беспрепятственный ввоз любой печатной продукции из-за границы, упразднение Тайной экспедиции и многое другое.

Все эти меры Ростопчин считал вредными для России. «Господи помилуй! Все рушится, все падает и задавит лишь Россию», — читаем мы в его переписке 1803–1806 годов. В чем он видит основную причину «падения» России? Как и в сельском хозяйстве, это — увлечение всем иноземным: «прокуроров определяют немцев, кои русского языка не знают», «смотрят чужими глазами и чувствуют не русским сердцем»… Для исправления ситуации Ростопчин избирает весьма оригинальный способ: взять из кунсткамеры дубину Петра Великого и ею «выбить дурь из дураков и дур», а еще понаделать много таких дубин и поставить «во всех присутственных местах вместо зерцал».

Интересно, что мнение о вредности всякого рода конституционных свобод Ростопчин пронес через всю жизнь: «К несчастию, в сем веке, в котором столько происшествий приучили два поколения избавлять себя от правил, внушающих должное уважение к Вере и Престолу, горсть крамольников и честолюбцев довольно свободно достигает до обольщения народа, говоря, смотря по обстоятельствам, о благополучии, богатстве, свободе, славе, завоевании и мщении; его возмущают, ведут и низвергают в ужасную пропасть бедствий. Дошли даже до того, что стали почитать революцию какою-то потребностью духа времени, и чтоб умножить лавину бунта, то представляют в блистательной перспективе выгоды конституции, не заботясь нимало, прилична ли она стране, жителям и соседям. Вот болезнь нынешнего века! Эта горячка опаснее всех горячек, даже и самой моровой язвы; ибо не только что повальная и заразительная, но сообщается чрез разговор и чтение. Ее признаки очень заметны: она начинается набором пышных слов, которые, кажется, выходят из уст какого-нибудь законодавца, друга человечества, Пророка или могущественного владетеля; потом является тысяча оскорблений против всякой власти и жажда обладания, неумеренный аппетит богатства, наконец, бред, в продолжение которого больной карабкается как можно выше, опрокидывая все пред собою»[28].

Насколько прав был Ростопчин, укоряя российскую элиту в галломании? К сожалению, прав во многом. Французская речь впитывалась дворянскими детьми с молоком кормилиц, ведь в большинстве своем домашними учителями, гувернерами в знатных семьях были французы. Среди российских дворян были и такие, кто годами не появлялся в России, вывозя детей на учебу в Париж и Страсбург. Немалое число высших сановников России говорили по-французски лучше, чем на родном языке, к Франции относясь как ко второй родине. Например, канцлер Николай Румянцев так любил Францию, что удостоился похвалы Наполеона. А когда в июне 1812 года Румянцев узнал о начале Отечественной войны, его хватил удар — такое сильное впечатление на него произвела эта новость. Да и генералитет русской армии в немалой степени состоял из иностранцев. (К 1812 году доля иностранцев среди генералов русской армии составляла 33 %.) Но этот факт вряд ли позволяет считать их меньшими патриотами, чем сам Ростопчин.

Наполеон покорил сердца определенной части российской интеллигенции. Характерен пример Василия Львовича Пушкина, с придыханием рассказывавшего о своем вояже в Париж и встрече с Наполеоном в 1803–1804 годах. Поэт на несколько месяцев стал героем московских и петербургских салонов. А как притягивали

московских модниц привезенные им из Парижа рецепты, предметы туалета, мебель. Но не стоит придавать большое значение этим ярким, но все же только внешним признакам любви к Франции. После 1807 года и навязанного России мира отношение российской общественности стало меняться в более трезвую сторону. А потому прав был П. В. Анненков, писавший в 1868 году, что «вражда высшего нашего общества к Наполеону была полная, без оговорок и уступок. В императоре французов общество это ненавидело отчасти и нарушение принципа легитимизма, в чем совершенно сходилось с правительством, но оно ненавидело и тот строй, порядок жизни, который Наполеоном олицетворялся», и в то же время «подражание французам, на которое так жаловался гр. Ростопчин, было крайне поверхностное в обществе и ограничивалось ничтожными предметами, конечно, не стоившими жарких филиппик этого оригинального патриота»[29].

Еще одно важное занятие, которому посвятил Ростопчин свое свободное время, — литература. В 1806 году он сочиняет «наборную повесть из былей, по-русски писанную», уже одно название которой указывает на ее антифранцузскую направленность: «Ох, французы!».

Автор, принимая на себя роль «глазного лекаря», который «если не вылечит, то по крайней мере не ослепит никого», пытается открыть глаза читателю на то, каким должен быть настоящий русский дворянин. Ростопчин считает, что у него есть для этого веские основания только по той причине, что «и вы русские», и «я русский».

Адресована книга «разумеется, благородным, по той причине, что сие почтенное сословие есть подпора престола, защита отечества и должно предпочтительно быть предохранено». О менее знатных сословиях Ростопчин придерживается лучшего мнения: «Купцы же и крестьяне хотя подвержены всем известным болезням, кроме нервов и меланхолии, но еще от иноземства кой-как отбиваются, и сия летучая зараза к ним не пристает».

Кто же он, идеальный дворянин, к которому не пристает никакое иноземство? По Ростопчину, это «почтенный человек, отец, муж, россиянин редкий», хорошо воспитанный, «укрепленный телом», живущий в душе со страхом Божьим, любовью к отечеству, почтением к государю, уважением к начальству и состраданием к ближнему. Ростопчин указывает и на еще одно веское обстоятельство, без которого трудно стать настоящим патриотом — надо жить и родиться не в Москве или Петербурге, а «в одной из тех изобильных губерний, где круглый год никто ни в чем не знает нужды». Как видим, перечисленные

качества характерны и для самого автора повести «Ох, французы!».

Слишком велико в России, считает Ростопчин, тлетворное влияние Запада, когда французские няньки и гувернеры разговаривают со своими воспитанниками на своем языке, а вместо «сорока, сорока кашу варила» ребенок слышит истории про Синюю Бороду. В то же время как «наши сказки о Бове Королевиче, о Евдоне и Берьфе, о Еруслане Лазаревиче, о Илье Муромце заключают нечто рыцарское, и ничего неблагопристойного в них нет», считает Ростопчин. И вот из такого ребенка, наслушавшегося в детстве французской речи, вырастает, в конце концов, несознательный дворянин, который «завидует французам и не в первый раз жалеет, что и сам не француз». Какая же из него «подпора для престола»?

Неизвестно, как повлияла бы повесть на представителей сословия, которому она была адресована, если бы была опубликована своевременно. Но напечатали ее лишь в 1842 году, когда автора уже давно не было в живых. И если бы Федор Васильевич дожил до публикации, то был бы очень обрадован отзывами критиков: «верное зеркало нравов старины и дышит умом и юмором того времени» (В. Г. Белинский) и «много юмора, остроты и меткого взгляда» (А. И. Герцен). А вот следующее произведение Ростопчина, которое можно назвать «программным», увидело свет вскоре после написания. В «Мыслях вслух на Красном крыльце Российского дворянина Силы Андреевича Богатырева» автор предлагает уже более радикальные методы борьбы с «иноземщиной»: «Долго ли нам быть обезьянами? Не пора ли опомниться, приняться за ум, сотворить молитву и, плюнув, сказать французу: «Сгинь ты, дьявольское наваждение! ступай в ад или восвояси, все равно, — только не будь на Руси».

«Мысли…» разошлись в списках и приобрели широкую известность, а их первая публикация состоялась даже без ведома автора, в марте 1807 года в Петербурге. Правда, напечатавший их А. С. Шишков немного смягчил националистические акценты. Ростопчину это не понравилось, и вскоре он сам взялся за публикацию «Мыслей…» в Москве. После чего число почитателей полемического таланта графа резко выросло. После событий под Прейсиш-Эйлау многие думали о том, о чем от имени «ефремовского дворянина Силы Андреевича Богатырева, отставного подполковника, израненного на войнах, предводителя дворянского и кавалера Георгиевского и Владимирского, из села Зажитова» писал Ростопчин. Существуй Сила Богатырев на самом деле, его немедля приняли бы в ряды московского Английского

клуба, многие члены которого исповедовали национал-патриотические взгляды.

По сравнению с прежними героями Ростопчина Богатырев оказался более воинственным и даже агрессивным: «Прости Господи! уж ли Бог Русь на то создал, чтоб она кормила, поила и богатила всю дрянь заморскую, а ей, кормилице, и спасибо никто не скажет? Ее же бранят все не на живот, а на смерть».

Впоследствии, через 14 лет после написания «Мыслей…», Ростопчин оправдывал их возникновение следующим: «Небольшое сочинение, изданное мною в 1807 году, имело своим назначением предупредить жителей городов против Французов, живущих в России, которые старались уже приучить умы к тому мнению, что должно будет некогда нам пасть пред армиями Наполеона. Я не говорил о них доброго; но мы были в войне, а потому и позволительно Русским не любить их в сию эпоху. Но война кончилась и Русский, забыв злобу, возвращался к симпатии, существующей всегда между двумя великодушными народами. Он не сохранил сего зложелательства, которое Французы оказывают даже до сего времени чужеземцам и не прощают им двойное занятие Парижа, как и трехлетнее их пребывание во Франции. Впрочем, я спрашиваю: где та Земля, в которой три тысячи шестьсот тридцать Французов, живущих в одном токмо столичном городе, готовом уже быть занятым их соотечественниками, могли бы жить не только спокойно, но даже заниматься своей коммерцией и отправлять свои работы?»[30]

Как это часто бывает в таких случаях, у Ростопчина не замедлили появиться последователи и подражатели. Василий Жуковский из Петербурга изъявлял желание напечатать в «Вестнике Европы» продолжение мыслей Силы Богатырева, вопрошавшего: «Боже мой! да как же предки наши жили без французского языка, а служили верой и правдой государю и отечеству, не жалели крови своей, оставляли детям в наследство имя честное и помнили заповеди Господни и присягу свою? За то им слава и царство небесное!»

В том же «Вестнике Европы» в 1806 году напечатаны были и стихи следующего содержания, посвященные графу:

СТИХИ Графу Федору Васильевичу Растопчину,
(по прочтении письма его от 14 мая)

И был, и есть, и будет ввек
Почтен и славен человек,
Кто к обществу любовью дышит
И кто к друзьям своим так пишет.

Не блеск, не сан твой чту, не чин:
Почтен без них ты, Растопчин.

С. Петербург, Мая 18 дня.
Автор сей оды подписался как «Я — пустынник».

Своими успехами в сельском хозяйстве Ростопчин не добился такого авторитета в обществе, какой принесли ему «Мысли…». «Эта книжка прошла всю Россию, ее читали с восторгом!» — отмечал М. А. Дмитриев. Сочинение Ростопчина стало востребованным еще и по той известной причине, которая всегда присутствует в обществе и обозначается формулой «конфликт отцов и детей». Ростопчин олицетворял старшее поколение, как обычно, недовольное младшим. И здесь увлечение французским было лишь поводом: «Спаси, Господи! чему детей нынче учат! выговаривать чисто по-французски, вывертывать ноги и всклокачивать голову. Тот умен и хорош, которого француз за своего брата примет. Как же им любить свою землю, когда они и русский язык плохо знают? Как им стоять за веру, за царя и за отечество, когда они закону Божьему не учены и когда русских считают за медведей? Мозг у них в тупее, сердце в руках, а душа в языке; понять нельзя, что врут и что делают.

…Господи, помилуй! только и видишь, что молодежь одетую, обутую по-французски; и словом, делом и помышлением французскую. Отечество их на Кузнецком мосту, а царство небесное Париж. Родителей не уважают, стариков презирают и, быв ничто, хотят быть все».

Но все же главной причиной всех бед были и есть французы: «Да что за народ эти французы! копейки не стоит! смотреть не на что, говорить не о чем. Врет чепуху; ни стыда, ни совести нет. Языком пыль пускает, а руками все забирает. За которого ни примись — либо философ, либо римлянин, а все норовит в карман; труслив как заяц, шалостлив как кошка; хоть не много дай воли, тотчас и напроказит».

Публика требовала продолжения. И вскоре из-под пера Ростопчина вышли новые произведения из этой же «серии» — «Письмо Устина Ульяновича Веникова к Силе Андреевичу Богатыреву», «Письмо Силы Андреевича Богатырева к одному приятелю в Москве» и т. д.

Пробовал граф себя и в драматургии, сочинив одноактную комедию «Вести, или Убитый живой», главным героем которой был опять же любимый персонаж — Сила Богатырев. Пьеса прошла на московской сцене в январе 1808 года лишь три раза.

Некоторые зрители, узнав себя в персонажах пьесы, закатили скандал, после чего спектакль сняли с репертуара.

Как жалел Федор Васильевич о преждевременной гибели императора Павла, не скрывая своего разочарования царствованием Александра! И оба эти противоречивые чувства были глубоко связаны между собой. Метко по этому поводу заметил тот же Вяземский: «Благодарность и преданность, которые сохранил он к памяти благодетеля своего (как всегда именует он Императора Павла, хотя впоследствии и лишившего его доверенности и благорасположения своего), показывают светлые свойства души его. Благодарность к умершему, может быть, доводила его и до несправедливости к живому».

А что же государь? Вспоминал ли он о Ростопчине? По крайней мере, Александр знал о том, что Ростопчин является выразителем мнения определенной части дворянства правого толка, так называемой «русской партии»[31]. Дошла до императора и трактовка Ростопчиным аустерлицкого поражения 1805 года как «божьей кары» за убийство Павла I.

В декабре 1806 года Ростопчин обращается напрямую к Александру, предлагая ему диагноз быстрого излечения страны (в павловском стиле): выслать всех иностранцев, приструнить своих говорунов-либералов и тем более масонов: «Исцелите Россию от заразы и, оставя лишь духовных, прикажите выслать за границу сонмище ухищренных злодеев, коих пагубное влияние губит умы и души не смыслящих подданных наших». Ожидаемой Ростопчиным реакции государя не последовало.

А тем временем серьезно обострилась международная обстановка. В 1807 году Александр был вынужден подписать с Наполеоном невыгодный для России Тильзитский мир, по которому с Францией устанавливались союзнические отношения, а сам Бонапарт признавался французским императором. Более того, Россия обязана была участвовать в континентальной блокаде Великобритании, в союзе с которой ранее была образована так называемая четвертая коалиция против Наполеона. Россия несла не только моральные, но и экономические убытки (торговля с Великобританией была крайне выгодной), что не могло не сказаться на общественном мнении, на политической атмосфере при дворе.

В донесениях иностранных послов своим государям все чаще стало встречаться уже забытое с 1801 года слово «переворот»: «Недовольство императором усиливается… Говорят о перемене царствования… Говорят о том, что вся мужская линия царствующего дома должна быть отстранена… На престол хотят возвести великую княжну Екатерину»[32]. Упоминаемая шведским

послом княжна — родная сестра государя, великая княгиня Екатерина Павловна, которая сыграет важнейшую роль в будущей судьбе Ростопчина. И вот доселе не принимаемые во внимание суждения Ростопчина о засилье иностранщины, о вреде губящего страну либерализма наконец-то нашли свою хорошо удобренную почву в среде недовольного дворянства, особенно московского. Хотя и в столице нашлись те, кто готов был выслушивать Ростопчина не без интереса, это и министр полиции А. Д. Балашов, и министр юстиции И. И. Дмитриев, *и* Н. М. Карамзин, и даже брат императора, великий князь Константин Павлович. А встречались оппозиционеры посередине между двумя столицами — в Твери, в салоне той самой сестры императора, великой княжны Екатерины Павловны и ее мужа герцога Ольденбургского, местного губернатора. По сути, на этих собраниях Ростопчин являлся главным представителем оппозиционной Москвы. Как правило, тем для разговоров было три: Наполеон, Сперанский и масоны. Ростопчин уподоблял их трехголовой гидре, которая погубит Россию. В Твери Ростопчин нашел не только единомышленников, но и высокопоставленных покровителей и ходатаев в лице великой княгини Екатерины Павловны и ее мужа. «Посмотрите, — все громче говорил Ростопчин, — до чего довело нас преклонение перед всем французским, Наполеоновы-то войска уже у наших границ!» Действительно, перспективы новой большой войны становились все очевиднее даже без обличительных речей Ростопчина.

Позднее, в конце своей карьеры, граф оправдывался: «До 1806 года я не имел против Наполеона ненависти более, как и последний, из Русских; я избегал говорить о нем, сколько мог, ибо находил, что писали на его счет слишком и слишком рано. Народы Европы будут долго помнить то зло, которое причинил он им войною, и в классе просвещенном два существующих поколения разделятся между энтузиазмом к завоевателю и ненавистью к похитителю. Я даже объявлю здесь откровенно мое верование в отношении к нему: Наполеон был в глазах моих великим Генералом после Итальянского и Египетского похода; благодетелем Франции, когда прекратил он революцию во время своего Консульства; опасным деспотом, когда сделался Императором; ненасытным завоевателем до 1812 года; человеком, упоенным славою и ослепленным счастьем, когда предпринял завоевание России; униженным гением в Фонтенебло и после Ватерлоского сражения, а на острове Св. Елены плачущим прорицателем. Наконец, я думаю, что умер он с печали, не имея уже возможности возмущать более свет и видя себя заточенным на голых скалах, чтобы быть терзаему воспоминанием

прошедшего и мучениями настоящего, не имея права обвинять никого другого, кроме самого себя, будучи сам причиною и своего возвышения и своего падения. Я очень часто сожалел, что Генерал Тамара, имевший препоручение, в 1789 году, во время войны с Турками, устроить флотилию в Средиземном море, не принял предложения Наполеона о приеме его в Русскую службу; но чин Майора, которого он требовал, как Подполковник Корсиканской Национальной Гвардии, был причиною отказа. Я имел это письмо много раз в своих руках».

С 1810 года Александр стал готовить Россию к войне, проведя военную реформу, начав перевооружение армии, возведение крепостей на западной границе и создание продовольственных баз в тылу. Возникла потребность и в мобилизационных мерах, особенно информационного характера, готовящих общественное мнение к неизбежности столкновения с Наполеоном. И вот здесь патриотическая риторика Ростопчина наконец-то была востребована императором, желавшим сгладить недовольство дворянства и чиновничества. Подготовка к войне — очень хорошая возможность повысить авторитет власти, если ведется она на фоне умелого поиска внутренних и внешних врагов. А врагов этих Ростопчин хорошо знал.

Официальное возвращение Ростопчина на государственную службу состоялось 24 февраля 1810 года, когда он был назначен обер-камергером с правом числиться в отпуске. Назначению предшествовала встреча Александра с Ростопчиным в ноябре 1809 года в Москве. Среди сопровождающих императора была и все та же великая княгиня. Не без ее влияния царь дал Ростопчину первое поручение — провести ревизию московских богоугодных заведений, что тот и сделал, подготовив очень обстоятельный и подробный отчет. Но получив должность обер-камергера, Ростопчин все же не мог часто бывать при дворе, так как один обер-камергер там уже был, и притом действующий, — А. Л. Нарышкин. Все это указывало на нежелание Александра приближать к себе Ростопчина, а может, и на желание приберечь его на будущее. Это был и определенного рода знак недовольным, что их голос услышан и принят во внимание. Ведь 1810 год — это начало реформ Михаила Сперанского, создателя совершенно нового для Российской империи учреждения — Государственного совета. «Манифест об открытии Государственного совета» подписал 1 января 1810 года император, а председателем совета стал канцлер Николай Румянцев, государственным секретарем — Сперанский. Госсовет выполнял роль совещательного органа и должен был обсуждать и готовить законопроекты на подпись императору. Хотя первоначально речь шла о более радикальном

шаге — создании Государственной думы.

Сперанского люто ненавидела подавляющая часть дворянства. Своей активной деятельностью госсекретарь раздражал при дворе многих. Ими велась и соответствующая работа по дискредитации реформатора с целью смещения госсекретаря, что было непросто, так как он все еще пользовался доверием государя. Император же в этой ситуации, похоже, пытался усидеть на двух стульях. Он пошел на полумеры. И Госсовет учредил, и Ростопчина назначил. Вот в какой обстановке произошло возвращение Федора Васильевича на государственную службу.

Противники Ростопчина использовали того для борьбы против Сперанского, которого в чем только не обвиняли: в краже документов, в шпионаже, продаже российских интересов за польскую корону, обещанную ему Наполеоном, и т. п. Ростопчин сумел облечь обвинения против Сперанского в «научную» форму, написав в 1811 году «Записку о мартинистах», то есть масонах. Кому как не Ростопчину было писать эту записку. Еще в 1796 году, разбирая архив покойной императрицы, тот обнаружил секретные бумаги о масонском заговоре с целью убийства Екатерины и довел эти сведения до Павла. После чего император в 1799 году запретил масонские ложи в России.

По Ростопчину, получалось, что тайные общества никуда не исчезли, а лишь на время законспирировались. А Сперанский и есть главный покровитель масонов, вражеского общества «нескольких обманщиков и тысяч простодушных жертв», «поставившего себе целью произвести революцию… подобно негодяям, которые погубили Францию». Злободневность записке придало и упоминание Наполеона, «который всё направляет к достижению своих целей, покровительствует им и когда-нибудь найдет сильную опору в этом обществе, столь же достойном презрения, сколько опасном». Записка получила широкое распространение и дошла до адресата, которому она и была предназначена, хотя поначалу писалась для его сестры Екатерины Павловны.

Как Ростопчин попал на должность московского военного генерал-губернатора? Случилось это после встречи с Александром в марте 1812 года. Все произошло как бы случайно: «Накануне войны я решился поехать в Петербург, чтобы предложить свои услуги государю, — не указывая и не выбирая какого-либо места или какой-нибудь должности, а с тем лишь, чтобы он дозволил мне состоять при его особе. Государь принял меня очень хорошо. При первом свидании он мне долго говорил о том, что решился насмерть воевать с Наполеоном, что он

полагается на отвагу своих войск и на верность своих подданных».

Ростопчин нашел весьма удачный повод напомнить о себе государю. Намерения графа были таковы: служить без какого-либо места, без какой-нибудь должности, ни за что серьезно не отвечая, но главное — быть рядом с троном. Государь удовлетворил просьбу графа, и тот стал собираться в Москву, чтобы затем оттуда выехать в Вильну, где находилась главная квартира Его Императорского Величества.

Ростопчин оказался в столице в непростое время, став свидетелем падения всесильного реформатора Михаила Сперанского. Арестовывать его явился сам министр полиции Балашов. Сперанского сослали в Нижний Новгород, несмотря на то, что император весьма сожалел об этом: «Прошлой ночью отняли у меня Сперанского, а он был моей правой рукой».

Как заметил Ростопчин, «низвержение его (Сперанского. — *А. В.)* приписывали В. К. К. и кн. О. — да и меня заставили играть роль в этой истории — меня, который был одним из наиболее изумленных, когда узнал на другой день о его высылке». Граф не расшифровывает инициалы, но и так понятно, что В. К. К. и кн. О — это благодетели Ростопчина, великая княгиня Екатерина Павловна и ее муж. Ряд историков считают, что Ростопчин намеренно преуменьшил свою роль в заговоре против Сперанского. Ведь со стороны взаимосвязь была очевидной: либералы (Сперанский) уступили места консерваторам, среди которых и был Ростопчин, а также А. С. Шишков, ставший новым государственным секретарем. Нам кажется, что граф не покривил душой и его фраза: «Меня заставили играть роль» является наиболее точной характеристикой участия в данном деле.

В это же время государь был озабочен и другой кадровой проблемой — кем заменить давно просящегося на покой престарелого московского военного генерал-губернатора Ивана Гудовича. И здесь все решили те же «В. К. К. и кн. О». Именно они и предложили кандидатуру Ростопчина: «Государь накануне приезжал провести с ними вечер и выражал, что затрудняется в выборе преемника фельдмаршалу Гудовичу, которого не хотел оставлять на занимаемом месте, по причине его старости и слабости. В. К., относившаяся ко мне всегда весьма добродушно и дружелюбно, назвала ему меня, и государь тотчас же решился и благодарил ее за эту мысль, которую назвал счастливою». Вот так и решилась судьба Москвы.

Узнав о свалившейся на него чести, Ростопчин стал было отказываться, мотивируя это тем, что лучше «предпочел бы сопровождать императора в момент, когда всем благородным и

честным людям следует быть около его особы». А на следующий день его уже уговаривал сам император: «Государь стал настаивать, наговорил мне кучу комплиментов, прибегнул к ласкательству, как то делают все люди, когда они нуждаются в ком-нибудь или желают чего-либо, а наконец, видя, что я плохо поддаюсь его желанию, прямо сказал: «Я того хочу». Это уже было приказанием, и я, повинуясь ему, уступил. Так как лица, которых считали нужными, в большинстве случаев ломались и, ничего еще не сделав, желали оценки их будущих трудов, просили денежных наград, лент, чинов и т. п., — то я взял на себя смелость потребовать от государя, чтобы мне лично ничего не было дано, так как я желал еще заслужить те милости, которыми августейший его родитель, в свое царствование, осыпал меня; но, с другой стороны, просил принимать во внимание мои представления в пользу служащих под моим начальством чиновников». Ростопчин немного поломался и согласился.

Выбор государя вызывает у историков немало вопросов. Неужели никому кроме Ростопчина нельзя было доверить столь важный стратегический пост, как управление Москвой? Что же это за новоявленный Илья Муромец такой, что тридцать лет и три года сидел на печи, а затем вдруг понадобился. Почти десять лет пребывал он в отставке, отправленный в оную еще при Павле I! И еще просидел бы столько же, если бы не 1812 год.

Ростопчин вовсе не являлся тем «крепким хозяйственником», что способен был мобилизовать Москву с ее огромным общественным и промышленным потенциалом на помощь армии, а в случае чего — организовать эвакуацию населения и имущества. Не был он и одаренным военачальником, который сумел бы превратить Первопрестольную в город-крепость. Чем же руководствовался император, назначая Ростопчина? Скорее всего, общественным мнением, в котором московский дворянин Ростопчин зарекомендовал себя как истинный борец с Франкофонией, противник Наполеона, да и всей Франции, в общем, настоящий патриот. Это было назначение политическое, что и привело в дальнейшем к столь печальным последствиям для Москвы.

Был ли искренен Ростопчин, уверяя читателей в неожиданности поступившего к нему предложения? Похоже, что нет. О том, что дни Гудовича на губернаторском посту сочтены, не могли не знать ни в Благородном собрании, ни в Английском клубе, завсегдатаем которых был Ростопчин. Связи его простирались далеко за пределы подмосковной усадьбы Вороново и вели в закрытые салоны петербургского света.

От Ростопчина о фельдмаршале Иване Гудовиче государь мог

услышать и такое: «Честнейший в мире человек, достигший фельдмаршальского звания благодаря тому, что всю жизнь провел на службе, не имевший за собой никакой военной репутации, необразованный, ограниченного ума, кичившийся своим чином и местом, вполне состоявший под властью и влиянием своего брата и своего врача — двух бесстыдных плутов, которые думали лишь об извлечении всевозможных выгод из того влияния, которое они имели на престарелого фельдмаршала»[33]. Мало того что слова эти написаны Ростопчиным о своем предшественнике, что уже не очень хорошо характеризует графа, важно и другое: Гудович — весьма достойный военачальник, внесший не менее полезный вклад в историю России, чем Ростопчин.

Итак, пообещав государю держать в секрете свое будущее назначение в Москву, Ростопчин покинул столицу и в конце марта уже был в городе, которым вскоре ему надлежало управлять. В эти дни Александр Булгаков пишет своему брату Константину: «Слышал я о Ростопчине как о человеке весьма любезном; береги его дружбу, она может тебе быть полезна, ибо люди его достоинства недолго остаются без места»[34].

Булгаков как в воду глядел — вскоре ему суждено будет стать одним из ближайших сотрудников Ростопчина в московской администрации. Переписка братьев Булгаковых — ценнейший источник знаний о почти сорока годах жизни Москвы и Санкт-Петербурга начиная с 1802 года.

24 мая 1812-го император наконец-то отправил Гудовича в отставку, заменив его Ростопчиным. Но поскольку к должности генерал-губернатора прибавлялось прилагательное военный, а Ростопчин с 1810-го был обер-камергером, то еще через пять дней последовал указ о переводе графа в военную службу с чином генерала от инфантерии. Многие офицеры и генералы — доблестные участники Бородинского сражения — так и не стали полными генералами, хотя крови за царя и отечество пролили немало. А гражданский чиновник Ростопчин превратился в генерала от инфантерии в один день[35]. 17 июля 1812 года граф стал главнокомандующим в Москве.

Уже первая фраза, которой Ростопчин начинает рассказ о своей службе московским градоначальником, поражает самонадеянностью: «Город, по-видимому, был доволен моим назначением». Еще бы не радоваться, ведь три недели в Москве стояла несусветная жара, грозившая очередной засухой, и надо же случиться такому совпадению, что именно в день приезда Ростопчина полил дождь. А тут еще пришло известие о перемирии с турками. Что и говорить, тут любой бы мог поверить в Промысел Божий. Похоже, что первым поверил в это сам

Ростопчин.

Тем не менее о положительной реакции московского населения на назначение Ростопчина писал и Александр Булгаков: «Он (Ростопчин. — *А. В.)* уже неделю, как водворился. К великому удовольствию всего города». Со временем еще более укрепилась уверенность Булгакова, что Ростопчин именно тот человек, который необходим сейчас Москве: «В графе вижу благородного человека и ревностнейшего патриота; обстоятельства же теперь такие, что стыдно русскому не служить и не помогать добрым людям, как Ростопчину, в пользе, которую стараются приносить отечеству»[36].

У нового начальника было еще одно преимущество перед соперниками: в свои 47 лет он казался просто-таки молодым человеком по сравнению с пожилыми предшественниками.

Большое внимание Ростопчин уделил пропагандистскому обеспечению своей деятельности, приказав по случаю своего назначения отслужить молебны перед всеми чудотворными иконами Москвы. Также он объявил москвичам, что отныне устанавливает приемные часы для общения с населением — по одному часу в день, с 11 до 12 часов. А те, кто имеет сообщить нечто важное, могут и вовсе являться к нему и днем и ночью. Это произвело на горожан благоприятное впечатление.

Но главное — это начать работать шумно и бурно, дав понять, что в городе что-то меняется. Кардинально новый губернатор в короткий срок ничего не мог изменить — на это требовались годы. Поэтому Ростопчин начал с мелочей. Например, отвечая на жалобы «старых сплетниц и ханжей», приказал убрать изображения гробов, служившие вывесками магазинов ритуальных услуг. Также Ростопчин велел снять объявления, наклеенные в неположенных местах — на стенах церквей, запретил выпускать ночью собак на улицу, детям пускать бумажных змеев, а также возить мясо в открытых телегах. Губернатор повелел посадить под арест офицера, приставленного к раздаче пищи в военном госпитале, за то, что не нашел его в кухне во время завтрака. Заступился за одного крестьянина, которому вместо 30 фунтов соли отвесили только 25; посадил в тюрьму чиновника, заведовавшего постройкой моста на судах, снял с должности квартального надзирателя, обложившего мясников данью, и т. п. А еще… Ростопчин организовал под Москвой строительство аэростата, с которого предполагалось сбрасывать бомбы на головы французов… Наконец, он упек в ссылку того самого врача, что пользовал Гудовича. Звали эскулапа Сальватор, его выслали в Пермь, хотя у него уже лежал в кармане паспорт для выезда за границу. Виноват ли он был или

нет — не так важно. Известие о раскрытии вражеской деятельности врача бывшего генерал-губернатора было инструментом в насаждении Ростопчиным шпиономании в Москве. Кульминацией шпиономании стала жестокая расправа над сыном купца Верещагина 2 сентября 1812 года, но об этом — дальше.

Губернатор взял за обычай по утрам мчаться в самые отдаленные кварталы Москвы, чтобы оставить там следы «справедливости или строгости». Любил он инкогнито ходить по московским улицам в гражданском платье, чтобы затем, загнав не одну пару лошадей, к восьми часам утра быть в своем рабочем кабинете и слушать доклады чиновников. Эти методы работы он позаимствовал у покойного императора Павла. Возможно, что еще одно павловское изобретение — ящик для жалоб, установленный у Зимнего дворца, Ростопчин также применил бы в Москве, но война помешала.

Как похвалялся губернатор Ростопчин, два дня понадобилось ему, чтобы «пустить пыль в глаза» и убедить большинство московских обывателей в том, что он неутомим и что от его глаз ничто не скроется.

А тем временем Великая армия Наполеона, перешедшая Неман 12 июня 1812 года, продвигалась к Москве. И одного лишь сбора средств московским дворянством и купечеством в помощь армии было уже недостаточно. Ростопчин решает, что наиболее важным делом теперь является распространение среди населения уверенности в том, что положение на фронте хотя и опасно, но француз к Москве не подойдет: «Я чувствовал потребность действовать на умы народа, возбуждать в нем негодование и подготовлять его ко всем жертвам для спасения отечества. С этой-то поры я начал обнародовать афиши, чтобы держать город в курсе событий и военных действий. Я прекратил выпуск ежедневно появлявшихся рассказов и картинок, где французов изображали какими-то карликами, оборванными, дурно вооруженными и позволяющими женщинам и детям убивать себя». Ну что же, адекватная оценка противника — факт отрадный, если он сопровождается и другими мерами, способствующими отражению великой опасности от Москвы.

До нашего времени дошли два десятка афиш или, как они официально именовались, «Дружеские послания главнокомандующего в Москве к жителям ее». Они выходили почти каждый день начиная с 1 июля по 31 августа 1812 года, а затем с сентября по декабрь того же года. Вот первая афиша: «Московский мещанин, бывший в ратниках, Карнюшка Чихирин, выпив лишний крючок на тычке, услышал, что будто Бонапарт

хочет идти на Москву, рассердился и, разругав скверными словами всех французов, вышед из питейнаго дома, заговорил под орлом так: «Как! К нам? Милости просим, хоть на святки, хоть и на масляницу: да и тут жгутами девки так припопонят, что спина вздуется горой. Полно демоном-то наряжаться: молитву сотворим, так до петухов сгинешь! Сиди-тко лучше дома да играй в жмурки либо в гулючки. Полно тебе фиглярить: ведь солдаты-то твои карлики да щегольни; ни тулупа, ни рукавиц, ни малахая, ни онуч не наденут. Ну, где им русское житье-бытье вынести? От капусты раздует, от каши перелопаются, от щей задохнутся, а которые в зиму-то и останутся, так крещенские морозы поморят; право, так, все беда: у ворот замерзнуть, на дворе околевать, в сенях зазябать, в избе задыхаться, на печи обжигаться. Да что и говорить! Повадился кувшин по воду ходить, тут ему и голову положить. Карл-то шведский пожилистей тебя был, да и чистой царской крови, да уходился под Полтавой, ушел без возврату. Да и при тебе будущих-то мало будет. Побойчей французов твоих были поляки, татары и шведы, да и тех старики наши так откачали, что и по сю пору круг Москвы курганы, как грибы, а под грибами-то их кости. Ну, и твоей силе быть в могиле. Да знаешь ли, что такое наша матушка Москва? Вить это не город, а царство. У тебя дома-то слепой да хромой, старухи да ребятишки остались, а на немцах не выедешь: они тебя с маху сами оседлают. А на Руси што, знаешь ли ты, забубённая голова? Выведено 600 000, да забритых 300 000, да старых рекрутов 200 000. А все молодцы: одному Богу веруют, одному царю служат, одним крестом молятся, все братья родные. Да коли понадобится, скажи нам батюшка Александр Павлович: «Сила христианская, выходи!» — и высыпет бессчетная, и свету Божьяго не увидишь! Ну, передних бей, пожалуй: тебе это по сердцу; зато остальные-то тебя доконают на веки веков. Ну, как же тебе к нам забраться? Не токмо что Ивана Великаго, да и Поклонной во сне не увидишь. Белорусцев возьмем да тебя в Польше и погребем. Ну, поминай как звали! По сему и прочее разумевай, не наступай, не начинай, а направо кругом домой ступай и знай из роду в род, каков русский народ!» Потом Чихирин пошел бодро и запел: «Во поле береза стояла», а народ, смотря на него, говорил: «Откуда берется? А что говорит дело, то уж дело?» 1 июля 1812»[37].

Афиша эта больше похожа на рассказик в былинном стиле, рассчитанная на те слои населения, которые с трудом могли ее прочитать. Таким способом московский генерал-губернатор «успокаивал» народ, одновременно завоевывая дешевый авторитет в бедных слоях населения. Следующая порция «успокоительного лекарства» от Ростопчина относится к 9 августа

1812-го: «Слава Богу, все у нас в Москве хорошо и спокойно! Хлеб не дорожает, и мясо дешевеет. Однако всем хочется, чтоб злодея побить, и то будет. Станем Богу молиться, да воинов снаряжать, да в армию их отправлять. А за нас пред Богом заступники: Божия Матерь и московские чудотворцы; пред светом — милосердный государь наш Александр Павлович, а пред супостаты — христолюбивое воинство; а чтоб скорее дело решить: государю угодить, Россию одолжить и Наполеону насолить, то должно иметь послушание, усердие и веру к словам начальников, и они рады с вами и жить, и умереть. Когда дело делать, я с вами; на войну идти, перед вами; а отдыхать, за вами. Не бойтесь ничего: нашла туча, да мы ее отдуем; все перемелется, мука будет; а берегитесь одного: пьяниц да дураков; они, распустя уши, шатаются, да и другим в уши врасплох надувают. Иной вздумает, что Наполеон за добром идет, а его дело кожу драть; обещает все, а выйдет ничего. Солдатам сулит фельдмаршальство, нищим — золотые горы, народу — свободу; а всех ловит за виски, да в тиски и пошлет на смерть: убьют либо там, либо тут. И для сего и прошу: если кто из наших или из чужих станет его выхвалять и сулить и то и другое, то, какой бы он ни был, за хохол да на съезжую! Тот, кто возьмет, тому честь, слава и награда; а кого возьмут, с тем я разделаюсь, хоть пяти пядей будь во лбу; мне на то и власть дана; и государь изволил приказать беречь матушку Москву; а кому ж беречь мать, как не деткам! Ей-Богу, братцы, государь на вас, как на Кремль, надеется, а я за вас присягнуть готов! Не введите в слово. А я верный слуга царский, русский барин и православный христианин. Вот моя и молитва: «Господи, Царю Небесный! Продли дни благочестиваго земного царя нашего! Продли благодать Твою на православную Россию, продли мужество христолюбиваго воинства, продли верность и любовь к отечеству православнаго русскаго народа! Направь стопы воинов на гибель врагов, просвети и укрепи их силою Животворящаго Креста, чело их охраняюща и сим знамением победита»[38].

Назвав французских солдат карликами, Ростопчин вновь дал повод для невероятных слухов: «Слышавши, что пленные неприятели находятся за Дорогомиловской заставой, мне хотелось удостовериться, действительно ли, как носились слухи, что неприятельские солдаты не походят на людей, но на страшных чудовищ?

Недалеко от села Филей находилось сборище народа, в виде кочующего цыганского табора, состоящее из двухсот пленных неприятелей разных племен, наречий, состояний, окруженное конвоем из ратников с короткими пиками и несколькими на лошадях казаками. Мундиры на пленниках были

разноформенные; некоторые из них были ранены и имели повязки на разных частях тела; они, издали завидев приближавшихся к их стану любопытных зрителей, показывая руками на небо и на желудок, кричали: «Русь! Хлиба!» Одни из них, свернувшись в клубок, спали на траве, другие чинили платье, третьи жарили картофель на разложенном огне; но были и такие, которые, со злобою косясь на зрителей, что-то себе под нос ворчали. Русские со свойственным им добродушием и христианскою любовью к ближнему, исполняя Евангельские заповеди — «за зло плати добром врагу твоему, алчущего накорми, жаждущего напои, нагого одень», — раздавали пленным хлеб и деньги.

В близком расстоянии от пленных, в обширной крестьянской избе помещалось человек до тридцати штаб- и обер-офицеров неприятельской армии; здесь царствовало веселье, сопровождаемое разными оргиями: одни пили из бутылок разные заморские вина, шумели между собою и во все горло хохотали, другие играли в карты, кричали и спорили; некоторые, под игравшую флейту, выплясывали французскую кадриль; прочие, ходя, сидя, лежа курили трубки, сигары или распевали, каждый на свой лад, разноязычные песни.

Русские, смотря на иностранное удальство, говорили: «Каков заморский народ! Не унывают и знать не хотят о плене; как званые гости на пир пожаловали, пляшут себе и веселятся. Недаром ходит молва в народе: «Хоть за морем есть нечего, да жить весело»[39].

А Наполеон все ближе подходил к Москве, те самые заморские гости, что и в плену веселятся, обещали устроить москвичам отнюдь не радостную жизнь. Об этом в афише ни слова. Но ведь московское дворянство узнавало о положении на фронте не по рассказам графа, все, кому было куда выехать и, главное, на чем, активно собирали вещи и выезжали из Первопрестольной.

Хотя и без воздействия Ростопчина среди московского населения стало все сильнее проявляться то самое «скрытое чувство патриотизма», о котором пишет Лев Толстой в романе «Война и мир». Жизнь в Москве переменилась. «Вдруг известие о нашествии и воззвание государя поразили нас. Москва взволновалась. Появились простонародные листки графа Растопчина; народ ожесточился. Светские балагуры присмирели; дамы вструхнули. Гонители французского языка и Кузнецкого моста взяли в обществах решительный верх, и гостиные наполнились патриотами: кто высыпал из табакерки французский табак и стал нюхать русский; кто сжег десяток французских

брошюрок, кто отказался от лафита и принялся за кислые щи. Все закаялись говорить по-французски; все закричали о Пожарском и Минине и стали проповедовать народную войну, собираясь на долгих отправиться в саратовские деревни», — писал Александр Пушкин в «Рославлеве».

Как видим, написание простонародных листков или афиш — одно из тех дел, которыми активный градоначальник запомнился москвичам и вошел в историю. Слишком необычно это было — начальник Москвы лично занимался их написанием, развивая свой литературный дар. Петр Вяземский вспоминал: «Так называемые «афиши» графа Ростопчина были новым и довольно знаменательным явлением в нашей гражданской жизни и гражданской литературе. Знакомый нам «Сила Андреевич» 1807 г. ныне повышен чином. В 1812 г. он уже не частно и не с Красного крыльца, а словом властным и воеводским разглашает свои Мысли вслух из своего генерал-губернаторского дома, на Лубянке».

«Столько было дел, — рассказывает Ростопчин, — что недоставало времени сделаться больным, и я не понимаю, как мог я перенести столько трудов. От взятия Смоленска до моего выезда из Москвы, то есть, в продолжение двадцати трех дней я не спал на постели; я ложился, ни мало не раздеваясь, на канапе, будучи беспрестанно пробуждаем то для чтения депешей, приходящих тогда ко мне со всех сторон, то для переговоров с курьерами и немедленного отправления оных. Я приобрел уверенность, что есть всегда способ быть полезным своему Отечеству, когда слышишь его взывающий голос: жертвуй собою для моего спасения. Тогда пренебрегаешь опасностями, не уважаешь препятствиями, закрываешь глаза свои на счет будущего; но в ту минуту, когда займешься собою и станешь рассчитывать, то ничего не сделаешь порядочного и входишь в общую толпу народа»[40].

Прочитав это, поневоле задаешься вопросом: и откуда только Ростопчин брал время на сочинение афишек? Над этим задумывались и его современники, и даже родственники. Один из них, Николай Карамзин, свояк графа, живший у него в доме, даже предлагал Ростопчину писать за него. При этом он шутил, что таким образом заплатит ему за его гостеприимство и хлеб-соль. Но Ростопчин отказался. Вяземский отказ одобрил, ведь «под пером Карамзина эти листки, эти беседы с народом были бы лучше писаны, сдержаннее, и вообще имели бы более правительственного достоинства. Но за то лишились бы они этой электрической, скажу, грубой, воспламеняющей силы, которая в это время именно возбуждала и потрясала народ. Русский народ

— не Афиняне: он, вероятно, мало был бы чувствителен к плавной и звучной речи Демосфена и даже худо понял бы его». Лев Толстой назвал язык афишек «ерническим».

Свои послания к москвичам Ростопчин писал быстро. Например, когда граф узнал, что в Москву 11 июля должен пожаловать император с проверкой, он тотчас сел за написание соответствующей афиши. После чего уже весь город знал о предстоящем приезде государя. Ростопчину не откажешь в деловой хватке — приезд императора, а точнее его «пропагандистское обеспечение» сыграло свою решающую роль в огромном патриотическом подъеме, наблюдавшемся в Москве.

Ростопчин выехал встречать царя в Перхушково, а вслед за ним по Смоленской дороге потянулись десятки тысяч москвичей. Александр остался доволен тем, как приняла его Москва: огромное количество народа пришло засвидетельствовать ему преданность и уверенность в скорой победе над врагом под его мудрым руководством. Особое благоволение проявил царь к Ростопчину, организовавшему встречу на высоком уровне. В своих мемуарах граф подчеркивает: «В одном из домов была приготовлена закуска». Больше часа просидели они за столом, в конце беседы государь посмотрел на Ростопчина и сказал, что на его эполетах чего-то не хватает, а именно царского вензеля, отличительного знака, свидетельствовавшего о принадлежности к свите Его Императорского Величества. «Мне любо быть у вас на плечах», — подытожил Александр.

Похоже, в душе и Александра, и Ростопчина поселились спокойствие и уверенность в неизбежности скорой победы над Наполеоном.

Уже за полночь, получив указание от царя вернуться в Москву, в благостном настроении направлялся граф в Первопрестольную. Но вот какое странное ощущение посетило его: толпы людей вдоль дороги, ожидавшие въезда в город государя, а главное — священники с горящими свечами и крестами для благословения царя — всё это на минуту напомнило Ростопчину… похороны. Но мысли эти довольно скоро оставили графа, ведь предстоящие в Москве с участием государя события навевали совершенно иное, благостное настроение.

Александр пробыл в Москве неделю, успев за это время пообщаться с представителями различных сословий и получить их мощную поддержку. Простой народ собрался в Кремле и бурно приветствовал своего государя, вышедшего на Красное крыльцо. Император потонул в людском море, слух его услаждался отовсюду раздававшимися возгласами, называвшими его

спасителем и отцом родным. Во время же молебна в Успенском соборе царь услышал, что он — Давид, которому предстоит одолеть Голиафа — Наполеона. Москвичи побогаче — дворяне и купцы — пообещали царю собрать деньги, что и выполнили немедленно — пожертвовав за полчаса почти два миллиона рублей.

Таковой представлялась внешняя сторона дела, но была и другая, потаенная. Предварительно Ростопчин провел большую подготовительную работу с представителями богатых сословий Москвы. Для того чтобы никому из дворян в голову не пришло задавать государю неприятные вопросы о «средствах обороны», Ростопчин решил припугнуть их: рядом со Слободским дворцом, где 15 июля проходила встреча с государем, он велел поставить полицейских и запряженные телеги (для будущих арестантов), готовые отправиться в дальнюю дорогу. После того как слух об этом дошел до участников собрания, желающих задавать «нехорошие» вопросы не нашлось. Недаром участник тех событий Д. Н. Свербеев сказал, что «восторженность дворянства была заранее подготовлена гр. Ростопчиным».

Также продуктивно поработали и с купцами. Ближайший помощник Ростопчина, гражданский губернатор Обресков, обрабатывал купцов, «сидя над ухом каждого, подсказывая подписчику те сотни, десятки и единицы тысяч, какие, по его умозаключению, жертвователь мог подписать».

Государь назначил Ростопчина председателем Комитета по организации московской милиции или народного ополчения. В ополчение принимались все, кто мог носить оружие: отставные офицеры, сохранявшие прежний чин, гражданские чиновники, получавшие чин рангом меньше, а также крепостные, отпущенные хозяевами на войну, но не все, а каждый десятый, правда, с провиантом на три месяца.

Итог волеизъявлению народа, готового для спасения отечества снять последнюю рубаху, подвел Александр: в присутствии приближенных вельмож он обнял Ростопчина, расцеловал его, сказав, что он «весьма счастлив, что он поздравляет себя с тем, что посетил Москву и что назначил генерал-губернатором» Ростопчина. Присутствовавший там же Аракчеев сказал Ростопчину, что за все время его службы царю тот никогда не обнимал и не целовал его, что свидетельствовало о получении Ростопчиным высшего знака благоволения.

В ночь на 19 июля государь, перед отъездом из Москвы, отдал Ростопчину Москву в полное распоряжение: «Предоставляю вам полное право делать то, что сочтете нужным. Кто может предвидеть события? И я совершенно полагаюсь на вас». Как

метко напишет об этом сам Ростопчин, Александр оставил его «полновластным и облеченным его доверием, но в самом критическом положении, как покинутого на произвол судьбы импровизатора, которому поставили темой: «Наполеон и Москва». Свое полное доверие к Ростопчину император обозначил присвоением ему титула «главнокомандующего» всей Москвой и губернией.

Кроме того, Ростопчин был назначен начальником ополчения шести приграничных с Москвой губерний: Тверской, Ярославской, Владимирской, Рязанской, Калужской и Тульской. Общее число ополченцев должно было составить 116 тысяч человек. За сутки ополчение было собрано, но в силу дефицита оружия немалая их часть была вооружена пиками.

Еще 16 июля Дворянское собрание Москвы выбрало начальника московского ополчения, «главнокомандующего Московской военной силы». Им стал М. И. Кутузов, получивший наибольшее число голосов — 243, второе место занял сам Ростопчин. Почти одновременно и дворяне Петербурга также выбирают Кутузова начальником своего ополчения. В итоге император утверждает Кутузова начальником петербургского ополчения. В Москве ополчением будет командовать граф М. И. Морков. В условиях отступления русской армии и не-прекращающихся распрей между Багратионом и Барклаем Кутузов становится чуть ли не единственной надеждой России.

5 августа созданный Александром Особый комитет выбирает из шести кандидатур на пост главнокомандующего кандидатуру Кутузова. Но государь медлит с его назначением.

6 августа Ростопчин обращается к государю с письмом, в котором требует назначения Кутузова главнокомандующим всеми российскими армиями: «Государь! Ваше доверие, занимаемое мною место и моя верность дают мне право говорить Вам правду, которая, может быть, и встречает препятствие, чтобы доходить до Вас. Армия и Москва доведены до отчаяния слабостью и бездействием военного министра, которым управляет Вольцоген. В главной квартире спят до 10 часов утра; Багратион почтительно держит себя в стороне, с виду повинуется и по-видимому ждет какого-нибудь плохого дела, чтобы предъявить себя командующим обеими армиями… Москва желает, государь, чтобы командовал Кутузов… Решитесь, Государь, предупредить великие бедствия… Я в отчаянии, что должен Вам послать это донесение, но его требуют от меня моя честь и присяга». Ростопчин в своем репертуаре: мало того что Барклай — не русский, так еще и управляет им какой-то Вольцоген.

Наконец, 8 августа Александр подписывает рескрипт о

назначении Кутузова главнокомандующим. Немалую роль сыграло в этом решении письмо Ростопчина, об этом царь говорил своим приближенным.

В Москве известие о новом главнокомандующем встречают ликованием, связывая с ним надежду на скорую победу над врагом. Рад и московский градоначальник. Но пройдет каких-то десять лет и Ростопчин весьма скептически оценит те августовские дни: «Москва дала новое доказательство недостатка в благоразумии. При вести о его назначении все опьянели от радости, целовались, поздравляли друг друга».

С Кутузовым Ростопчин близко познакомился еще в царствование Павла. Тогда Ростопчин, как глава Военного департамента, стоял на служебной лестнице даже выше будущего главнокомандующего. Теперь же им суждено было перемениться местами — как только армия вступала в пределы Московской губернии, московский градоначальник поступал в полное распоряжение Кутузова.

Назначение Кутузова, как это ни покажется странным, лежит в том же русле, что и назначение Ростопчина на Москву. Обществу российскому надоел Барклай, говоривший правду. И тогда Александр призвал Кутузова, хорошо говорившего по-русски то, что от него хотели услышать.

Обращает на себя внимание поразительная уверенность общества, что одноглазый Михаил Илларионович и есть та волшебная палочка-выручалочка, способная одним махом спасти и Москву, и Россию. «Весь народ в радости от назначения Кутузова главнокомандующим над обеими армиями… Он все поправит и спасет Москву. Барклай — туфля, им все недовольны; с самой Вильны он все пакостит только… Я поклянусь, что Бонапарту не видать Москвы», — писал Александр Булгаков.

Однако в этом же московском письме от 13 августа есть и другая информация: «Здесь большая суматоха. Бабы, мужеского и женского полу, убрались, голову потеряли; все едут отсюда, слыша, что Смоленск занят французами». Эта цитата с большей достоверностью создает картину Москвы перед сдачей ее французам.

До последних дней Кутузов твердил, что Москва не будет сдана. А Ростопчин, в свою очередь, сообщал об этом каждодневно в своих афишах, считая, что необходимо «при каждом дурном известии возбуждать сомнения относительно его достоверности. Этим ослаблялось дурное впечатление; а прежде чем успевали собрать доказательства, внимание опять поражалось каким-нибудь событием, и снова публика начинала бегать за справками».

Вот, например, афиша от 17 августа: «От главнокомандующего в Москве. — Здесь есть слух и есть люди, кои ему верют и повторяют, что я запретил выезд из города. Если бы это было так, тогда на заставах были бы караулы и по несколько тысяч карет, колясок и повозок во все стороны не выезжали. А я рад, что барыни и купеческий жены едут из Москвы для своего спокойствия. Меньше страха, меньше новостей; но нельзя похвалить и мужей, и братьев, и родню, которые при женщинах в будущее отправились без возврату. Если по их есть опасность, то непристойно; а если нет ее, то стыдно. Я жизнию отвечаю, что злодей в Москве не будет, и вот почему: в армиях 130 000 войска славнаго, 1800 пушек и светлейший князь Кутузов, истинно государев избранный воевода русских сил и надо всеми начальник; у него, сзади неприятеля, генералы Тормасов и Чичагов, вместе 85 000 славнаго войска; генерал Милорадович из Калуги пришел в Можайск с 36 000 пехоты, 3800 кавалерии и 84 пушками пешей и конной артиллерии. Граф Марков чрез три дни придет в Можайск с 24 000 нашей военной силы, а остальныя 7000 — вслед за ним. В Москве, в Клину, в Завидове, в Подольске 14 000 пехоты. А если мало этого для погибели злодея, тогда уж я скажу: «Ну, дружина московская, пойдем и мы!» И выдем 100 000 молодцов, возьмем Иверскую Божию Матерь да 150 пушек и кончим дело все вместе. У неприятеля же своих и сволочи 150 000 человек, кормятся пареною рожью и лошадиным мясом. Вот что я думаю и вам объявляю, чтоб иные радовались, а другие успокоились, а больше еще тем, что и государь император на днях изволит прибыть в верную свою столицу. Прочитайте! Понять можно все, а толковать нечего»[41].

Похоже, что процитированный выше Булгаков перед написанием своих писем читал именно афиши графа Ростопчина. И вот что удивляет — из окна Булгаков видел и реально описывал события, но постоянно считал своим долгом следовать ростопчинской интонации «шапкозакидательства»: «Вот тебе послание графа к жителям Москвы. Этот человек почитаем всем городом. Он суров и справедлив». (Из того же письма.)

И, наконец, последнее из известных писем Булгакова, написанное 21 августа. Кажется, что уж кому как не чиновнику по особым поручениям при московском генерал-губернаторе знать и осознавать правду, но, видимо, магия ростопчинских слов была слишком велика: «Граф сделался в Москве предметом всеобщего обожания. Попечительность его о благе отечества и особенно Москвы не имеет пределов. Посылаю тебе здесь разные его афиши, картинки и бюллетени, по городу ходящие. Мы здесь

очень покойны. Барклай наконец свалился:

Не бойся боле
Барклая де Толли!
Идет Кутузов
Бить французов!

Ты не можешь себе представить, сколько здесь вздорных слухов и как наши дамы пугаются. Это побудило графа напечатать афишу, здесь приложенную»[42]. «Я употребил все средства к успокоению жителей и ободрению общего духа», — будет оправдываться уже позднее Ростопчин.

Действительно, основной своей задачей он считал обеспечение мер по пропаганде и агитации среди населения. Для того чтобы знать о том, какое впечатление производит на москвичей то или иное известие с фронта, он пользовался услугами агентов, толкавшихся среди народа на оживленных площадях, рынках, в кабаках и гостиницах. Каждый день они докладывали ему содержание услышанных разговоров и затем получали задание распространять по Москве новые слухи, способные, по мнению градоначальника, успокоить горожан. Общественное мнение разделилось на два лагеря: одни верили Ростопчину, другие — своему предчувствию.

«Москва день от дня пустела; людность уменьшалась; городской шум утихал, столичные жители или увозили, или уносили на себе свои имущества, чего же не могли взять с собой, прятали в секретные места, закапывали в землю или замуровывали в каменные стены, короче сказать, во все места, где только безопаснее от воровства и огня.

Мать городов — Москва — опустела, сыны ее — жители — бежали кто куда, чтоб только избавиться от неприятельского плена. Да было много таких, которые, по своему упрямому характеру и легкомыслию, не хотели верить, что Москва может быть взята неприятелем; к последней категории принадлежал и мой отец. Эти люди утверждали, что московские чудотворцы не допустят надругаться неверных над святынею Господней! А другие, надеясь на мужество и храбрость войска, толковали: ледащих французов не токмо русские солдаты, как свиных поросят, переколют штыками, но наши крестьяне закидают басурманов шапками. Прочие уверяли, что для истребления неприятельского войска где-то на мамоновской даче строится огромной величины шар с обширной гондолой, в коей поместится целый полк солдате несколькими пушками и артиллеристами. Этот шар, наполненный газом, поднявшись на воздух до

известной высоты, полетит на неприятельскую армию, как молниеносная, грозная туча, и начнет поражать врагов, как градом, пулями и ядрами; сверх того, обливать растопленною смолою»[43].

О шаре мы еще расскажем, а вот от кого москвичи узнали, что «наши крестьяне закидают басурманов шапками»? Нетрудно догадаться от кого — от Федора Васильевича Ростопчина, московского генерал-губернатора. Ему же обязаны и следующей дезинформацией: «Во время ретирады русской армии через Москву те же не верящие говорили: «Наши войска не отступают от неприятеля: но, проходя столицею, ее окружают для защиты; в самом же городе назначена главная квартира, почему по всем обывательским домам расставлены на каждый двор по две и по три подводы с кулями муки, чтоб печь из нее для армии хлебы и сушить сухари». Ну что тут сказать? Иногда хочется поверить даже в то, чего в принципе быть не может. А люди верили.

Чтобы вызвать в народе «удовольствие», Ростопчин поставил себе цель выслать из Москвы чуть ли не всех иностранцев, а также евреев (последние, по его мнению, были опасны тем, что содержали кабаки). Об этом он сообщал императору: «Плуты крестьяне — лучшая в мире полиция. Они хватают все подозрительное и сию минуту приведен ко мне жид, должно быть шпион». А высылка в Нижний Новгород французов была обставлена на редкость театрально. Сорок французов усадили в барку, зачитав им следующий наказ градоначальника: «Войдите в барку и… не превратите ее в барку Харона! В добрый путь!»

Правда, Ростопчин почему-то не выслал из Москвы француженку Мари Роз Обер-Шальме, вражескую лазутчицу, «составлявшую центр всего французского московского населения», по словам Льва Толстого. До тех пор пока увлечение всем французским в Москве Ростопчин не приравнял почти что к измене, пока не сбили вывески на вражеском языке с фасадов домов, Обер-Шальме имела в городе два модных магазина — на Кузнецком Мосту (истинно французской улице по числу магазинов) и в Глинищевском переулке. Когда Наполеон обосновался в Петровском дворце, он затребовал Обер-Шальме к себе, долго беседовал с ней. Как отмечал П. И. Бартенев, «эта обирательница русских барынь заведовала столом Наполеона и не нашла ничего лучше, как устроить кухню в Архангельском соборе. Она последовала с остатками великой армии и погибла с нею».

Не стоит, однако, приуменьшать возможности французской разведки по внедрению своих шпионов в Москве. Шпионов действительно было немало. Очевидец происходящих событий

писал:

«Когда появились неприятельские шпионы в Москве, старавшиеся возбудить жителей к мятежу, рассеивая в народе разные злонамеренные слухи, московский градоначальник граф Растопчин предпринял против их козней строгие меры, с неутомимою бдительностью преследовал незваных гостей, между прочим, объясняя: «Хотя у меня и болел глаз, но теперь смотрю в оба».

Несколько лет жили в Москве два француза: хлебник и повар; хлебник на Тверской содержал булочную, а повар, как говорили тогда, у самого графа Растопчина был кухмистером. По изобличению их в шпионстве, они были приговорены к публичному телесному наказанию. Хлебник был малого роста, худ как скелет, бледен как мертвец, одетый в синий фрак со светлыми пуговицами и в цветных штанах, на ногах у него были пестрые чулки и башмаки с пряжками. Когда его, окруженного конвоем и множеством народа, везли на место казни — на Конную площадь, — он трясся всем телом и, воздевая трепещущие руки к небу, жалостно кричал: «Братушки переяславные! Ни пуду, ни пуду!» Народ, смеясь, говорил: «Что, поганый шмерц, теперь завыл — не буду, вот погоди, как палач кнутом влепит тебе в спину закуску, тогда и узнаешь, что вкуснее: французские ли хлебы или московские калачи!»

Повар был наказан на Болотной площади; широкий в плечах, толстопузый, с огромными рыжими бакенбардами, одет он был щегольски в сюртук из тонкого сукна, в пуховой шляпе и при часах. Он шел на место казни пешком, бодро и беззаботно, как бы предполагая, что никто не осмелится дотронуться до его французской спины. Но когда палач расписал его жирную спину увесистою плетью, тогда франт француз не только встать с земли, но не мог даже шевельнуться ни одним членом, и его должны были, как борова, взвалить на телегу. Народ, издеваясь над ним, со смехом кричал: «Что, мусью? Видно, русский соус кислее французского? Не по вкусу пришелся; набил оскомину!»[44].

Ростопчин не забывал и о борьбе с масонами, окопавшимися на почтамте и в Московском университете. Московского почт-директора Ф. П. Ключарева выслали в Воронеж 10 августа («Почт-директор Ключарев ночью с 11-го на 12-е число взят нами и сослан. Это большой негодяй, и город радуется удалению сего фантазера», письмо А. Булгакова от 13 августа 1812 года). Университет же и вовсе считался градоначальником рассадником масонства, особенно его попечитель П. И. Голенищев-Кутузов, по словам которого, вернувшийся в Москву Ростопчин заявил, что «ежели бы университет и уцелел, то бы он его сжег, ибо это

гнездо якобинцев».

Несмотря на назначение Кутузова, армия Наполеона все ближе продвигалась к Москве, готовящейся к сражению. Здесь создавались огромные запасы продовольствия, обмундирования и фуража (все это потом досталось французам, правда, ненадолго). Новобранцев обучали военному делу. Пополнялись склады с боеприпасами. Развертывались госпитали, самый большой из которых был создан в Головинском дворце.

Помимо активного участия московских ополченцев в боях с французами (необходимо отметить, что почти 20 тысяч москвичей сражались при Бородине), Москва снабжала армию и всем необходимым — провиантом, боеприпасами, подводами, лошадьми. Из афиши от 27 августа 1812 года мы узнаем: «Я посылаю в армию 4000 человек здешних новых солдат, на 250 пушек снаряды, провианта. Православные, будьте спокойны! Кровь наших проливается за спасение отечества. Наша готова; если придет время, то мы подкрепим войска. Бог укрепит силы наши, и злодей положит кости свои в земле Русской».

Ростопчин утверждал, что каждый день в течение почти двух недель августа отправлялось в армию по 600 телег, груженных сухарями, крупой и овсом. К сожалению, не всё, что посылалось в армию, доходило до адресата. Ростопчин не раз жаловался Кутузову на казаков, солдат и мародеров, грабящих обозы с посылаемым к армии имуществом.

Для наведения порядка в городе Ростопчин испросил в столице разрешение отправлять в армию пьяниц и прочих «праздношатающихся» москвичей. А кабаки и питейные дома приказал закрыть.

18 августа Ростопчин в своей афише объявил о продаже оружия населению из арсенала, причем по сниженным ценам: «От главнокомандующего в Москве. — По полученным мною известиям авангард стоит 13 верст перед Вязьмой. Главная квартира — в Вязьме. Неприятель стоит на одном месте. Отрядов от него нет. Корпус генерала Милорадовича весь на походе. Авангард его, из 8000 человек составленный, пошел сегодня из Можайска к Гжати под командою генерал-майора Вадковскаго. Прочий войска сего корпуса идут из Боровска и Вереи. Ополчение Тверское готово, и 13 000 человек с кавалериею под командою генерал-майора Тыртова идут в Клин. Светлейший князь Кутузов прибыл вчера в Вязьму. Граф Витгенштейн занял Полоцк и действует далее; весь тот край очищен от проказы, и французов нет. Многие из жителей желают вооружиться, а оружия тысяч на десять есть в арсенале, которое куплено, и дешево, на Макарьевской ярмарке; всякое утро желающие могут покупать в

арсенале ружья, пистолеты и сабли; цены тут означены; за это мне скажут спасибо, а осердятся одни из ружейна-го ряда; но воля их, Бог их простит!»

Сабля стоила один рубль, ружье или карабин два-три рубля, у купцов же цены на оружие были завышены в десятки раз — сабля стоила 30–40 рублей, пистолеты в пределах 35–50 рублей[45].

Ростопчину впору было задуматься и над эвакуацией казенного имущества. Во второй половине августа он дал указания о подготовке к эвакуации раненых, вывозе оружия и боеприпасов из арсенала (запасы оружия оценивались в 200 тысяч пудов!), отправке казны, архивов Сената, имущества Оружейной палаты, Патриаршей ризницы и др. Это был первый случай в истории Москвы, когда требовалась столь масштабная и оперативная эвакуация.

В то время существовало два способа вывоза имущества — гужевым транспортом и по реке. Главная трудность состояла в том, где взять такое количество подвод с лошадьми. Например, для вывоза казенного имущества и оружия из арсенала требовалось более 26 тысяч подвод. Но подводы использовались и для вывоза раненых, подвоза продовольствия и боеприпасов: так, летом 1812-го армия реквизировала для своих нужд до 52 тысяч подвод. Таким образом, ни лошадей, ни подвод катастрофически не хватало.

Приходилось делать выбор между использованием подвод для вывоза раненых или для эвакуации имущества. Особенно обострилась ситуация после Бородинского сражения, когда Москву накрыла волна прибывающих с фронта раненых. В предшествующие сдаче Москвы дни в город прибыло более 28 тысяч раненых. 30 августа Ростопчин приказал везти раненых сразу в Коломну, а 31 августа он и вовсе распорядился отправлять туда же пешком тех из них, кто мог ходить. Как сообщал сам Ростопчин, «от шестнадцати до семнадцати тысяч были отправлены на четырех тысячах подводах накануне занятия Москвы в Коломну, оттуда они поплыли Окою на больших крытых барках в Рязанскую Губернию, где были учреждены Гошпитали»[46].

Остальные, кто не мог ходить и эвакуироваться, остались в Москве в полном распоряжении французских солдат. По разным оценкам, в Москве осталось от двух (сведения Ростопчина) до тридцати тысяч (оценка Наполеона) раненых. Большая часть их погибла во время пожара.

Неудачной была и попытка вывезти по обмелевшей Москве-реке имущество и боеприпасы, назначенная буквально на последний день — 31 августа. 23 груженые барки сели на мель

близ села Коломенского. Большая часть сопровождающих их чиновников и рабочих разбежалась. В результате непринятия своевременных мер по спасению казенного имущества лишь три барки доплыли до пункта назначения, 13 было сожжено, а семь достались французам. Часть боеприпасов все же удалось посуху вывезти в Нижний Новгород и Муром. То же, что не удалось затопить, Ростопчин распорядился раздать оставшемуся в Москве населению. Но ружей в арсенале оставалось еще много — более тридцати тысяч, а об оставшихся огромных запасах холодного оружия и говорить не приходится.

Несмотря на явные просчеты и дезорганизованность эвакуации, Ростопчин положительно оценил ее ход: «Поспешное отступление армии, приближение неприятеля и множество прибывающих раненых, коими наполнились улицы, произвели ужас. Видя сам, что участь Москвы зависит от сражения, я решился содействовать отъезду малого числа оставшихся жителей. Головой ручаюсь, что Бонапарт найдет Москву столь же опустелой, как Смоленск. Все вывезено: комиссариат, арсенал»[47].

Позднее граф уточнил: «Тысяча шестьсот починенных ружей в Арсенале были отданы Московскому ополчению; что же касается до пушек, то их было девяносто четыре шестифунтового калибра с лафетами и пороховыми ящиками. Они были отправлены в Нижний Новгород до входа неприятеля в Москву, который нашел в Арсенале только шесть разорванных пушек без лафетов и две огромнейшие гаубицы»[48].

Об успехе эвакуации докладывал Александру и Кутузов: «… Все сокровища, Арсенал и почти все имущества, как казенные, так и частные вывезены и ни один житель в ней не остался»[49].

Однако вывезено оказалось далеко не всё, что и стало известно в результате специального расследования: 20 сентября Александр потребовал провести проверку того, как была организована и проведена эвакуация.

В предоставленном императору рапорте одной из причин «потери в Москве артиллерийского имущества» было названо то, что «в последних уже днях августа месяца главнокомандующий в Москве г. генерал от инфантерии граф Растопчин многократными печатными афишками публиковал о совершенной безопасности от неприятеля, из коих в одной от 30 августа изъяснением, что г. главнокомандующий армиями для скорейшего соединения с идущими к нему войсками перешел Можайск и стал на крепком месте, где неприятель не вдруг на него нападет, и что он г. главнокомандующий армиями Москву до последней крови капли защищать будет и готов хоть в улицах драться».

Таким образом, оружие из арсенала должно было еще послужить для сражения за Москву, обещанного Кутузовым, которое так и не состоялось. Согласно рапорту 2 сентября порох, свинец и патроны «по повелению г. главнокомандующего (Ростопчина. — *А. В.)*… по не прибытию из армии к приему их офицера затоплены в Красном пруде…»[50]. Поспешность и запоздалость уничтожения военного имущества объяснялись тем, что приказ об эвакуации поступил лишь вечером 1 сентября, после совета в Филях[51].

Сам же Ростопчин на этом совете, где решена была судьба Москвы, не присутствовал. Кутузов не счел нужным пригласить его.

Отсутствие Ростопчина можно считать кульминацией натянутых взаимоотношений между двумя главнокомандующими — Москвы и армии. Читая их переписку в августе 1812 года, приходишь к выводу, что Кутузов Ростопчину не доверял.

Содержание посылаемых Кутузовым Ростопчину писем можно обозначить одной фразой: «С потерей Москвы соединена потеря России» — так, в частности, 17 августа писал он из Гжатска. Даже 26 августа, после Бородинского сражения, фельдмаршал продолжал уверять, что сражение будет продолжено, для чего требовал от Ростопчина прислать пополнение. Дело в том, что Ростопчин обещал выставить на защиту Москвы 80 тысяч ополченцев, но таких резервов в Москве и быть не могло. Это обещание Ростопчину дорого обошлось и до сих пор является причиной одного из главных обвинений в его адрес.

Вместо ополчения Кутузов получал от Ростопчина письма, где тот пытался добиться четких указаний — начинать ли эвакуацию: «Извольте мне сказать, твердое ли вы имеете намерение удержать ход неприятеля на Москву и защищать град сей? Посему я приму все меры: или, вооружа все, драться до последней минуты, или, когда вы займетесь спасением армии, я займусь спасением жителей, и со всем, что есть военного, направлюсь к вам на соединение. Ваш ответ решит меня. А по смыслу его действовать буду с вами перед Москвой или один в Москве» (из письма от 19 августа). Кутузов вновь успокаивал: «Ваши мысли о сохранении Москвы здравы и необходимо представляются»[52].

Вряд ли в то время нашелся бы в Российском государстве генерал, придерживающийся другого мнения. Но ведь человек предполагает, а Бог располагает. Кутузов еще 11 августа, следуя из Петербурга в расположение армии, произнес пророческую фразу: «Ключ от Москвы взят!» — такова была его реакция на взятие французами Смоленска. Кому как не «старому лису Севера» (так назвал его Наполеон) было знать, что ждет Москву в будущем. Но для того чтобы догадаться, что Москву может постигнуть участь Смоленска, совсем не надо было обладать стратегическим умом Кутузова. Очень многие москвичи, имевшие что вывозить, а главное на чем, именно после сдачи Смоленска стали выезжать из Москвы. Те же, кто еще не уехал, пытались сохранять видимость спокойствия и светской жизни. Так, 30 сентября в Благородном собрании был дан бал-маскарад, народу, правда, наскребли немного. Наверное, все остальные пошли смотреть оказавшийся последним спектакль «Наталья, боярская дочь», что показывали в театре на Арбатской площади.

Последствия Бородинского сражения москвичи увидели уже в последних числах августа. С запада в Москву стали вливаться бесконечные караваны с ранеными. Но уверенность Ростопчина в том, что Москва сдана не будет, не покинула его и после разговора с Кутузовым 30 августа. Со слов ординарца Кутузова, князя А. Б. Голицына, мы узнаем, что на этой встрече «решено было умереть, но драться под стенами ее (Москвы. — *А. В.)*. Резерв должен был состоять из дружины Московской с крестами и хоругвями. Растопчин уехал с восхищением и в восторге своем, как не был умен, но не разобрал, что в этих уверениях и распоряжениях Кутузова был потаенный смысл. Кутузову нельзя было обнаружить прежде времени под стенами Москвы, что он ее оставит, хотя он намекал в разговоре Ростопчину». Таким образом, Кутузов не раскрывал перед Ростопчиным всех карт.

Намеки Кутузова, о которых пишет его ординарец, возможно и дошли до Ростопчина. Не зря, сочиняя в этот день свою

очередную афишку с призывом к москвичам взять в руки все что есть и собраться на Трех горах для сражения с неприятелем, Ростопчин выдавил из себя: «У нас на Трех горах ничего не будет»[53].

Но москвичи Ростопчину верили, как отцу родному, да и как было не поверить, читая его пламенные призывы от 30–31 августа: «Братцы! Сила наша многочисленна и готова положить живот, защищая отечество, не пустить злодея в Москву. Но должно пособить, и нам свое дело сделать. Грех тяжкий своих выдавать. Москва наша мать. Она вас поила, кормила и богатила. Я вас призываю именем Божией Матери на защиту храмов Господних, Москвы, земли Русской. Вооружитесь, кто чем может, и конные, и пешие; возьмите только на три дни хлеба; идите со крестом; возьмите хоругви из церквей и с сим знамением собирайтесь тотчас на Трех Горах; я буду с вами, и вместе истребим злодея. Слава в вышних, кто не отстанет! Вечная память, кто мертвый ляжет! Горе на страшном суде, кто отговариваться станет!

…Я завтра рано еду к светлейшему князю, чтобы с ним переговорить, действовать и помогать войскам истреблять злодеев. Станем и мы из них дух искоренять и этих гостей к черту отправлять. Я приеду назад к обеду, и примемся за дело: отделаем, доделаем и злодеев отделаем.

…Вооружитесь, кто чем может, и конные, и пешие; возьмите только на три дни хлеба; идите с крестом; возьмите хоругви из церквей и сим знамением собирайтесь тотчас на Трех Горах; я буду с вами, и вместе истребим злодея»[54].

Генерал-губернатор своими дружескими посланиями так приучил простой народ верить ему, что действительно 31 августа народ собрался, но, не дождавшись своего градоначальника, разошелся: «Народ был в числе нескольких десятков тысяч, так что трудно было, как говорится, яблоку упасть, на пространстве 4 или 5 верст квадратных, кои с восхождением солнца до захождения не расходились в ожидании графа Растопчина, как он сам обещал предводительствовать ими; но полководец не явился, и все, с горестным унынием, разошлись по домам»[55]. Уныние, однако, вскоре переросло в другое чувство — озлобление. Люди поняли, что их обманули, что Москву никто защищать не собирается. А неявку градоначальника, весь август уверявшего их, что Москву не сдадут, многие расценили как банальную трусость. Откуда им было знать, что Ростопчин, созвав народ на битву, оказывается, надеялся, что «это вразумит наших крестьян, что им делать, когда неприятель займет Москву».

Крестьяне так и не поняли, что делать. Они занялись совсем

другим. В городе начались погромы. Мародеры, дезертиры и колодники, выбравшиеся из острогов, стали взламывать кабаки и лавки, грабить опустевшие дома, нападать на благонамеренных москвичей. Вино лилось рекой по мостовым. Например, оставшийся в Москве начальник Воспитательного дома И. Тутолмин за голову хватался — все его рабочие и караульщики перепились, таская из разбитых кабаков вино ведрами. Полиция ушла из города. В Москве воцарился хаос.

А теперь прочитаем описание этих дней Ростопчиным: «Я имел в виду два предмета весьма важные, от которых, полагал, зависит истребление Французской армии, а именно: чтоб сохранить спокойствие в Москве и вывести из оной жителей. Я успел свыше моих надежд. Тишина продолжалась даже до самой минуты вшествия неприятеля, и из двух сот сорока тысяч жителей осталось только от двенадцати до пятнадцати тысяч человек, которые были или мещане, или иностранцы, или люди из простого звания народа, но ни один значительный человек, ни из Дворянства, ни из Духовенства или купечества. Сенат, Судебное Место, все Чиновники оставили город несколькими днями прежде его занятия неприятелем. Я хотел лишить Наполеона всей возможности составить сношение Москвы со внутренностию Империи и употребить в свою пользу влияние, которое Француз приобрел себе в Европе своею литературою, своими модами, своею кухнею и своим языком. Сими средствами неприятели могли бы сблизиться с Русскими, получить доверенность, а, наконец, и сами услуги; но посреди людей, оставшихся в Москве, обольщение было без всякого действия, как посреди глухих и немых.

Нарушенное спокойствие в Москве могло бы произвести весьма дурные впечатления на дух Русских, которые обращали тогда на нее свои взоры и ей подражали и следовали. Из нее-то распространился этот пламенный патриотизм, эта потребность пожертвований, этот воинский жар и это желание мщения против врагов, дерзнувших проникнуть столь далеко. По мере, как известие о занятии Москвы делалось известным в провинциях, народ приходил в ярость; и действительно, подобное происшествие должно было казаться весьма чрезвычайным такой нации, на землю которой не ступал неприятель более целого века, считая от вторжения Карла XII, Короля Шведского. Наполеон имел равную с ним участь: оба потеряли свою армию, оба были беглецы, один у Турков, другой у Французов.

…Ни один человек не был оскорблен, и кабаки, во время мнимого беспорядка при вшествии Наполеона в Москву, не могли быть разграблены; ибо вследствие моего приказания не

находилось в них ни одной капли вина»[56].

Беспорядок и панику, охватившие Москву, не назовешь спокойствием, как называет это Ростопчин. Что же до оставшихся жителей, то остались те, кто физически не смог покинуть Москву своими силами. Например, настоятельница Страстного монастыря в один из последних дней августа объявила монахиням, чтобы все, кто может, уходили из города, как говорится, на своих двоих. А уж монастырскую ризницу и вовсе не успели вывезти. Французы долго искали ее, но так и не нашли.

Опровергнуть слова Ростопчина о «мнимом беспорядке» могут свидетельства очевидца тех событий — москвича, оставшегося в городе: «За сутки перед вступлением в Москву неприятеля город казался необитаемым: остававшиеся жители как бы предчувствовали, что суждено скоро совершиться чему-то ужасному; они, одержимые страхом, запершись в домах, только украдкой выглядывали на улицы; но нигде не было видно ни одной души, исключая подозрительных лиц, с полуобритыми головами, выпущенных в тот же день из острога. Эти колодники, обрадовавшись свободе, на просторе разбивали кабаки, погребки, трактиры и другие подобные заведения. Вечером острожные любители Бахуса, от скопившихся в их головах винных паров придя в пьяное безумие, вооружась ножами, топорами, кистенями, дубинами и другими орудиями, и со зверским буйством бегая по улицам, во все горло кричали: «Бей, коли, режь, руби поганых французов и не давай пардону проклятым бусурманам!» Эти неистовые крики и производимый ими шум продолжались во всю ночь. К умножению страха таившихся в домах жителей, дворные собаки, встревоженные необыкновенным ночным гамом, лаяли, выли, визжали и вторили пьяным безумцам. Эта страшная ночь была предвестницей тех невыразимых ужасов, которые должны были совершиться на другой день»[57].

Но вернемся к событиям на Трех горах. Как написал Лев Толстой, «фабричные, дворовые и мужики огромной толпой, в которую заметались чиновники, семинаристы, дворяне, в этот день рано утром вышли на Три Горы. Постояв там и не дождавшись Растопчина и убедившись в том, что Москва будет сдана, эта толпа рассыпалась по Москве, по питейным домам и трактирам».

Последний день, 2 сентября, проведенный Ростопчиным в Москве, перед ее сдачей французской армии, ознаменован событием, наложившим свой трагический отпечаток на всю последующую биографию графа. Утром он находился в своем доме на Большой Лубянке, пределами которого, похоже, и

ограничивалась в тот день его власть. У дома собралась огромная, возбужденная алкоголем и вседозволенностью толпа из представителей самых низших слоев общества. Услышав все громче раздававшиеся крики толпы, чтобы Ростопчин немедленно вел их на Три горы (а некоторые и вовсе кричали: «Федька — предатель, мы до него доберемся!»), он вышел на крыльцо и заявил: «Подождите, братцы! Мне надобно еще управиться с изменником!»

Тотчас Ростопчин приказал привести арестованных купеческого сына Михаила Верещагина и учителя фехтования француза Мутона: «Обратившись к первому из них, я стал укорять его за преступление, тем более гнусное, что он один из всего московского населения захотел предать свое отечество; я объявил ему, что он приговорен Сенатом к смертной казни и должен понести ее, и приказал двум унтер-офицерам моего конвоя рубить его саблями. Он упал, не произнеся ни одного слова… Обратившись к Мутону, который, ожидая той же участи, читал молитвы, я сказал ему: «Дарую вам жизнь; ступайте к своим и скажите им, что негодяй, которого я только что наказал, был единственным русским, изменившим своему отечеству». В рассказах очевидцев есть и другие свидетельства, показывающие, что первый удар саблей нанес сам Ростопчин.

Ростопчин не имел полномочий убивать Верещагина, так как того, согласно приговору магистрата от 17 июля 1812 года, следовало подвергнуть наказанию кнутом и выслать затем в Нерчинск. Верещагин по какой-то причине оставался в московской тюрьме и не был эвакуирован вместе с другими заключенными. Не исключено, что Ростопчин заранее рассчитывал использовать его в самый последний момент — отдать Верещагина на растерзание толпе, пожертвовав им ради своего спасения. В самом деле, как Верещагин и Мутон оказались утром 2 сентября в доме Ростопчина? Значит, он заранее приказал их туда доставить.

Вероятно, что, когда 3 июля в очередной афише москвичи прочитали о разоблачении Верещагина, никто не предполагал, что дело раздуется до таких размеров:

«Московский военный губернатор, граф Ростопчин, сим извещает, что в Москве показалась дерзкая бумага, где между прочим вздором сказано, что французский император Наполеон обещается через шесть месяцев быть в обеих российских столицах. В 14 часов полиция отыскала и сочинителя, и от кого вышла бумага. Он есть сын московского второй гильдии купца Верещагина, воспитанный иностранным и развращенный трактирною беседою. Граф Ростопчин признает нужным

обнародовать о сем, полагая возможным, что списки с сего мерзкаго сочинения могли дойти до сведения и легковерных, и наклонных верить невозможному. Верещагин же сочинитель и губернский секретарь Мешков переписчик, по признанию их, преданы суду и получат должное наказание за их преступление». Да и сам граф вряд ли мог предполагать далекоидущие перспективы этого дела.

Удивляет и другое — русского Ростопчин приказывает убить, а француза отпускает с миром, хотя он также был приговорен к ссылке. Где же логика? Похоже, она известна лишь самому Ростопчину, действия которого были осуждены государем, которому позднее лично пришлось извиняться перед отцом Верещагина.

Воспользовавшись тем, что внимание толпы переключилось на несчастного Верещагина (его привязали к хвосту лошади и потащили по мостовой), Ростопчин быстро вышел на задний двор, сел в дрожки и был таков…

Вот как он сам описывает свой отъезд: «Я выехал не торопясь верхом чрез Серпуховскую заставу, и не прежде оставил городской вал, как уведомили меня, что Французский авангард вошел уже в город…»[58]

В это время французские солдаты уже бодро вышагивали по Арбату, а московский градоначальник вмиг превратился в одного из тысяч москвичей, в панике и беспорядке покидавших город, устремляясь к дороге на Рязань. «Конные, пешие валили кругом, гнали коров, овец; собаки в великом множестве следовали за всеобщим побегом, и печальный их вой, чуя горе, сливался с мычанием, блеянием, ржанием», — вспоминал Ф. Ф. Вигель. Тут-то посреди людского потока и встретились вновь два главнокомандующих, призванных защищать Москву. Но разговора не получилось. Пожелав «доброго дня», что выглядело как издевательство, Кутузов сказал Ростопчину: «Могу вас уверить, что я не удалюсь от Москвы, не дав сражения». Ростопчин ничего не ответил. А что он, собственно, мог на это сказать?

Лев Толстой так описывает их разговор: «Когда граф Ростопчин на Яузском мосту подскакал к Кутузову с личными упреками о том, кто виноват в погибели Москвы, и сказал: «Как же вы обещали не оставлять Москвы, не дав сраженья?» — Кутузов отвечал: «Я и не оставлю Москвы без сражения».

Как только Ростопчин проехал заставу, раздались три пушечных выстрела. Это в Кремле французы разгоняли горстку храбрецов, засевших в Арсенале и пытавшихся отстреливаться. Этот своеобразный артиллерийский салют прозвучал уже не в честь, а в память о Москве. Ростопчин расценил эти выстрелы как

окончание своего градоначальства над Москвой: «Долг свой я исполнил; совесть моя безмолвствовала, так как мне не в чем было укорить себя, и ничто не тяготило моего сердца; но я был подавлен горестью и вынужден завидовать русским, погибшим на полях Бородина. Они умерли, защищая свое отечество, с оружием в руках и не были свидетелями торжества Наполеона».

А что же москвичи? «Через несколько времени мы увидали ехавших по улице на рыжих лошадях двух вооруженных улан с короткими пиками и с красными на них развевавшимися значками, в высоких четвероугольных касках, в синих мундирах с красными, шерстяными эполетами: они, озираясь на все стороны, о чем-то разговаривали. Мы, сообразив, что уланы были неприятельские, тотчас присели за каменную ограду, не двигаясь на месте и не говоря ни слова между собою; в таком положении находились мы до тех пор, пока на улице не услыхали крик: «Русские! Куда вы попрятались, выходите, французы в Москве! Берите оружие и марш на врагов!» Такое воззвание заставило меня приподняться и взглянуть на прокламатора, и к удивлению своему, я увидал среди улицы стоявшего с ружьем в руках русского офицера, в мундирном сюртуке нараспашку, с голой шеей и с непокрытой головой.

Не проспавшийся ратоборец, храбруя около калитки нашего дома, не переставая орал свою прокламацию; я, наблюдая из-за решетки, заметил с другой стороны улицы ехавшего верхом улана: лошадь его шла шагом, всадник, устремив глаза на безумца, держал саблю в правой руке, а в левой наперевес пику. Полупьяный герой, увидя неприятеля, закричал: «Трусы! Подлецы! Двое от одного навострили лыжи!» — и потом, грозя кулаком, продолжал горланить: «Шмерц поганый, попробуй! Подъезжай поближе, так я тебе морду-то расквашу!» Улан молча, шагом приближался к нему. Храбрец-русак, видя в недальнем расстоянии от себя неприятеля, тотчас приложил ружье к плечу и начал целиться, как бы желая выстрелить: между тем ружье было с деревянным кремнем. Улан остановил лошадь и начал прятаться за ее шею, то уклоняясь на правую, то на левую сторону, смотря по направлению дула ружья. Производимая с обеих сторон эволюция продолжалась довольно времени; но, вероятно, улану надоело кривляться.

Он, пришпорив лошадь, закричал: en avant! — и поскакал на целившегося в него: наш горе-герой бросил ружье и мигом юркнул в отворенную калитку на двор. При сем должно заметить, что над низкой калиткой была толстая, бревенчатая перекладина — уланская лошадь, расскакавшись, вскочила в калитку, но всадник, ударившись животом о перекладину, полетел с нее.

Улан после сильного ушиба с трудом поднялся на ноги и, скорчившись, ворча что-то сквозь зубы, взял за повод лошадь и, едва передвигая ноги, пошел с места поединка, часто оглядываясь назад, как бы боясь преследования пьяного ратоборца.

Смеркалось. Темный покров ночи распространился над плененной Москвой: наступила ничем не нарушаемая тишина. Победители и побежденные, опасаясь возмутить общее спокойствие, находились в тревожном положении: первые, овладев столицею, в радостном упоении мечтали об ожидавшей их славе и наградах за геройские подвиги, вторые с ужасом, в отчаянии страшились будущих бедствий»[59].

Какой увидели Москву французы в первых числах сентября 1812-го? Открывшаяся перед ними фантастическая картина их поразила. Дадим слово самим участникам наполеоновского похода на Россию: «Мы вдруг увидели тысячи колоколен с золотыми куполообразными главами. Погода была великолепная, все это блестело и горело в солнечных лучах и казалось бесчисленными светящимися шарами» *(месье Лабом):* «Достаточно было одного солнечного луча, чтобы этот великолепный город засверкал самыми разнообразными красками. При виде Москвы путешественник останавливался восхищенный. Этот город напоминал ему чудесные описания в рассказах восточных поэтов» *(граф де Сегюр)*[60].

Такой оставили Москву русские войска во главе с Кутузовым, такой оставил ее Ростопчин. Впрочем, Москва без начальника не осталась. У Первопрестольной вскоре появились новый губернатор, назначенный Наполеоном маршал Мортье, и главный интендант Жан Батист Бартелеми де Лесепс. Он хорошо знал Россию, так как до начала войны десять лет жил в Петербурге в качестве дипломата. Не остались москвичи и без афишек, к которым так привыкли при Ростопчине, — первое наполеоновское обращение к горожанам появилось уже 2 сентября. В нем москвичей призывали «ничего не страшась, объявлять, где хранится провиант и фураж».

Интендант в своем «Провозглашении» к горожанам (на французском и русском языках) предложил им без страха вернуться в Москву, а крестьянам — в свои избы. Половина текста — это рассказ о торговле, разрешенной в Москве, и предпринятых французскими властями мерах по защите обозов: «Жители города и деревень, и вы, работники и мастеровые, какой бы вы нации ни были, вас взывается исполнять отеческие намерения Его Величества Императора и Короля и способствовать с ним к общему благополучию. Несите к его стопам почтение и доверие и не медлите соединиться с нами»[61].

Мысль о том, что Москва может быть сожжена, допускали многие. Но нигде в официальных документах, исходящих будь то от Ростопчина или Кутузова, не найдем мы прямых указаний поджечь город. Однако это подразумевалось. Например, 1 сентября командующий арьергардом Милорадович получил от Кутузова приказ об оставлении Москвы, а также письмо, которое необходимо было доставить начальнику штаба Великой армии маршалу Бертье. Этим письмом, согласно действовавшим тогда обычаям, все оставшиеся в городе раненые препоручались под покровительство французов. Уже на следующий день Милорадович вызвал к себе корнета Федора Акинфова и велел ему ехать с письмом к передовым позициям французов, чтобы не только передать это письмо, но и на словах сказать от имени Милорадовича следующее: «Мы сдаем Москву, и я уговорил жителей не зажигать оной с тем условием, что французские войска не войдут в нее, доколе не пройдет через нее…мой арьергард». Прошло не так много времени, и гонец вернулся обратно. Он рассказал, что французы и даже сам Наполеон на предложение Милорадовича согласны, лишь бы он не поджег Москву.

Сожжение Москвы казалось, видимо, вполне логичным после сожжения Смоленска. Недаром, после оставления русской армией Смоленска, 12 августа Ростопчин писал Барклаю: «Когда бы Вы отступили к Вязьме, тогда я возьмусь за отправление всех государственных вещей и дам на волю убираться, а народ здешний… следуя русскому правилу (подчеркнуто мной. — *А. В.)* — не доставайся злодею, — обратит город в пепел, и Наполеон получит вместо добычи место, где была столица…Он найдет пепел и золу». В подтверждение своих слов Ростопчин непосредственно перед оставлением Москвы приказал вывезти из города все средства пожаротушения, чтобы бороться с огнем было нечем. По его приказу отправили из города 2100 человек пожарной команды и 96 пожарных труб. А то, что не успели вывезти, — велел испортить. Такой же приказ отдал и Кутузов.

В своих местами слишком подробных воспоминаниях Ростопчин почему-то умалчивает наиболее интересующие нас факты об организации поджога Москвы. И у него есть на то основания: зачем писать о том, чему нет материального, то есть бумажного подтверждения. Распоряжения о поджогах в те безнадежные дни давались им на словах. Никаких письменных предписаний «не могло и быть… потому, что мы всегда получали словесные приказания… и равномерно доносили словесно», рассказывал квартальный надзиратель И. Мережковский, посылавшийся Ростопчиным на разведку в осажденный город[62].

Ценнейшим источником для потомков является «Записка» бывшего следственного пристава Прокофия Вороненко, написанная им в 1836 году. Этот чиновник привлекался Ростопчиным к организации московских пожаров 2 сентября 1812 года. Вот что он сообщает: «2-го сентября в 5 час. пополуночи он же (Ростопчин. — *А. В.)* поручил мне отправиться на Винный и Мытный дворы, в Комиссариат и на не успевшие к выходу казенные и партикулярные барки у Красного холма и Симонова монастыря, и в случае внезапного наступления неприятельских войск стараться истреблять все огнем, что мною и исполнено было в разных местах…до 10 часов вечера».

Огонь ненависти к французам бушевал в душе градоначальника Ростопчина и, разгоревшись, перекинулся на всю несчастную Москву.

Москву запалили уже в тот же день, как французы вошли в нее. Не успели французские генералы занять лучшие дома на Тверской улице и приступить к переименованию городских площадей, как над многими районами появились клубы дыма. Прежде всего загорелись склады с провиантом — на Никольской, Варварке, около Каменного и Яузского мостов, в Китай-городе, на Покровке и Солянке, в Лефортове…

Можно долго рассказывать о том, что творилось в Москве в отсутствие ее обожаемого генерал-губернатора, но лучше узнать об этом из первых рук, причем в прямом смысле этого выражения. Потому как руки эти были у самого литературно одаренного солдата наполеоновской армии, будущего писателя Стендаля, занимавшего довольно видную должность в военном интендантстве. Правда, Стендалем он стал позже, а тогда его звали Анри Бейль.

4 сентября 1812 года он зафиксировал в своем дневнике: «Я оставил своего генерала в Апраксинском дворце (дворец находился в то время на улице Знаменке. — *А. В.)*. Выходя из дому, мы заметили, что кроме пожара в Китай-Городе, продолжавшегося уже несколько часов, огонь вспыхнул и по близости от нас. Мы направились туда. Пламя было очень сильно. У меня разболелись зубы в этой экскурсии. В порыве добродушия мы арестовали солдата, ударившего два раза штыком какого-то человека, который напился пивом. Я чуть не обнажил шпаги и не заколол этого негодяя. Буржуа отвел его к губернатору, и тот отпустил его на волю.

Мы ушли оттуда около часу, разразившись изрядным количеством общих мест против пожаров, что, насколько мы заметили, не произвело особенного впечатления, и, по возвращении в дом Апраксина, сделали пробу пожарного насоса.

Я лег спать, мучась зубною болью. Некоторые из моих товарищей, кажется, по добродушию, послушались тревоги и опять бегали на пожарище в два часа и в пять. Я же проснулся в семь часов, велел уложить вещи в коляску и поместить ее в конце ряда экипажей г-на Дарю. Экипажи эти направились на бульвар, против клуба…

Пожар быстро приближался к дому, оставленному нами. Наши экипажи простояли на бульваре пять или шесть часов. Наскучив бездействием, я пошел поближе к огню и час или два провел у Жуанвиля. Я любовался негой, какая веяла от убранства его дома. Мы выпили там с Билле и Бюшоном три бутылки вина, что и вернуло нас к жизни. Я прочел там несколько строк Английскаго перевода «Paul et Virginie», и это, среди господствующей повальной грубости, напомнило мне на минуту об умственной жизни.

Я пошел с Луи смотреть на пожар. На наших глазах некий Савуа, конноартилерист, пьяный, бил плашмя саблею гвардейского офицера и осыпал его бранью. Он был неправ, и дело кончилось извинениями. Один из его товарищей по грабежу отправился в улицу объятую пламенем, где вероятно и погиб. Около трех часов я вернулся к ряду экипажей и к скучным своим товарищам. В соседних деревянных домах открыли склады муки и овса. Я велел своим людям взять несколько в запас. Они стали суетиться, делая вид, что берут много, и взяли очень мало. Так действуют они в армии везде и всегда, и это раздражает. Даешь себе слово не обращать на них внимания, но они первые же начинают ныть и жаловаться; невольно волнуешься и отравляешь себе жизнь.

В четвертом часу мы с Виллье отправились в дом графа Петра Салтыкова. Он показался нам подходящим для его превосходительства. Мы пошли в Кремль, чтоб сообщить ему об этом.

Генерал Киргенер сказал при мне: «Если бы мне дали четыре тысячи человек, в шесть часов я берусь утушить огонь». Такой отзыв удивил меня. (В успехе я сомневаюсь. Ростопчин постоянно устраивает новые поджоги; остановится пожар на правой стороне — увидите его на левой в двадцати местах.)

Из Кремля явились г. Дарю и милый Марсиаль Дарю. Мы повели их в дом Салтыкова, который осмотрен был сверху до низу. Дом Салтыкова Дарю нашел неподходящим, и ему предложили осмотреть другие дома по направлению к клубу (тогда клуб находился на Страстном бульваре, где долгое время затем была Екатерининская больница. — *А. В.)*. Клуб убран во Французском вкусе, вид у него величественный и закоптелый. После клуба мы смотрели соседний дом, обширный и роскошный;

наконец, хорошенький белый квадратный дом, который и решили занять.

Мы страшно устали, я более еще чем другие. Начиная с Смоленска, я чувствую, что силы оставляют меня, а сегодня на меня нашло ребячество суетиться по поводу этих поисков дома для квартиры и отнестись к ним с интересом. С интересом — это, может быть, слишком сильно сказано; но что суеты было много — это несомненно.

Мы располагаемся наконец в этом доме, в котором, как видно, жил человек богатый и любящий искусства. Расположение дома удобно, и он полон статуэтками и картинами; нашлись там и прекрасныя книги, именно — Бюфон, Вольтер, котораго встречаешь здесь везде, и «Галерея Пале-Ройяля».

Обнаружившаяся сильная дизентерия заставляла опасаться, будет ли у нас довольно вина. Нам сообщили превосходную новость, что его можно добыть в погребе прекрасного клуба, о котором я говорил. Я убедил старика Виллье сделать эту экскурсию. Мы прошли туда, миновав роскошные конюшни и сад, который можно бы назвать прекрасным, если б деревья этой страны не производили на меня неотразимого впечатления бедной растительности.

Мы послали в погреб слуг. Они выслали нам оттуда много плохого белого вина, узорчатые белые скатерти и такие же салфетки, но очень подержанные. Мы заграбили их на простыни.

Некий юноша, явившийся от главного интенданта, чтоб пограбить подобно нам, вздумал объявлять, что он дарит нам все то, что мы брали. Он говорил, что берет этот дом для главного интенданта, и стал делать наставления. Я призвал его скоро к здравому смыслу и порядку.

Мой слуга был совершенно пьян. Он натащил в коляску скатертей, вина, скрипку, которую заграбил для себя, и много других вещей. С двумя-тремя товарищами мы выпили вина.

Слуги убирали дом; пожар был далеко от нас и окутывал весь воздух на далекое расстояние и большую высоту дымом какого-то медного цвета. Мы устроились кое-как и думали, наконец, передохнуть, как вдруг Дарю, воротясь, объявил нам, что надо двигаться в путь. Я храбро принял эту новость; но все же у меня подсеклись ноги и руки, когда я услышал о том.

Моя коляска была набита. Я поместил еще там бедного и скучного Де-В., которого взял из жалости. Оставляя дом, я похитил томик Вольтера, тот что носит название «Faceties».

Тронулись в путь только в семь часов и встретили г. Дарю взбешенного. Мы двигались прямо на пожар, огибая часть бульвара. Мало-помалу придвинулись мы к дыму. Становилось

трудно дышать. Наконец, мы проникли в среду домов, объятых пламенем. Все наши предприятия потому и опасны, что у нас полный недостаток порядка и благоразумия. На этот раз очень значительная колонна обоза углублялась в средину огня, имея целью уйти от него. Такое движение имело бы смысл только тогда, если бы один определенный участок города был окружен кольцом огня. Совсем не так стоит дело теперь. Пожар был только в одной стороне города, надо было выйти из нее; но не было никакой надобности пробираться по пожарищу; надо было обойти его.

Невозможность двигаться дальше остановила нас на месте. Приказано было обойти полукругом. Задумавшись о великом зрелище, которого я был свидетелем, я забыл на минуту, что велел своей коляске обогнуть полукруг прежде других. Я изнемогал от усталости и шел пешком, потому что коляска моя была полна вещами, награбленными слугами, и злополучный В. торчал также в ней. Я думал, что она погибла в огне. Франсуа проскакал в ней галопом впереди других экипажей. Коляске не угрожала опасность: но слуги мои, как и все остальные, были пьяны и способны были заснуть среди горящей улицы.

Возвращаясь, мы встретили на бульваре генерала Киргенера, которым в тот день я был очень доволен. Он ободрил нас, то есть призвал к здравому смыслу, и показал нам, что к выходу есть три или четыре пути.

По одному из них мы двигались в одиннадцать часов; мы прорвали линию обоза короля Неаполитанскаго, споря с его людьми. Я заметил тогда, что мы ехали по Тверской. Мы вышли из города, освещенного самым великолепным в мире пожаром, образовавшим необъятную пирамиду, основание которой, как в молитвах верных, было на земли, а вершина в небесах. Луна показывалась на горизонте, полном пламени и дыму. Это было величественное зрелище; но чтобы оценить его, надо было или быть одному, или быть окруженным умными людьми. Впечатления похода в Россию испорчены мне тем, что я совершал его с людьми, способными опошлить и уменьшить Колизей и море Неаполитанского залива.

Мы шли по превосходной дороге ко дворцу, называемому Петровский, где остановился на жительство Император. Бац! Посреди пути я вижу из моей коляски (в которой дали мне маленькое местечко из милости), как коляска г. Дарю наклоняется на бок и, наконец, опрокидывается в ров. Ширина дороги была всего 80 футов. Крики негодования и брань… Поднять коляску было очень трудно.

Наконец, прибываем мы на бивак, расположенный как раз

против города. Мы ясно видим громадную пирамиду, которую образовали вывезенные из Москвы мебели и фортепьяно (они могли доставить нам столько удовольствия, не будь этой мании поджогов). Этот Растопчин или негодяй, или Римлянин. Любопытно было бы знать, как будут смотреть на его поступки. Сегодня на одном из дворцов Растопчина нашли афишу; он говорит в ней, что в этом доме движимости на миллион и пр., но что он сожжет его, чтоб он не достался в руки разбойникам. Превосходный дворец его в Москве до сих пор однако не сожжен.

Прибыв на бивак, мы поужинали почти сырою рыбою, винными ягодами и вином.

Таков был конец этого трудного дня, в который мы были в непрерывной тревоге с семи часов утра до одиннадцати вечера… Сохрани эту болтовню; надо мне из этих пошлых терзаний извлечь хоть ту пользу, что я буду знать, как все это было. Мне по-прежнему несносны товарищи мои по походу. Прощай, пиши мне и будь весел: жизнь коротка…»[63] Пусть не упрекнет нас читатель за столь обширную цитату, но разве хоть одно предложение из написанных Стендалем здесь лишнее? Ведь эти записи — все то немногое, что удалось будущему писателю увезти из России. Даже томик Вольтера потерялся при бегстве французов из России. Читая Стендаля, можно прийти к следующим выводам: грабить в Москве было что, но всё вывезти французам было не под силу; уже первые дни пребывания неприятеля в Москве деморализовали его; поджоги стали для французов неожиданностью, а потому и ненавистен был Ростопчин.

Мы еще вспомним Стендаля, когда будем читать оправдательную книгу Ростопчина.

А теперь дадим слово самому Наполеону, бесполезно прождавшему ключи от Москвы на Поклонной горе и въехавшему в Кремль лишь 3 сентября: «Сначала пожар казался неопасным, и мы думали, что он возник от солдатских огней, разведенных слишком близко к деревянным домам. На следующий день огонь увеличился, но еще не вызвал серьезной тревоги. Я выехал верхом и сам распоряжался его тушением. На следующее утро (3 сентября. — *А. В.)* поднялся сильный ветер, и пожар распространился с огромной быстротой. Сотни бродяг, нанятые для этой цели, рассеялись по разным частям города и спрятанными под полами головешками поджигали дома, стоявшие на ветру. Это обстоятельство делало напрасными все старания потушить огонь… Оказалось, что большинство пожарных труб испорчено. Их было около тысячи, мы нашли среди них, кажется, только одну пригодную. Кроме того, бродяги,

нанятые Ростопчиным, бегали повсюду, распространяя огонь головешками, а сильный ветер помогал им»[64].

На Ростопчина Наполеон был до такой степени рассержен, что даже пожаловался на него своему российскому коллеге — Александру I. Вообще, во многих мемуарах участников похода на Москву находим мы фамилию Ростопчина. Его в те дни в Москве не было, но он незримо присутствовал на ее улицах. Фамилия Ростопчина будто стала нарицательной. Продолжим, однако, захватывающий рассказ Наполеона, надиктованный им своему врачу на острове Святой Елены: «Я велел расстрелять около двухсот поджигателей. Я оставался в Москве, пока пламя не окружило меня. Огонь распространялся и скоро дошел до китайских и индийских магазинов, потом до складов масла и спирта… Тогда я уехал в загородный дворец императора Александра (Петровский путевой дворец. — *А. В.),* и вы, может быть, представите себе силу огня, если я вам скажу, что трудно было прикладывать руку к нагретым стенам или окнам дворца со стороны Москвы. Это было огромное море, небо и тучи казались пылающими, горы красного крутящегося пламени, как огромные морские волны, вдруг вскидывались, подымались к пылающему небу и падали затем в огненный океан. О! Это было величественнейшее и самое устрашающее зрелище, когда либо виденное человечеством!!!»

Итак, действующей силой пожара стали поджигатели Ростопчина и ураганной силы ветер. Поджог Москвы осуществлялся системно. И запалили город не бродяги, как их называет французский император. Бродяги вряд ли способны были на столь организованную, одновременную и слаженную работу. Поджигали Москву дворяне, агенты полиции, ремесленники, священники, переодетые в простолюдинов, нацепившие на себя парики и бороды, веером рассеявшиеся по Москве. Одни распространяли огонь факелами и пиками, вымазанными смолой, другие закладывали в печках оставленных домов гранаты, взрывавшиеся, когда французы пытались развести в них огонь.

Ростопчин позаботился и о поджоге домов своих близких. Так, он приказал спалить дом Протасовых, родственников своей жены. «У барышень Протасовых был в Москве дом на Пречистенке; в 1812 году оставался в нем дворник, который хотел беречь его вопреки неприятеля; раз ночью, когда он караулил его, он увидал верхового, который поравнявшись с домом Протасовых, выстрелил из пистолета; дом загорелся, дворник принялся кричать, но верховой сказал ему: «Молчи, это приказал Федор Васильевич». Дворник пошел с этим известием к барышням,

уверяя их, что дом, верно, прежде еще был чем-нибудь намазан, что так легко загорелся от выстрела. Он сгорел со всем, что в нем было», — рассказывала современница[65]. Русские и французы поменялись местами: первые хотели город уничтожить, вторые — спасти. И когда поджигателей ловили разъяренные французы, то зачастую убивали их прямо на месте. Монахиням Страстного монастыря (также разоренного французами), не сумевшим эвакуироваться, еще долго снился Тверской бульвар, увешанный телами пойманных французами русских поджигателей.

Раненые русские солдаты, для эвакуации которых не хватило ни подвод, ни времени, были обречены на гибель вместе со всей Москвой: многие из них погибли, так и не сумев выбраться из охваченных огнем домов. Других же нередко просто выкидывали на улицу, освобождая место для раненых французов.

Оккупанты не скрывали правды о происходящих в Москве событиях, объявляя новости дня в наполеоновских бюллетенях. Так, в бюллетене № 19 от 16 сентября объявлялось о том, что «совершеннейшее безначалие царствовало в городе; пьяные колодники бегали по улицам и бросали огонь повсюду. Губернатор Ростопчин велел выслать всех купцов и торгующих, посредством которых можно бы было восстановить порядок. Более четырехсот Французов и Немцев задержаны по его приказанию. Наконец, он велел выслать пожарную команду и трубы. Тридцать тысяч раненых или больных Русских находятся в госпиталях, оставленные без помощи и пищи»[66].

А вот следующий бюллетень, от 17 сентября: «Нашли в доме этого негодного Ростопчина (miserable Rostopschine. — *фр.)* некоторые бумаги и одно письмо недоконченное. 16 числа восстал жестокий вихрь; от трех до четырехсот мошенников бросили огонь по городу в пятистах местах в один раз по приказанию Губернатора Ростопчина. Церквей, их было тысячу шестьсот. Эта потеря неисчислима для России; если оценить то в несколько тысяч миллионов, то еще не велика будет оценка. Тридцать тысяч Русских раненых и больных сгорели. И привели двести тысяч честных жителей в бедность; это злодеяние Ростопчина, исполненное преступниками, освобожденными из тюрем. Солдаты находили и находят множество шуб и мехов для зимы. Москва магазин оных».

Наконец, 21-й бюллетень 20 сентября извещал: «Триста зажигателей были схвачены и расстреляны. Сгорел прекрасный Дворец Екатерины, вновь меблированный. В то время как Ростопчин вывозил пожарные трубы из города, он оставлял шестьдесят тысяч ружей, сто пятьдесят пушек и один миллион пятьсот патронов и проч. Пожар сей Столицы отталкивает Россию

целым веком назад. В Кремле нашли многие украшения, употребляемые при короновании ИМПЕРАТОРОВ, и все знамена, взятые у Турков в продолжение целого столетия».

Более чем красочной иллюстрацией трагедии, произошедшей в Москве и отразившейся прежде всего на остатках московского населения, служат следующие строки из октябрьских бюллетеней: «Кажется, что Ростопчин сошел с ума. В Воронове он зажег свой замок. Русская армия отрекается от Московского пожара; производители сего покушения ненавидимы в России… Большого стоило труда вытащить из загоревшихся домов и Госпиталей некоторую часть больных Русских; осталось еще четыре тысячи сих несчастных. Число погибших во время пожара чрезвычайно значительно… Жители, состоящие из двухсот тысяч душ, блуждая по лесам, умирая с голода, приходят на развалины искать каких-нибудь остатков и садовых овощей для своего пропитания». А пожилые монахини Страстного монастыря холодными октябрьскими ночами тайком пробирались на монастырский огород, чтобы выкопать мороженую картошку.

Пожар бушевал всю неделю и затих к 8 сентября. Возвращаясь в Кремль, Наполеон не узнал Первопрестольной: «Москвы — одного из красивейших и богатейших городов мира — больше не существует!» Прекрасные гостиницы, роскошные особняки и дворцы, отливавшие золотом своих куполов соборы — все то, что так пленило французов, обратилось в пепел. «Дым от пожарища густыми облаками окутал солнце, превратив его в кроваво-красный диск. Нельзя было различить направления улиц, лишь остовы каменных дворцов сохранили некоторые очертания того, чем они были раньше: очищенные от угля и пепла, эти остатки нового города походили скорее на остатки древностей», — переживал Лабом[67]. Московский пожар провел большую и жирную черту в истории города, отныне всё, построенное в нем, разделялось границей — до и после 1812 года.

Но у московского пожара было и положительное свойство: французская армия лишилась зимней стоянки, на которую так рассчитывала после изнурительного похода. «Мы были господами Москвы, а между тем нам приходилось уходить из нее без всяких жизненных припасов и располагаться лагерем у ее ворот!» — писал граф де Сегюр, генерал из свиты Наполеона. Все те огромные запасы продовольствия, что не были Ростопчиным и Кутузовым вывезены из Москвы, о которых с радостью докладывали Наполеону его генералы 2 сентября, оказались поглощены невиданным огнем и полностью уничтожены.

Ростопчин же мог быть доволен: следуя «русскому правилу»,

Москва не досталась злодею, обратившись в пепел и золу. Было понятно, что долго в городе французы не пробудут. Уже в двадцатых числах сентября началась эвакуация французских раненых в Смоленск. Вслед за ними повезли и то, что удалось награбить.

Находившийся в это время при штабе Кутузова Ростопчин отправлял в сгоревший город своих полицейских агентов, докладывавших о том, как оставшиеся москвичи воюют с французами. Так, пристав Вороненко, вернувшийся из Москвы 4 октября, доложил ему о французах, «побиваемых жителями и женщинами», о крестьянах, что с ружьями в руках «положили всех на месте».

Ростопчин, будучи в отступе, не оставлял любимого занятия — написания афиш. 20 сентября он посылает москвичам своеобразную политинформацию:

«Крестьяне, жители Московской губернии! Враг рода человеческаго, наказание Божие за грехи наши, дьявольское наваждение, злой француз взошел в Москву: предал ее мечу, пламени; ограбил храмы Божии; осквернил алтари непотребствами, сосуды пьянством, посмешищем; надевал ризы вместо попон; посорвал оклады, венцы со святых икон; поставил лошадей в церкви православной веры нашей, разграбил домы, имущества; наругался над женами, дочерьми, детьми малолетними; осквернил кладбища и, до второго пришествия, тронул из земли кости покойников, предков наших родителей; заловил, кого мог, и заставил таскать, вместо лошадей, им краденое; морит наших с голоду; а теперь как самому пришло есть нечего, то пустил своих ратников, как лютых зверей, пожирать и вокруг Москвы, и вздумал ласкою сзывать вас на торги, мастеров на промысел, обещая порядок, защиту всякому. Ужли вы, православные, верные слуги царя нашего, кормилицы матушки, каменной Москвы, на его слова положитесь и дадитесь в обман врагу лютому, злодею кровожадному? Отымет он у вас последнюю кроху, и придется вам умирать голодною смертию; проведет он вас посулами, а коли деньги даст, то фальшивые; с ними ж будет вам беда. Оставайтесь, братцы, покорными христианскими воинами Божией Матери, не слушайте пустых слов! *Почитайте начальников и помещиков; они ваши защитники, помощники, готовы вас одеть, обуть, кормить и поить.* Истребим остальную силу неприятельскую, погребем их на Святой Руси, станем бить, где ни встренутся. Уж мало их и осталося, а нас сорок миллионов людей, слетаются со всех сторон, как стада орлиныя. Истребим гадину заморскую и предадим тела их волкам, вороньям; а Москва опять украсится; покажутся золотые

верхи, домы каменны; навалит народ со всех сторон. Пожалеет ли отец наш, Александр Павлович, миллионов рублей на выстройку каменной Москвы, где он мирром помазался, короновался царским венцом? Он надеется на Бога всесильнаго, на Бога Русской земли, на народ ему подданный, богатырскаго сердца молодецкаго. Он один — помазанник его, и мы присягали ему в верности. Он отец, мы дети его, а злодей француз — некрещеный враг. Он готов продать и душу свою; уж был он и туркою, в Египте обасурманился, ограбил Москву, пустил нагих, босых, а теперь ласкается и говорит, что не быть грабежу, а все взято им, собакою, и все впрок не пойдет. Отольются волку лютому слезы горькия. Еще недельки две, так кричать «пардон», а вы будто не слышите. Уж им один конец: съедят все, как саранча, и станут стенью, мертвецами непогребенными; куда ни придут, тут и вали их живых и мертвых в могилу глубокую. Солдаты русские помогут вам; который побежит, того казаки добьют; а вы не робейте, братцы удалые, дружина московская, и где удастся поблизости, истребляйте сволочь мерзкую, нечистую гадину, и тогда к царю в Москву явитеся и делами похвалитеся. Он вас опять восстановит по-прежнему, и вы будете припеваючи жить по-старому. А кто из вас злодея послушается и к французу преклонится, тот недостойный сын отеческой, отступник закона Божия, преступник государя своего, отдает себя на суд и поругание; а душе его быть в аду с злодеями и гореть в огне, как горела наша мать Москва».

Что бросается в глаза в этой, в общем-то, дежурной афише — это фраза: «Почитайте начальников и помещиков; они ваши защитники, помощники, готовы вас одеть, обуть, кормить и поить». К тому времени француз уже три недели как обживал Москву, так что политинформация Ростопчина не имела никакого смысла. Чтобы увидеть происходящее, достаточно было выглянуть в окно — если, конечно, было откуда выглядывать. Суть этой фразы более глубокая — это такая важная тема, как возможная отмена крепостного права Наполеоном, которая постоянно волновала дворянское сословие. Наиболее яркие представители его выражали общее опасение, что крестьяне, питавшиеся слухами и домыслами, вполне могут клюнуть на эту удочку. Не случайна и одна из последних фраз этого послания Ростопчина: «Он (царь. — *А. В.)* вас опять восстановит по-прежнему, и вы будете припеваючи жить по-старому».

6 октября, вдень, когда под Тарутином русская армия одержала первую после Бородина победу, французские войска начали оставлять Москву. Напоследок Наполеон, рассерженный уже не только на одного Ростопчина с его поджигателями, но и на Александра, от которого он так и не дождался перемирия, и на

весь русский народ («Где это видано, чтобы народ сжег свою древнюю столицу?»), решил взорвать Кремль. И хотя часть кремлевских башен пострадала, замысел Наполеона воплощен не был. Помешали опять же природные условия — начавшийся в ночь с 10 на 11 октября дождь, погасивший фитили, а также сами москвичи и подоспевшие казаки из отряда генерал-майора Иловайского, переловившие в Кремле последних французов.

Как отмечал позднее Ростопчин, «одна колокольня, два места в стенах, две башни и четвертая часть Арсенала взорваны. Царский Дворец остался невредим, даже огонь не мог в него проникнуть. Починки стоили всего на все 500 тысяч рублей»[68].

Следы пребывания в Москве французов были ужасными. Завоеватели вели себя как варвары — грабили, убивали, насиловали. С попадавшихся им москвичей прямо на улице снимали последнюю рубашку, а затем заставляли награбленное добро нести в казармы, которые они устраивали в православных храмах. Церкви они также приспособили под конюшни и склады с продовольствием. В самих церквях после посещения их французами не оставалось ничего ценного и святого — они обдирали позолоту с окладов икон, тащили шитую золотом парчу и др. Церковное золото и серебро переплавляли тут же.

В одном только Успенском соборе они переплавили 325 пудов серебра и 18 пудов золота. С колокольни Ивана Великого солдаты Наполеона сняли крест, надеясь поживиться его золотым покрытием. В кремлевских соборах они осквернили великокняжеские и царские гробницы, а также мощи святителей московских, выкинув их из гробниц. Москвичей — священников и мирян, пытавшихся сопротивляться средневековому вандализму, убивали.

Французы обобрали до нитки Страстной монастырь: шарили по опустевшим кельям, тащили всё, что хоть как-то блестело золотом и серебром. Сломав замок на кладовой, хранившей сундуки с вещами монашек, оккупанты унесли всё. Но монастырскую ризницу им не суждено было найти. Старый шкаф с драгоценной утварью благополучно простоял под соборной крышей. Кстати, богослужения новая власть разрешила уже через две недели после занятия Москвы, для чего французским генералом в обитель были присланы парчовое одеяние, мука и вино, растащенное ранее его солдатами.

Каковы же были итоги московского пожара? Согласно статистическим данным, из более чем девяти тысяч зданий сгорело почти шесть с половиной тысяч, то есть две трети всей городской недвижимости. Каменных домов уничтожено пожаром было более двух тысяч, деревянных — четыре с половиной

тысячи. Сожжена была и половина всех московских церквей, их осталось чуть более сотни. Москва если не умерла, то была при смерти.

Что и говорить, и французы, и русские оказались не слишком изобретательны в выборе средств борьбы с неприятелем в городских условиях. А ведь выбор был — бои на улицах города, превращение каждого дома в крепость — таких примеров было во множестве уже в другую Отечественную войну, которую зовем мы Великой. А в Отечественную войну 1812 года Москву просто спалили. Еще одно важное обстоятельство — когда в 1814 году великая справедливость восторжествовала и русские войска добрались до окрестностей Парижа, французам даже в голову не пришло подпалить свою столицу. Потому столь торжественным был въезд императора Александра I в побежденный город.

Могла ли Москва остаться в живых? Конечно, могла. Другой вопрос, каким был бы исход Отечественной войны и закончилась бы она в 1814 году или нет. Но главнокомандующим русской армией был Кутузов, который (хоть и одним глазом) видел стратегический выигрыш в том, что Москва должна быть пожертвована ради спасения России. Он рассчитывал, что в то время, пока наполеоновские солдаты будут грабить Москву, русские получат передышку и сумеют перегруппироваться. Так же как Ростопчин отдал Верещагина на растерзание толпе, так и Москву Кутузов кинул на расправу французам. Может быть, другой на его месте придумал что-нибудь иное, но другого главнокомандующего у России в то время не было.

То, что Москва сгорела, — это уже следствие стратегии Кутузова. И не для того оставлял он Москву французам, чтобы они в ней перезимовали. Вот почему ответственность за пожар Москвы несут два человека — генерал-фельдмаршал Кутузов и генерал от инфантерии Ростопчин. Один не защитил Москвы, другой — бросил ее. Спорить здесь можно лишь о степени вины каждого и о том, насколько вина одного повлекла вину другого. Кто кому не дал подкрепление, не пригласил на военный совет, вовремя не проинформировал и т. д. Но поскольку нас интересует именно Ростопчин, на нем мы и остановимся.

В Москву ее градоначальник вернулся из Владимира 24 октября и стал, насколько это было возможно, восстанавливать порядок в городе. Вместе с Ростопчиным приехал и Александр Булгаков. Лишь 28 октября 1812 года он взялся за перо: «Я пишу тебе из Москвы или, лучше сказать, среди развалин ее. Нельзя смотреть без слез, без содрогания сердца на опустошенную, сожженную нашу золотоглавую мать. Теперь вижу я, что это не город был, но истинно мать, которая нас покоила, тешила,

кормила и защищала. Всякий русский оканчивать здесь хотел жизнь Москвою, как всякий христианин оканчивать хочет после того Царством Небесным. Храмы наши все осквернены были злодеями, кои поделали из них конюшни, винные погреба и проч. Нельзя представить себе буйства, безбожия, жестокости и наглости французов. Я непоколебим в мнении, что революция дала им чувства совсем особенные: изверги сии приучились ко всем злодеяниям… грабеж — единственное их упражнение. На всяком шагу находим мы доказательства зверства их»[69].

Поначалу необходимо было накормить и обогреть переживших французскую оккупацию москвичей; по сведениям Ростопчина, в Москве к его приезду находилось до полутора тысяч человек «из бедного состояния народа в величайшей нужде: они были помещены по квартирам, одеты и кормлены в продолжение целого года на счет Казны».

Французы оставили в Москве и своих тяжелораненых — 1360 человек, голодных и истощенных солдат, собранных в Шереметевской больнице (ныне Институт им. Склифосовского. — *А. В.)*. Их тоже надо было откармливать и лечить.

А еще надо было похоронить убитых и падший скот, предпринять меры к недопущению распространения эпидемий, к борьбе с мародерами. Была и еще одна задача — приструнить пораспустившихся без присмотра крестьян, тащивших что плохо лежало из разграбленных французами домов. Таких во все времена хватает. И ведь помногу брали — накладывали доверху чужим добром целые телеги. Этому посвящена афиша Ростопчина от 20 октября: «Крестьянам Московской губернии. — По возвращении моем в Москву узнал я, что вы, недовольны быв тем, что ездили и таскали, что попалось на пепелище, еще вздумали грабить домы господ своих по деревням и выходить из послушания. Уже многих зачинщиков привезли сюда. Неужели вам хочется попасть в беду? Славное сделали вы дело, что не поддались Бонапарте, и от этого он околевал с голоду в Москве, а теперь околевает с холоду на дороге, бежит, не оглядываясь, и армии его живой не приходить; покойников французских никто не подвезет до их дому. Ну, так Бонапарта не слушались, а теперь слушаетесь какого-нибудь домашняго вора. Ведь опять и капитан-исправники и заседатели везде есть на месте. Гей, ребята! Живите смирно да честно; а то дураки, забиячные головы, кричат: «Батюшка, не будем!».

Следовало также наладить продовольственное снабжение армии. На Старой площади и в Охотном Ряду открылись первые рынки, где продавали мясо, муку, сапоги… По заключению специальной комиссии, убытки, причиненные пожаром и

военными действиями в Московской губернии, составили 321 миллион рублей.

Ростопчин занимался решением самых разных вопросов: контроль за «нежелательными элементами», размещение возвращающихся в Москву учреждений и расселение их чиновников, борьба с хищением денег, направляемых на лечение раненых (он вывел на чистую воду врачей Главного военного госпиталя, клавших часть денег себе в карман), забота о французских военнопленных, расследование деятельности коллаборационистов (служивших в «новой», французской администрации), изъятие французского оружия у населения, поиск жилья для возвращающихся москвичей, оставшихся без крыши над головой (к середине 1813 года в Москву вернулось до двухсот тысяч человек), помощь купечеству в восстановлении торговли и пр.

Помощь погорельцам оказывалась масштабная. Об этом мы узнаём из ростопчинской афиши от 27 ноября: «Главнокомандующий в Москве, генерал от инфантерии и кавалер гр. Ростопчин, объявляет, что во исполнение высочайшаго его императорскаго Величества рескрипта от 11-го ноября, для подания всевозможной помощи пострадавшим жителям московским, на первый случай учреждается в Приказе Общественна-го призрения особенное отделение, в которое будут принимать всех тех, кои лишены домов своих и пропитания; а для тех, кои имеют пристанище и не пожелают войти в дом призрения, назначается на содержание: чиновных по 25, а разночинцев по 15 коп. в день на каждаго, что и будет выдаваться еженедельно по воскресным дням в тех частях, в коих кто из нуждающихся имеет жительство, по билетам за подписанием господина главнокомандующего в Москве; на получение же билета должно представить свидетельство частнаго пристава, что действительно лишились имущества, с означением числа особ, составляющих семейства, и находящихся служителей».

Среди прочих сословий больше всего пострадало от французского нашествия купечество — лавки с товаром были разграблены, дома сожжены. Главной проблемой стал поиск заемных средств для восстановления торговли. Несмотря на тяжелую финансовую ситуацию, уже к середине 1813 года «главнейшие заведения и мануфактуры московские возникли из-под пепла и развалин», «число фабрикантов противу прежнего нарочито увеличилось»[70].

Об этом же Ростопчин рассказал москвичам в афише от 25 декабря:

«По дошедшим до меня слухам, в разных местах думают,

говорят, а иные и верят, что в Москве есть заразительные болезни. Доказательством, что их не было и нет, служит приезд ежедневно множества здешних жителей, занимающихся: иные поправлением, другие построением домов, коих число простирается до 70 000 человек. Уже выстроено до 3000 лавок, в коих торгуют, и на торгах нет проезду. Поставя обязанностию известить о сем всеместно, надеюсь, что Москва паки признана будет здоровым городом, а сим кончатся нелепые слухи, распространенные легковерием и выпущенные первоначально за заставу каким-либо лжецом, трусливым болтуном или из ума выжившим стариком».

Но основной задачей все же было восстановление сгоревшей Москвы (кстати, собственный дом Ростопчина остался цел и невредим). Для решения этой задачи 5 мая 1813 года император учредил Комиссию для строения Москвы во главе с Ростопчиным. Именно этой комиссии предстояло «способствовать украшению» Москвы, а не пожару, как утверждал грибоедовский Скалозуб. Для воплощения планов Москве была дана беспроцентная ссуда в пять миллионов на пять лет. В комиссии работали лучшие зодчие — Бове, Стасов, Жилярди и др.

Ростопчин организовал подписку по сбору средств для раненых российских воинов: «Военные люди приносят свою наичувствительную благодарность попечителям Москвы, которая может утешить после войны. Здесь шатающихся воинов, кои привыкли оную любить, и проводить приятно время после всякого случая… Не худо бы если б… богатые дворяне построили в Москве большое здание для калек наших, кои не имеют никакого содержания, где бы могли провести по милости почтенного дворянства остатки дней своих. Всякое же вспоможение изувеченным деньгами есть временное и бесполезное. А потому подписка у вас сделанная в пользу изувеченных могла бы с большею пользою употребиться на таковую постройку и всякого роду прислугу. А дабы не могло произойти в постройке зла, то полезно бы было естли б Граф Ф. В. взял сие на себя. Вот мысль моя касательно изувеченных, в прочем я пишу сие как человеку коего я люблю и почитаю.

Естли б другой был в Москве, а не Граф, то верно бы не было никакой подписки для вспоможения изувеченных, и прочее, и прочее»[71].

Неудивительно, что решение такого большого числа проблем негативно отразилось на здоровье Ростопчина, у него участились обмороки и началась затяжная депрессия. Он «занемог» еще в октябре 1812 года, увидев, во что превратилась Москва. Рассуждать о «русском правиле» — это одно, а увидеть его

практическое воплощение — совсем другое.

Физические недуги обострялись нравственными. Москвичи всю вину за потерю своего имущества возложили на Ростопчина. В открытую бранили его, независимо от сословной принадлежности, — на рынках и площадях, в салонах и письмах. О том, чтобы использовать довоенные методы управления, не было и речи — он не мог уже без охраны ходить по улицам. Отпала надобность и в агентах, Ростопчин и так знал, что авторитет его у москвичей — минимальный.

Характерный пример — письмо московской дамы Марии Волковой своей петербургской родственнице Варваре Ланской от 8 августа 1814 года: «Если бы ты знала, какое вы нам окажете одолжение, избавив нас от прекрасного графа! Все его считают сумасшедшим. У него что ни день, то новая выходка. Несправедлив он до крайности. Окружающие его клевреты, не стоящие ни гроша, действуют заодно с ним. Граф теперь в Петербурге. Как его там приняли? Сделайте одолжение, оставьте его у себя, повысьте еще, ежели желаете, только не посылайте его к нам обратно». А ведь еще в июне 1812 года та же Волкова писала, что «Ростопчин — наш московский властелин… у него в тысячу раз более ума и деятельности»[72]. Как быстро поменялось общественное мнение!

После пожара граф сделал для Москвы несравнимо больше, чем в те несколько месяцев, что он успел совершить до французского нашествия. Но москвичи не простили ему московского пожара, связав с ним все свои беды и горести. «У Ростопчина нет ни одного друга в Москве, и там его каждый день клянут все. Я получил сотни писем из Москвы и видел много людей, приехавших оттуда: о Ростопчине существует только одно мнение», — писал Н. М. Лонгинов из Петербурга 12 февраля 1813 года С. Р. Воронцову[73].

Мы не случайно привели мнение именно петербургского жителя, приближенного ко двору, где к этому времени уже сформировалось убеждение о необходимости смены ряда ключевых политических фигур. Востребованная накануне войны консервативная идеология уже не отвечала политическим реалиям. Авторитет Александра, въехавшего в Париж победителем, был как никогда высок. Вспомним, что назначение Ростопчина и его соратников было вызвано именно политическими причинами. Теперь эти же причины повлекли и обратный процесс…

В августе 1814 года граф приехал в столицу. Поначалу события не предвещали для Ростопчина ничего худого: «9-го августа 1814-го года Петербурх… Граф Ф. В. прибыл сюда

благополучно и принят у двора хорошо. Но и тут у него бывают минуты недовольные»[74]. Но уже 30 августа того же года Ростопчин сошел с политической сцены, а вместе с ним Шишков и Дмитриев.

При визите к императору он было хотел просить у него о новом месте службы в Варшаве для сына Сергея, довольно часто огорчавшего его своим поведением и образом жизни, но отложил эту просьбу на неопределенное время. Куда уж тут просить о сыне — самому бы не остаться у разбитого корыта. Напоследок, правда, император наделил Ростопчина полномочиями члена Государственного совета, впрочем, не имевшего почти никакого влияния. Кажется, что лишь один Закревский переживал по поводу отставки графа: «Благомыслящие люди и Любящие свое отечество всегда должны жалеть о Графе, который доказал на опыте достоинства свои полезные весьма России; следовательно, можно ль смотреть на злоязычников не стоящих никакого уважения, а заслуживающие одно только презрение. Всякого состояния люди, всегда ошибались в некоторых»[75]…

Получив отставку, Ростопчин не спешил выехать в Москву. Он нанял для проживания дом генерала Александра Петровича Тормасова, который, в свою очередь, был назначен на его место в Москву.

Здоровье графа ухудшилось. Арсений Закревский пишет об участившихся обмороках Ростопчина, впервые появившихся у него еще в эвакуации во Владимире: «С Графом был обморок подобной Володимирскому, но теперь Слава богу ему лучше, я его не видел более недели… Графу награда за ревностную службу не совсем лестная, быть членом Совета. О сыне ничего не просил и решился не просить не знаю по каким причинам»[76].

В следующем, 1815 году граф решил отправиться за границу, мотивируя это необходимостью поправки расстроенного здоровья: «Мне надо было ехать, доктора посылали меня на воды. Это последнее средство гиппократов и последняя надежда больных. Я не был опасно болен, но целый год и семь месяцев не был здоров»[77].

Многого насмотрелся за границей Ростопчин, в Германии и Великобритании, но основное внимание его вновь было отвлечено ненавистными французами. Неприязнь вызывал уже сам язык, который Ростопчин назвал «нравственной чумой рода человеческого». Притом что сам он писал на французском! Во Франции осенью 1816 года он и осел. Живя в Париже, граф продолжал общаться со своими друзьями, приезжавшими из России, принимал их у себя, так, Александр Булгаков писал брату из Парижа 7 ноября 1819 года, что часто обедает «у графа

Ростопчина»[78].

Любопытно, что, находясь вне России, Ростопчин не забывал уделять внимание любимому занятию — разведению лошадей, интересовался — много ли сена запасено на будущую зиму. А тому же Александру Булгакову он велел передать из своего конезавода «славного жеребца и пять кобыл для заведения завода лошадиного».

Благодарный Булгаков отмечал в письме брату 5 октября 1820 года: «Спасибо! Приятно брать и сохранять: у него лошади дивные, подарки султана Селима во время оно; это может сделать значительный доход со временем». А жене Булгакова Ростопчин тоже подарил «славного», но не коня, а быка и четыре коровы голландские для разведения. Со стороны графа это было большой щедростью, ведь общая стоимость подарка была не менее 15 тысяч рублей[79].

К своему удивлению, Ростопчин встретил на Западе очень теплый и радушный прием. Ему буквально не давали прохода. Насколько сильно не любили его на родине, настолько же крепкой была любовь к легендарному московскому генерал-губернатору за рубежом. Куда бы он ни приезжал, всюду с ним хотели встретиться первые люди государства. Аудиенцию ему давали французский, прусский и английский монархи. Последний — Георг IV — прислал ему личное приглашение и даже подарил графу полотно великого Леонардо да Винчи.

В Лондоне в честь Федора Васильевича назвали улицу. В Париже в театре зрители встречали его аплодисментами. И за границей перо его не дремало. В изданной во Франции, а затем и в Москве в 1823 году книге «Правда о пожаре Москвы» он «благородно» снимает с себя ответственность за пожар Москвы («главной причины истребления неприятельских армий, падения Наполеона, спасения России и освобождения Европы»), не желая «присваивать» себе чужую славу. По его мнению, поджигатели Москвы — это и есть сами москвичи.

Чтение этой книги представляет собой крайне любопытное занятие. С присущей слогу Ростопчина витиеватостью он буквально ставит с ног на голову всю историю Отечественной войны 1812 года, касающуюся эпизодов с его участием. Знаменательно, что Федор Васильевич написал ее по-французски. Перевод на русский язык был сделан Александром Волковым. «Правда о пожаре Москвы» открывается приветствием переводчику от издателя: «ИВАНУ ИВАНОВИЧУ ДМИТРИЕВУ. МИЛОСТИВЫЙ ГОСУДАРЬ!

Перевод сочинения знаменитого нашего Патриота кому лучше может быть приписан, как не Вашему

Высокопревосходительству? Ваша любовь к Отечеству, Ваша примерная справедливость, должности, Вами пройденные, — все оправдывает мой выбор, и я почту себя счастливым, если приношение мое удостоится благосклонного Вашего принятия.

МИЛОСТИВЫЙ ГОСУДАРЬ! Вашего Высокопревосходительства покорнейший слуга Александр Волков».

То, что книга посвящена именно баснописцу Дмитриеву, довольно символично. Ведь многое из того, что писал Федор Васильевич, также можно назвать баснями, которыми граф кормил своего читателя.

Одиннадцать лет понадобилось бывшему московскому генерал-губернатору, чтобы собраться с силами и написать в свое оправдание следующие строки: «Протекло десять лет со времени пожара Москвы, и я всегда представляю потомству и Истории как изобретатель такого происшествия, которое, по принятому мнению, было главнейшею причиною истребления неприятельских армий, падения Наполеона, спасения России и освобождения Европы.

Без сомнения, есть чем возгордиться от таких прекрасных названий; но, не присваивая себе никогда прав другого и соскучась, слышать одну и ту же басню, я решаюсь говорить правду, которая одна должна руководствовать Историей».

Насколько же замысловато излагает Ростопчин свои мысли! Уже в первом абзаце звучит двойственность: с одной стороны — пожар, с другой — главная причина истребления неприятельских армий. Но ведь это не одно и то же. А как же армия, осуществившая под руководством Кутузова разгром Наполеона?

Ростопчин продолжает: «Когда пожар разрушил в три дня шесть осьмых частей Москвы, Наполеон почувствовал всю важность сего происшествия и предвидел следствие, могущее произойти от того над Русской нацией, имеющей все право приписать ему сие разрушение, по причине его бытности и ста тридцати тысяч солдат под его повелениями. Он надеялся найти верный способ отклонить от себя весь срам сего дела в глазах Русских и Европы и обратить его на Начальника Русского правления в Москве: тогда бюллетени Наполеоновы провозгласили меня зажигателем; журналы, памфлеты наперерыв один перед другим повторили сие обвинение и некоторым образом заставили авторов, писавших после о войне 1812 года, представлять несомненным такое дело, которое в самой вещи было ложно.

Я расположу по статьям главнейшие доказательства, утвердившие мнение, что пожар Москвы есть мое дело; я стану

отвечать на них происшествиями, известными всем Русским. Было бы несправедливо этому не верить; ибо я отказываюсь от прекраснейшей роли эпохи; сам разрушаю здание моей знаменитости».

Действительно, Наполеон в своих бюллетенях неоднократно утверждал, что пожар Москвы «был выдуман и приготовлен правлением Ростопчина».

Далее автор пишет: «Дабы выдумать и исполнить предприятие столь ужасное, каково есть сожжение столичного города Империи, надлежало иметь причину гораздо важнейшую, чем уверенность во зло, могущем от того произойти для неприятеля». Иными словами, по мнению Ростопчина, нет такой причины, которая могла бы заставить его поджечь Москву, потому как занятие ее французами как раз такой причиной не является. Интересно, что и Наполеон в своих воспоминаниях также не мог понять: это какую же цель надо преследовать, чтобы поджечь свою древнюю столицу, ради чего, собственно?

Ростопчин приводит довод крайне неуместный: «Хотя шесть осьмых частей города были истреблены огнем, однако оставалось еще довольно зданий для помещения всей армии Наполеона». Но ведь дневник Стендаля показывает иное: крайне трудно было найти приемлемое здание, поскольку слишком много было желающих, а также и те дома, что не сгорели, находились в неудовлетворительном состоянии: разграбленные, с выбитыми окнами и дверями, закопченные.

Наконец, граф называет имя главного виновника страшного пожара — ветер: «Совершенно было невозможно, чтобы пожар мог распространиться по всем частям города, и если бы не случилось жестокого ветра, огонь сам бы по себе остановился по причине садов, пустых мест и бульваров. Таким образом, истребление жизненных припасов, находящихся в домах, которые могло бы пожрать пламя, было б единственным злом для неприятеля и горестным плодом меры, сколь жестокой, столько же и неблагоразумной».

Вопрос о жизненных припасах является болезненным для московского главнокомандующего. Ведь, как мы уже смогли убедиться, вывезти удалось немного. Но Ростопчин продолжает попытку сохранять лицо: «Кроме того, жизненные припасы, оставшиеся в Москве, были весьма незначительны: ибо Москва снабжается посредством зимнего пути и весеннего плавания до сентября месяца, а после на плотах до зимы; но война началась в июне месяце, и неприятель был уже обладателем Смоленска в начале августа: таким образом, все подвозы остановились, и нимало уже не заботились о снабжении жизненными припасами

города без защиты и угрожаемого неприятельским вторжением. Впоследствии большая часть муки, находившейся в казенных магазинах и в лавках хлебных торговцев, была обращена в хлебы и сухари, и в продолжение тринадцати дней пред входом Наполеона в Москву шестьсот телег, нагруженных сухарями, крупой и овсом, отправлялись каждое утро в армии, а посему и намерение лишить неприятеля жизненных припасов не могло иметь своего существования. Другое дело, гораздо важнейшее, должно было бы остановить исполнение предприятия пожара (если когда-либо было оно предположено), а именно, дабы тем не заставить Наполеона принудить Князя Кутузова к сражению по выходе своем из Москвы. Которого все выгоды были на стороне Французской армии, имеющей двойное число сражающихся, чем Русская армия, отягченная ранеными и некоторою частью народа, убежавшего из Москвы».

Смысл процитированного абзаца в том, что в Москве, оказывается, было и не так много продовольствия, фуража и боеприпасов. Но ведь это не так, поскольку Москве изначально была уготована роль мобилизационной базы империи. А значит, здесь и до́лжно было сосредоточить основные ресурсы. Недаром именно Ростопчина назначил царь начальником ополчения не только Московской, но всех граничащих с ней губерний.

Еще один эпизод, припомненный графом, относится к истории с воздушным шаром с зажигательными веществами, работа над которым велась под Москвой «неким Шмидтом»: «Пожар Москвы, не будучи никогда ни приготовленным, ни устроенным, зажигательные вещества Шмидта сами по себе уничтожаются. Этот человек, будто бы нашедший способ управлять воздушным шаром, занимался тогда устроением такового и, следуя шарлатанству, просил о сохранении тайны на счет его работы. Между тем, уже слишком увеличили историю этого шара, дабы сделать из оной посмеяние для Русских; но простофили очень редки между ними, и никогда бы не могли уверить ни одного жителя Москвы, что этот Шмидт истребит Французскую армию посредством своего шара, подобного тому, который Французы употребили во время Флерюссного сражения; и какую имели нужду устраивать фабрику зажигательных веществ? Солома и сено гораздо были бы способные для зажигателей, чем фейерверки, требующие предосторожности, и столь же трудные к сокрытию, как и к управлению для людей, совсем к тому непривыкших».

История с воздушным шаром заслуживает отдельного повествования, тем более что, описывая ее, Ростопчин лукавит. Он-то как раз был активным сторонником применения

воздушного шара для войны с французами.

Еще в марте 1812 года Александру I пришло письмо от тайного советника Д. М. Алопеуса, состоявшего при короле Вюртембергском. Алопеус предложил русскому царю приобрести уникальное изобретение — «управление аэростатического шара в конструкции воздушного корабля», способного вмещать «нужное число людей и снарядов для взорвания всех крепостей, для остановки и истребления величайших армий»[80].

Письмо пришло вовремя — Российская империя готовилась к войне с Наполеоном. Хорошим подспорьем в борьбе с неприятелем было бы использование достижений научно-технического прогресса в лице целой флотилии в составе полусотни воздушных кораблей, способных сбрасывать на вражеских солдат ящики с порохом и уничтожать врагов целыми эскадронами.

Вскоре границу России пересек изобретатель воздушного шара Франц Леппих, «родом немец, дослужившийся в британских войсках до капитанского чина и прилежный к механическим искусствам». Он приехал с паспортом на чужое имя — Генриха Шмидта, о котором и пишет Ростопчин. Переименование было вызвано необходимой секретностью. Шмидта-Леппиха отвезли в подмосковное имение Воронцово, снабдив его всем необходимым для достижения результата.

В конце мая 1812 года Ростопчин получил от императора следующее указание: «Теперь я обращаюсь к предмету, который вверяю вашей скромности, потому что в отношении к нему необходимо соблюдение безусловной тайны. Несколько времени тому назад ко мне был прислан очень искусный механик, сделавший открытие, которое может иметь весьма важные последствия»… Я желал бы, чтобы Леппих не являлся в ваш дом и чтобы вы виделись с ним где-нибудь так, где это не было заметно».

Ростопчин охарактеризовал изобретателя как «весьма искусного и опытного механика», обеспечив его пятью тысячами тафты, а также купоросным маслом и железными опилками. Все это обошлось казне в 120 тысяч рублей. Сумма гигантская, особенно в предвоенных условиях. А потому и ожидания от ее использования были соответствующими.

Для конспирации все работы по производству шара замаскировали под фабрику сельскохозяйственных изделий. Ростопчину механик очень понравился. «Я подружился с Леппихом, который тоже меня любит, и машина стала мне дорога, точно мое дитя. Леппих предлагает мне пуститься на ней вместе с ним, но я не могу этого сделать без Вашего

позволения», — пишет граф императору.

22 августа Ростопчин рассказал москвичам о чудесном изобретении:

«От главнокомандующего в Москве. — Здесь мне поручено от государя было сделать большой шар, на котором 50 человек полетят, куда захотят: и по ветру, и против ветра; а что от него будет, узнаете и порадуетесь. Если погода будет хороша, то завтра или послезавтра ко мне будет маленький шар для пробы. Я вам заявляю, чтоб вы, увидя его, не подумали, что это от злодея, а он сделан к его вреду и погибели. Генерал Платов, по приказанию государя и думая, что его императорское величество уже в Москве, приехал сюда прямо ко мне и едет после обеда обратно в армию и поспеет к баталии, чтоб там петь благодарной молебен и «Тебя, Бога, хвалим!»[81].

К сожалению, ожиданиям Ростопчина не было суждено оправдаться. Летающая лодка Леппиха так и не поднялась в воздух, а оставшиеся от нее полуфабрикаты по приказу Ростопчина погрузили на 130 подвод и отправили в Нижний Новгород.

Вернемся, однако, к оправданиям Ростопчина. Он отвергает обвинения, что по его приказу в печах его дома были заложены петарды: «Для чего мне было класть петарды в моем доме? Принимаясь топить печи, их легко бы нашли, и даже в случае взрыва было бы только несколько жертв, а не пожар.

Один Французский медик, стоявший в моем доме, сказывал мне, что нашли в одной печи несколько ружейных патронов; если по прошествии некоторого времени сделались они петардами, то для чего же не сказать после, что это были сферы сжатия (globes de compression)? Что касается меня, то я оставляю изобретение петард бюллетеню; или, если действительно нашли несколько патронов в печах моего дома, то они могли быть положены после моего выезда, чтобы чрез то подать еще более повода думать, что я имел намерение сжечь Москву. Равномерно и ракеты, будто бы найденные у зажигателей, могли быть взяты в частных заведениях, в которых приготовляются фейерверки для праздников, даваемых в Москве и за городом».

Однако французские офицеры и солдаты утверждали иное — попытки затопить печи в занятых ими домах нередко приводили к взрывам из-за заложенного там ранее пороха.

Например, сержант Бургонь рассказывал в своих мемуарах, как неожиданно прервалась его прогулка по одному из московских дворянских особняков: «Великолепный дворец… От роду я не видывал жилища с такой роскошной меблировкой, как то, что представилось нашим глазам; в особенности поражала

коллекция картин голландской и итальянской школы. Между прочими богатствами особенно привлек наше внимание большой сундук, наполненный оружием замечательной красоты, которое мы и растащили. Я взял себе пару пистолетов в оправе, украшенной жемчугом…

Уже около часу мы бродили по обширным, роскошным хоромам, в стиле для нас совершенно новом, как вдруг раздался страшный взрыв: он шел откуда-то снизу из-под того места, где мы находились. Сотрясение было страшно сильное: мы думали, что будем под развалинами дворца. Мы проворно спустились вниз, со всякой осторожностью, но были поражены, не застав наших двух солдат, поставленных на часах у дверей. Довольно долго происками мы их, наконец, нашли на улице, они сказали нам, что в момент взрыва они поскорее убежали, думая что весь дом обрушится на нас. Перед уходом мы хотели узнать причину напугавшей нас катастрофы; оказывается, в обширной столовой обрушился потолок, хрустальная люстра разлетелась вдребезги и все это произошло от того, что нарочно были положены ядра в большую изразцовую печь. Русские рассудили, что для того, чтобы истреблять нас, всякое средство годится. Пока мы были в доме, размышляя о многих вещах, которых еще не понимали, мы услыхали крики: «Горим! Горим!» Это наши часовые заметили, что дворец загорелся. Действительно, из многих мест повалили клубы дыма, сперва черного, потом багрового, и в один миг все здание очутилось в огне. По прошествии четверти часа крыша из крашеного глянцевитого толя рухнула с страшным треском и увлекла за собой три четверти всего здания»[82].

Приведенное свидетельство ярко иллюстрирует и еще одно тяжелое последствие московского пожара — утрату большого числа культурных ценностей: предметов живописи, скульптуры, редких книг. Недаром французы были поражены роскошным наполнением дворянских особняков.

Ростопчин опровергает и показания поджигателей, пойманных французами: «Вот еще доказательство, представленное как несомненное и убедительное, облеченное формою суда, показанием осужденных и смертью зажигателей. Наполеон объявляет в двадцатом своем бюллетене, что схватили, предали суду и расстреляли зажигателей; что все сии несчастные были взяты на месте, снабженные зажигательными веществами и бросающие огонь по моему приказанию.

Двадцатый бюллетень объявляет, что эти зажигатели — были колодники, бросившие огонь в пятистах местах в один раз, что никоим образом невозможно. Впрочем, можно ли полагать, чтобы я дал свободу колодникам, содержавшимся в тюрьмах, с условием

жечь город, и что сии люди могли исполнить мои приказания во время моего отсутствия, пред целой неприятельской армией? Но я хочу убедить всех тех, кои единственно судят по-видимому, что колодники никогда не были к тому употреблены.

По мере приближения Наполеоновой армии к какому-либо Губернскому городу, Гражданские Губернаторы всегда отправляли колодников в Москву под прикрытием нескольких солдат. Вышло из того, что в конце месяца августа Московские тюрьмы наполнены были колодниками Губерний Витебской, Могилевской, Минской и Смоленской. Число оных, с включением также и колодников Московских, состояло из осьмисот десяти человек, которые, под прикрытием одного батальона, взятого из гарнизонного полку, были отосланы в Нижний Новгород двумя днями прежде входа неприятеля в Москву. Они прибыли к месту своего назначения, и в начале 1813 года, во избежание затруднения на счет рассылки их по прежним Губерниям предписано было Судебным Местам Нижнего Новгорода учинить и кончить их процесс там.

Но процесс, учиненный зажигателям (который напечатан, и которого я имею у себя еще один экземпляр), объявляет, что были представлены тридцать человек, из коих каждый поименован, и между которыми тринадцать, будучи уличены в зажигательстве города по моему приказанию, приговорены к смерти. Между тем по двадцатому и двадцать первому бюллетеню расстреляно их сначала сто, а потом еще триста. По моему возвращении в Москву я нашел и говорил с тремя несчастными из числа тридцати, обозначенных в процессе: один был служитель Князя Сибирского, оставленный при доме, другой, старый подметальщик в Кремле, третий, магазинный сторож.

Все трое, допрашиваемые порознь, мне сказали одно и то же в 1812 году, что и два года после того, то есть, что они взяты были в первые дни сентября месяца (стар, стиля), один во время ночи на улице, двое других в Кремле днем. Они оставались некоторое время в кордегардии в самом Кремле; наконец одним утром препроводили их с десятью другими Русскими в Хамовнические казармы; к ним присоединили еще семнадцать других человек, и отвели их под сильным прикрытием к Петровскому монастырю, находящемуся на бульваре. Там они простояли почти целый час; после чего, множество офицеров приехало верхами и сошли на землю. Тридцать Русских были поставлены в одну линию, из коих отсчитавши тринадцать справа, поставили к монастырской стене и расстреляли. Тела их были повешены на фонарные столбы с Французскою и Русскою надписью, что то были зажигатели. Другие семнадцать были

отпущены и впредь уже не тревожимы.

Объявление сих людей (если оно справедливо) заставляет думать, что никто их не допрашивал, и что тринадцать были расстреляны по повелению вышнего начальства».

Но самым главным объяснением причин пожара Ростопчин называет инициативу самих оставшихся в городе москвичей: «И так, вот подробности, которые я могу доставить об этом происшествии, которое Наполеон складывает на меня, которое Русские складывают на Наполеона, и которое не могу я приписать ни Русским, ни неприятелям исключительно. Половина Русских людей, оставшихся в Москве, состояла из одних токмо бродяг, и легко статься может, что они старались о распространении пожаров, дабы с большею удобностью грабить в беспорядке. Но это еще не может быть убедительным доказательством, что существовал план для сожжения города, и что этот план и его исполнение были моим делом».

Приведенные ранее свидетельства пристава Вороненко опровергают слова Ростопчина о самодеятельности пожара.

И, наконец, последнее — готовность к самопожертвованию русского народа как самый сильный запал для распространения огня: «Главная черта Русского характера есть не корыстолюбие и готовность скорее уничтожить, чем уступить, оканчивая ссору сими словами: не доставайся же никому. В частых разговорах с купцами, мастеровыми и людьми из простого народа я слыхал следующее выражение, когда они с горестью изъявляли свой страх, чтоб Москва не досталась в руки неприятеля: лучше ее сжечь. Во время моего пребывания в главной квартире Князя Кутузова я видел многих людей, спасшихся из Москвы после пожара, которые хвалились тем, что сами зажигали свои дома…

Жители Москвы были раздражены первые; узнавши еще до взятия Смоленска, что ничего не было пощажено неприятелем, что дома были разграблены, женщины поруганы, храмы Божии обращены в конюшни. Они поклялись отмщением на гробах отцов своих, и истребили все, что могли. Более десяти тысяч вооруженных солдат побито крестьянами в окрестностях Москвы; сколько еще мародеров и людей безоружных пало под их ударами! Они зажигали свои дома для погубления солдат, запершихся в оных.

Вот подробности, собранные мною по моему возвращению в Москву; я их представлю здесь точно в таком виде, в каком они ко мне пришли. Я не был свидетелем оных, ибо находился в отсутствии.

В Москве есть целая улица с каретными лавками, и в которой живут одни только каретники. Когда армия Наполеона вошла в

город, то многие Генералы и Офицеры бросились в этот квартал, и, обошедши все заведения оного, выбрали себе кареты и заметили их своими именами. Хозяева, по общему между собою согласию, не желая снабдить каретами неприятеля, зажгли все свои лавки.

Один купец, ушедший со своим семейством в Ярославль, оставил одного своего племянника иметь печность о его доме. Сей последний, по возвращении Полиции в Москву, пришел объявить ей, что семнадцать мертвых находятся в погребе его дяди, и вот как он рассказывал о сем происшествии. На другой день входа неприятеля в город четыре солдата пришли к нему; осмотря дом, и не нашедши ничего с собой унести, сошли в погреб, находящийся под оным, нашли там сотню бутылок вина, и давши разуметь знаками племяннику купца, чтобы он поберег оныя, возвратились опять к вечеру, в сопровождении тринадцати других солдат, зажгли свечи, принялись пить, пить и потом спать. Молодой Русской купец, видя их погруженных в пьяной сон, вздумал их умертвить. Он запер погреб, завалил его каменьями и убежал на улицу. По прошествии нескольких часов, размысливши хорошенько, что эти семнадцать человек могли бы каким-нибудь образом освободиться из своего заточения, встретиться с ним и его умертвить, он решился зажечь дом, что и исполнил посредством соломы.

Вероятно, что эти несчастные семнадцать человек задохлись от дыму. Два человека, один дворник г-на Муравьева, а другой купец, были схвачены при зажигании своих домов и расстреляны.

С другой стороны, Москва, будучи целью и предметом похода Наполеона в Россию, разграбление сего города было обещано армии. После взятия Смоленска солдаты нуждались в жизненных припасах и питались иногда рожью в зернах и лошадиным мясом; очень естественно, что сии войска, пришедши в обширный город, оставленный жителями, рассыпались по домам для снискания себе пищи и для грабежа. Уже в первую ночь по занятии Москвы большой корпус лавок, находящихся против Кремля, был весь в пламени. Впоследствии, и даже беспрерывно, были пожары во многих частях города; но в пятый день ужасный вихрь разнес пламень повсюду, и в три дня огонь пожрал семь тысяч шестьсот тридцать два дома. Нельзя ожидать большой предосторожности со стороны солдат, которые ходили ночью по домам с свешными огарками, лучиною и факелами; многие даже раскладывали огонь посредине дворов, дабы греться. Денной приказ, дававши право каждому полку, расположенному на биваках близь города, посылать назначенное число солдат для разграбления домов уже сожженных, было, так сказать, приглашением или позволением

умножить число оных. Но то, что боле всего утверждает Русских во мнении, что Москва была сожжена неприятелем, есть весьма бесполезное взорвание Кремля. Вот все, что я могу сказать о великом происшествии Московского пожара, которое тем еще более показалось удивительным, что нет ему примера в Истории».

Итак, Ростопчин пишет, что никакого плана поджога Москвы у него не было, а были лишь три причины, воспламенявших беспрестанно его рвение: «это была слава моего Отечества», «важность поста, препорученная мне Государем» и «благодарность к милостям Императора Павла I-го». Что же касается пожара, то виноват в нем все тот же Наполеон, вооруживший руку графа «зажигательным факелом, которым угодно было для собственных своих выгод вооружить мою руку».

Есть один интересный момент в этой книге: «Столица вновь выстроилась, — доказательство, что ее жители не разорились. Она заключает в себе столько же жителей, как и прежде пожара, с тою только разницей, что все выстроено из камня. Великолепные Дворцы, улицы совершенно новые и превосходные публичные площади делают ее прекраснейшим городом в Европе, благодаря попечению и отеческим заботам ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА; и Россия, вместо того, чтобы отстать целым веком назад, узнала свои силы, свое богатство и чрезвычайные свои пособия». Тем самым Федор Васильевич как бы отвечает неблагодарным москвичам, выжавшим его из Москвы: действительно, ведь отстроились же заново, значит, есть на что строить! Здесь вспоминается незабвенный грибоедовский Скалозуб с его девизом «Пожар способствовал ей много к украшенью!». В данном случае Ростопчин и Скалозуб — единомышленники.

Заканчивается книга откровений так: «Таков был 1812 год! Хотя Россия сделала большие потери в людях, но вместе с тем приобрела уверенность, что никогда не может быть покорена, и скорее будет гробом для врагов, чем послужит завоеванием. Ее обитатели, слишком малообразованные для эгоистов, будут уметь защищать свое Отечество, нимало не тщеславясь своею храбростью. Наполеон, в сем поход, успех которого сделал бы его обладателем всей Европы, пожертвовал отборными воинами союзных армий и храбрыми Французами, сражавшимися в продолжение двенадцати лет для честолюбия того, которого вознесли они даже на трон. Триста тысяч пало в сражениях от переходов и болезней, и сто тысяч погибло от голода, стужи и недостатка. Я сказал правду, и одну только правду. Граф Федор Ростопчин. Париж, 5 Марта 1823».

Но это не единственное произведение графа того года, свои критические мысли относительно французской нации Ростопчин

сформулировал в записке «Картина Франции 1823 года», направленной автором Александру, который вряд ли в ней нуждался. Читая записку, приходишь к выводу, что в мировоззрении Федора Васильевича ничего не изменилось: нет на свете более худшего народа, чем французский: «Француз — самое тщеславное и корыстное существо в мире» и т. п. Между тем Федор Васильевич прожил среди ненавистных галлов почти семь лет!

Ростопчин вернулся на родину в середине 1823 года. В Москве уже успели позабыть о претензиях к бывшему генерал-губернатору. Многие чиновники пришли засвидетельствовать ему свое почтение. Узнававший Ростопчина простой народ на улицах подходил к нему, жалел своего состарившегося бывшего градоначальника. В декабре того же года было удовлетворено и его прошение об отставке с государственной службы.

Последние годы в жизни графа были полны потерь. К сожалению, семья не могла стать поддержкой в борьбе с тяжелыми жизненными обстоятельствами. Да и семьи-то как таковой уже не было. Немало хлопот доставляла Ростопчину его жена, Екатерина Петровна (1775–1859). Да он и не ожидал от нее понимания — они стали чужими людьми. Началось это еще в 1806 году, когда графиня перешла в католичество, а затем пыталась обратить в чужую веру детей: трех дочерей, Наталью, Софью и Елизавету, и двух сыновей, Андрея[83] и Сергея.

Сын Сергей, к слову сказать, служил в армии, участвовал в военных походах 1813–1814 годов, но моральной устойчивостью не отличался. Много пил, играл в карты, постоянно пребывал в долгах. Опекавший Сергея во время войны Закревский всячески пытался наставить его на путь истинный: «Не желаю опечалить г. Федора Василича при приезде сына его в Москву; нужным считаю вас уведомить Любезный друг при случае сказать Г. Ф. В. что лечение сие сыну его необходимо и уплата долгов также кои по мнению моему простираются до 25 т., а может стать и больше; сын может откровеннее ему во всем признаться»[84].

В дальнейшем Сергей Ростопчин не радовал отца, расстроив свое здоровье постоянными кутежами. Находясь после 1815 года за границей, он попал в долговую тюрьму из-за отказа отца оплатить очередной его долг в 75 тысяч рублей.

Ростопчин боролся с супругой за влияние на детей. Но и здесь сил ему не хватало. В 1825 году умерла его младшая дочь Елизавета. Перед смертью дочери мать почти насильно склонила ее к принятию католической веры. Ростопчин, узнав об этом, уже после кончины Елизаветы упросил московского митрополита, несмотря на открывшиеся обстоятельства, похоронить ее на

православном кладбище.

«Ростопчина вела пропаганду; она давала разные католические книги, не просто благочестивые. Ростопчина основала при Московской католической церкви богадельню, которая до сих пор существует. Я слышала от нее самой, что в доме их в 1812 году у нее было много колибри в оранжерее, которых французы зажарили и съели. Дом их был на Лубянке и очень хорош и великолепен. Мы в 1837 году обедали у нее и бывали несколько раз», — вспоминали мать и дочь Елагины.

Нужно ли говорить о том, каким тяжким бременем лежала на душе у Ростопчина невозможность устройства своей собственной семьи по «русским правилам», жить по которым он наставлял всю остальную Россию. Неприязнь к французам была вызвана и тем обстоятельством, что именно французские проповедники влияли на его близких больше, чем он сам. Это и популярный французский мыслитель Жозеф де Местр, и аббат Адриен Сюрюг, старший священник французской церкви Святого Людовика на Лубянке (аккурат с домом Ростопчиных!), и прочие, кто, несмотря на свое французское происхождение, был частым гостем их семьи. А что же сам граф? Он призывал изгонять из России французов, а из собственного дома не волен был их выдворить.

Здоровье Ростопчина становилось все хуже. Он реже и реже выезжал в свет. Из «Последних страниц, писанных графом Ростопчиным» в конце ноября 1825 года, узнаем мы о подробностях московской жизни, изменившейся с получением известия о смерти Александра. Принимать присягу Константину в Успенский собор Ростопчин не поехал, сославшись на нездоровье.

Взгляд его на происходящие вокруг события был по-прежнему скептичен: «Народ равнодушен и несколько доволен, ибо ожидаются милости при коронации. Видно несколько горести напоказ… Дворянство, раздражаемое, разоренное и презираемое, довольно. Военные надеются, что их менее будут мучить».

За месяц до своей смерти Ростопчин узнал о восстании на Сенатской площади, высказавшись по этому поводу вполне остроумно: «В эпоху Французской революции сапожники и тряпичники хотели сделаться графами и князьями; у нас графы и князья хотели сделаться тряпичниками и сапожниками».

Скончался Федор Васильевич Ростопчин 18 января 1826 года, похоронили его на Пятницком кладбище Москвы.

Начав историю жизни Ростопчина с его автобиографических записок, ими по праву можно было бы ее и закончить: «Я ожидаю смерти без боязни и без нетерпения. Моя жизнь была плохой мелодрамой с роскошной обстановкой, где я играл героев,

тиранов, влюбленных, благородных отцов, но никогда лакеев».

Кем же был Федор Васильевич Ростопчин в большей степени — политическим деятелем или писателем? И почему уже в наше время к личности графа обнаружился столь большой интерес? Переиздаются его произведения, о нем пишут диссертации, проводят научные исследования. Современные апологеты графа считают, что лишь сегодня появилась возможность дать истинную оценку его жизни, которая была невозможна ранее по причине существовавших «исторических реалий».

Долгое время отношение общества к Ростопчину было основано на позиции Льва Толстого, с презрением относившегося к графу. Вот почему неправильным было бы считать «Войну и мир» исключительно литературным произведением: это еще и результат огромного, титанического труда, проделанного Толстым по изучению исторических источников того периода. Писатель утверждал, что описывая деятельность московского градоначальника в романе «Война и мир», «везде, где в моем романе говорят и действуют исторические лица, я не выдумывал, а пользовался материалами».

Ростопчин стал для Толстого олицетворением крикливого и показного патриотизма, проявлявшегося в его высокопарных речах и шумливых афишах. Вместе с тем патриотизму Ростопчина писатель противопоставил скрытое чувство патриотизма русских людей, которое обнаруживалось, когда они лицом к лицу сталкивались с врагом и отказывались вступать с ним в какие-либо соглашения, пока он не будет изгнан из пределов родины[85].

Одним из немногих, вступившихся за Ростопчина, был Петр Вяземский, посчитавший, что Толстой исказил образ Ростопчина. Вяземского поблагодарил сын Ростопчина за то, что критик «заступился за память осмеянных и оскорбленных отцов наших» и восстановил «истину» о его отце.

Вяземскому принадлежит и наиболее точная характеристика Ростопчина: «Между тем в графе Ростопчине было несколько Ростопчиных. В Ростопчине, сверхрусским свойственной восприимчивости и гибкости, была еще какая-то особенная и крепко выдающаяся разноплеменность. Он был коренной русский, истый Москвич, но и кровный Парижанин. Духом, доблестями и предубеждениями был он того закала, из которого могут в данную минуту явиться Пожарские и Минины; складом ума, остроумием был он, ни дать ни взять, настоящий Француз. Он французов ненавидел и ругал на чисто-французском языке; он поражал их оружием, которое сам у них заимствовал. В уме его было более блеска, внезапности, нежели основательности и

убеждения».

Кажется неверным и другое мнение о том, что не будь Ростопчин московским градоначальником, то в памяти потомков он остался бы главным образом как литератор. Его сочинительская деятельность не отделима от государственной. Что бы он ни делал на службе — все спешил воплотить на бумаге. И наоборот, выраженные в рассказах и очерках консервативные взгляды опробывал он на деле. Правда, это не всегда приводило к положительным результатам.

С интересом читаются его «Записки о 1812 годе», где он дает точные психологические характеристики царским вельможам и министрам Александровской эпохи, поражающие своей убийственностью. Он чем-то напоминает Глумова с его записной книжкой из пьесы А. Н. Островского «На всякого мудреца довольно простоты», что выдает в нем завышенную самооценку, неудовлетворенные амбиции.

О ком бы ни писал Федор Васильевич — ни о ком не сказал он в целом хорошего слова. Как бы ни хорош был человек, а все равно найдет он у него маленький недостаток, который подобно ложке дегтя испортит вкус бочки словесного меда.

Вот, например, его характеристика московского архиепископа Августина: «Человек, имевший большие познания в греческом и латинском языках. Он обладал крупным ораторским талантом и одарен был красноречием кротким и приятным. Благочестия у него было немного. В обществе он выказывался человеком светским, а духовенство уничижал своей грубостью. Он не был равнодушен к прекрасному полу и обладал большим числом племянниц, которые видались с ним запросто, во всякие часы». Кажется, что граф бы и царя мог разделать под орех.

«При других обстоятельствах и другой обстановке жизни, — пишет Вяземский, — мы могли бы иметь в Ростопчине писателя замечательного и первостепенного, подражателя и исполнителя школы Фонвизина. Все написанное Ростопчиным, начиная с путевых записок 1786 г. до позднейших очерков пера его, носит на себе неизгладимый и всегда неизменный Ростопчинский отпечаток. Тут не ищи автора, — а найдешь человека…Искать его надобно особенно в письмах его. Переписка его с графом С. Р. Воронцовым — это горячий памфлет; но памфлеты обыкновенно и пишутся сгоряча на нескольких страницах, на известное событие, или по известному вопросу. А здесь памфлет почти полувековой и ни на минуту не остывающий. Живое отражение современных событий, лиц, городских слухов и сплетней, иногда верное, меткое, часто страстное и вероятно не вполне справедливое, придает этой переписке, особенно у нас,

характер совершенно отличный. Нельзя оторваться от чтения, хотя не всегда сочувствуешь писавшему; нередко и осуждаешь его. Многому научишься из этой переписки, за многое поблагодаришь; но общее, заключительное впечатление несколько тягостно. Бранные слова так и сыплются: он за ними в карман не лезет; они натурально так и брызгают с пера. Отрывок его: «Последний день Екатерины II и первый день царствования императора Павла», это яркая, живая, глубоко и выпукло вырезанная на меди историческая страница. Не знаю, оставил ли он по себе поденные памятные записки свои; но, если они были написаны таким мастерским пером, как выше-помянутый отрывок, с тою же живостью и трезвостью, то нельзя не позавидовать потомкам, которые, в свое время, могут прочесть эту книгу».

Значение Ростопчина в том, что он явился наиболее выдающимся выразителем мнения вполне определенной части российского общества. По сути, Москву он и возглавил как яркий представитель почвеннического крыла политической элиты Российской империи. А некоторые его сочинения, в которых «язык часто неправилен, слог не обработан, не выдержан» *(Вяземский),* тем не менее стали для потомков вещами мемориальными.

Ростопчин писал, что никогда лакеем не был. И в этом он не покривил душой.

Граф был из той редкой породы политиков, что всегда отстаивали свое мнение, невзирая на лица. Но это же отсутствие гибкости и превратило его политический опыт в забег на короткие дистанции: пять лет при Павле, два года при Александре. А он-то рассчитывал на большее, не считаясь с политической конъюнктурой, которая и является главным двигателем карьерного роста во все времена.

Просидев десять лет в отставке, он потерял время, оставшись все тем же вельможей павловской эпохи. Его взгляд на мир и убеждения не поменялись. В 1812 году Ростопчин вернулся, но эпоха-то была уже другая! Похоже, граф не понял этого и продолжал с упорством, достойным лучшего применения, не только отстаивать свои принципы, но и воплощать их на практике. Как бы в наказание за это Ростопчин был единолично объявлен виновником пожара Москвы. Хотя, как мы могли убедиться, не меньшую ответственность несет за это и Кутузов. Но Кутузов скончался через год после окончания Отечественной войны, в 1813 году, и тем самым получил право войти в категорию лиц, о которых и плохо не говорят, и как победителей не судят.

Зато осудил его Ростопчин, оказавшийся козлом отпущения и потому не скрывавший своей неприязни к главнокомандующему: «Этот ген. Кутузов, тело которого похоронено в петербургской соборной церкви, которому полагается воздвигнуть памятник, которого рискнули называть спасителем России, — имел в 1812 году 68 лет от роду. В турецкую войну, когда он был еще майором, неприятельская пуля пробила его череп, позади глаз; рана эта, названная беспримерной, потому что он вылечился и сохранил зрение, сделала его известным с благоприятной стороны. Этот человек был большой краснобай, постоянный дамский угодник, дерзкий лгун и низкопоклонник. Из-за фавора высших он все переносил, всем жертвовал, никогда не жаловался и, благодаря интригам и ухаживанью, всегда добивался того, что его снова употребляли в дело, в ту самую минуту, когда он считался навсегда забытым»[86].

Вполне возможно, что на месте Кутузова в Казанском соборе мечтал лежать сам Федор Васильевич, а ему нашли место лишь на Пятницком кладбище Москвы. За несколько лет до смерти ненависть и злоба к Кутузову несколько поутихли: «Ненависть между мною и Князем Кутузовым никогда не существовала, да и время не было заниматься оной. Мы не имели никаких выгод обманывать друг друга, и не могли трактовать вместе о сожжении Москвы, ибо никто о том и не думал. Правда, что во время моего с ним свидания у заставы он уверял меня о намерении дать сражение, а вечером, после военного совета, держанного на скорую руку, он прислал ко мне письмо, в котором уведомлял, что вследствие движения неприятеля, он видит, к сожалению, себя принужденным оставить Москву, и что идет расположиться со своей армией на большой Рязанской дороге»[87].

Государственная невостребованность Ростопчина и породила его публицистическую активность. Кажется, что управляя Москвой, он даже терял ориентацию в жизненном пространстве: толи он государственный чиновник, толи пламенный народный трибун. В этой связи вспоминаются слова К. Н. Батюшкова, сказавшего еще по поводу «Мыслей вслух на Красном крыльце»: «Любить отечество должно… но можно ли любить невежество?..»

А эпитафию Ростопчин сочинил себе сам:

Здесь нашел себе покой,
С пресыщенной душой,
С сердцем истомленным,
С телом изнуренным,
Старик, переселившийся сюда.
До свиданья, господа!

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Ф. В. РОСТОПЧИНА

1763, 12 марта (по другим данным, 12 марта 1765 года) — в селе Козьмодемьянское Ливенского уезда Орловской (в то время Воронежской) губернии родился Федор Васильевич Ростопчин. Получил домашнее воспитание.

1775, 25 сентября — зачислен сержантом в лейб-гвардии Преображенский полк.

1786–1788 — находился за границей, в Германии, Франции, Англии; слушал лекции в западноевропейских университетах.

1789–1790 — участник Русско-турецкой войны 1788–1790 годов, служил под командованием А. В. Суворова, получил в подарок от полководца его походную палатку.

1796, 7 ноября — пройдя все ступени военной карьеры, удостоен чина генерал-майора.

1796–1801 — после воцарения Павла I стал его фаворитом и ближайшим сподвижником. До убийства императора в 1801 году руководил Военным департаментом и военно-походной канцелярией императора, почтовым ведомством, был назначен первоприсутствующим членом в Коллегии иностранных дел, членом совета при императоре и т. д.

1799 — возведен в графское достоинство, награжден орденом Святого Андрея Первозванного.

1801, 18 февраля — отправлен в отставку и до 1810 года занимался преобразованием сельского хозяйства в своем подмосковном имении Вороново, совершенствуя методы и орудия сельскохозяйственного производства. Полученный опыт обобщил в написанной им книге «Плуг и соха. Писанное степным дворянином».

1806 — сочинил антифранцузские произведения: «наборную повесть из былей, по-русски написанную» под названием «Ох, французы!» и «Мысли вслух на Красном крыльце Российского дворянина Силы Андреевича Богатырева».

1810, 24 февраля — возвращен на государственную службу императором Александром I, назначен обер-камергером двора Е.И.В.

1812, 24 мая — назначен московским гражданским губернатором. *29 мая* — военный губернатор Москвы с переименованием в генерала от инфантерии.

17 июля — назначен главнокомандующим в Москве; до 1

сентября 1812 года, когда М. И. Кутузов принял решение об оставлении Москвы, готовил город к обороне и отражению французского нашествия.

1 июля — написал первую афишу — «Дружеское послание главнокомандующего в Москве к жителям ее».

30 августа — написал воззвание к москвичам с призывом собраться на Три горы и дать бой французам, однако сам в означенное время не явился, после чего десятки тысяч собравшихся разошлись. В Москве начались грабежи, разбои и мародерство.

2 сентября — приказал полицейским поджечь Москву: склады, лавки, дома, учреждения, заранее распорядившись вывезти из города большую часть пожарных труб. Во дворе своего дома на Большой Лубянке (№ 14) приказал казнить приведенного туда купеческого сына М. Верещагина, после чего спешно покинул Москву.

24 октября — вернулся в Москву из эвакуации и начал налаживать жизнь в городе.

1814, 30 августа — отправлен в отставку с должности главнокомандующего в Москве, назначен членом Государственного совета.

1815 — выехал за границу, путешествовал по Европе, до 1823 года жил во Франции, где написал книгу «Правда о пожаре Москвы» (на французском языке).

1826, 18 января — скончался в Москве, похоронен на Пятницком кладбище.

БИБЛИОГРАФИЯ

Бестужев-Рюмин А. Д. Краткое описание происшествиям в столице Москве в 1812 году. М., 1859.

Борсук Н. В. Ростопчинские афиши: Тексте примечанием и предисловием. СПб., 1912.

Братья Булгаковы: Письма. Т 1–3. М., 2010.

Воспоминания очевидца о пребывании французов в Москве в 1812 году. М., 1862.

Горностаев М. В. Генерал-губернатор Москвы Ф. В. Ростопчин: страницы истории 1812 года. М., 2003.

Гудзий Н. К. Лев Толстой: Критико-биографический очерк. 3-е изд., перераб. и доп. М.» 1960.

Дело Верещагина // *Щукин П. И.* Бумаги, относящиеся до Отечественной войны 1812 года. Ч. 8. М., 1904.

КулюгинА. И. Правители России. М., 2006.

Кондратенко А. «Профессор хлебопашества» Федор Ростопчин // Орловская правда. 2003. 15 августа.

М. И. Кутузов. Сборник документов. М., 1954. Т. 4.

Мещерякова А. О. Федор Васильевич Ростопчин: у основания консерватизма и национализма в России. Воронеж, 2007.

Минаков А. Ю. Роль событий 1812 г. в становлении русского консерватизма // Консерватизм в России и Западной Европе: Сборник научных работ. Воронеж, 2005.

Михайловский-Данилевский А. И. Описание Отечественной войны в 1812 году. Ч. 1–4. М., 1839.

Российский архив: История Отечества в свидетельствах и документах XVIII–XX вв.: Альманах. М., 2005.

Ростопчин Ф. В. Правда о пожаре Москвы. М., 1823.

Ростопчин Ф. В. Ох, французы! М., 1992.

Тарле Е. В. Нашествие Наполеона на Россию. 1812 год. М., 1992.

Толстой Л. Н. Война и мир. М.; Л., 1960. Т. 3–4.

1812 год в материалах и документах. М., 1995.

Хлесткий В. М. «Секретное оружие» // Московский журнал. 2011. № 12. *Чичагов П. В.* Записки. М., 2002.

Шильдер Н. К. Александр I и его царствование: В 4 т. СПб., 1897.

Шильдер Н. К. Император Павел Первый: Историко-биографический очерк. СПб., 1901.

Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона: В 12 т. М., 1991–1996.

ДМИТРИЙ ГОЛИЦЫН: НАСЛЕДНИК ПИКОВОЙ ДАМЫ

Друг человечества и твердый друг закона,
Смиренный в почестях и скромный средь похвал,
Предстатель ревностный за древний град у трона.

В. А. Жуковский.
Д. В. Голицыну. 1833

Рассказ о князе Дмитрии Владимировиче Голицыне мы начнем с характеристики, данной его градоначальству Александром Пушкиным. Сочиняя «Путешествие из Москвы в Петербург» в 1833–1834 годах, наш великий поэт отмечал прогресс, достигнутый за годы генерал-губернаторства Голицына: «Москва, утратившая свой блеск аристократический, процветает в других отношениях: промышленность, сильно покровительствуемая, в ней оживилась и развилась с необыкновенною силою. Купечество богатеет и начинает селиться в палатах, покидаемых дворянством. С другой стороны, просвещение любит город, где Шувалов основал университет по предначертанию Ломоносова»[88].

Пушкин не слишком жаловал российских чиновников, но Голицына выделял среди других. Значит, было за что.

Талантливый полководец, отмеченный Суворовым и Кутузовым, да и просто храбрый человек, заботливый сын, просвещенный чиновник, любимый народом градоначальник, отстроивший новую Москву, — все это можно сказать о Дмитрии Голицыне.

Кажется, что Голицын прожил не одну, а несколько жизней. Столько интересных событий произошло в его судьбе, что хватило бы на несколько биографий. Начнем, как водится, с рождения, случившегося 29 октября 1771 года. Появился на свет будущий градоначальник в один год с героями Отечественной войны 1812 года Милорадовичем и Николаем Раевским. Военное будущее его, определенное принадлежностью к поколению выдающихся полководцев, было предрешено.

В судьбе Дмитрия Голицына скрестились два славных рода,

немало послуживших на благо нашего отечества. Наиболее известным и знатным был род Голицына по отцу, ведь Голицыны — один из самых многочисленных и богатейших дворянских родов Российской империи. Происхождение свое они ведут от великого князя Литовского Гедимина, потомком которого в семнадцатой степени по мужскому колену и был герой нашего повествования (недаром на фамильном гербе Голицыных изображена часть литовского герба — всадник на белом коне с мечом в руке).

По фамильному преданию, внук Гедимина, звенигородский князь Патрикей, в начале XV века поступил на службу к великому князю Василию Дмитриевичу, который выдал свою дочь за сына Патрикея, Юрия. Внук Юрия Патрикеевича, князь Иван Васильевич Булгак, имел четырех сыновей, один из которых Михаил Иванович Булгаков-Голица стал боярином при великом князе Московском Василии Ивановиче. Многочисленные потомки Голицы и образовали ветвистое дерево рода Голицыных.

На протяжении всей истории России Голицыны всегда оказывали активное влияние на многие судьбоносные события, непосредственно участвовали в них. В роду было 22 боярина, три окольничих, не считая фельдмаршалов и прочих сановников. Князья Голицыны породнились с шестнадцатью родами, представителей которых в XVII столетии возводили в боярский чин сразу из стольников, через чин окольничего.

Голицыны не раз доказывали свою преданность великим князьям и русским царям. Были среди них и полководцы, и государственные деятели, и ученые, и писатели. Но, пребывая у подножия властного Олимпа, они получали не только по заслугам, но и по шапке. Так, прадед Голицына, Борис Алексеевич Голицын был воспитателем Петра I, известным как «дядька царя», пользовавшимся безграничным его доверием, особенно во время отсутствия царя в Москве. Мы, кстати, совсем не случайно вспомнили именно о Борисе Алексеевиче Голицыне, его внук Сергей Алексеевич Голицын был генерал-губернатором Москвы в 1753–1758 годах, за 62 года до Дмитрия Голицына.

Соответствующей была и благодарность монархов — вотчины, земли, деньги, ордена и прочие сопутствующие сытой жизни приметы. Зато другой родственник — Василий Голицын, сподвижник царицы Софьи, поставивший не на ту карту, бесславно закончил свои дни в ссылке. Род Голицыных и по сей день «ветвится».

По матери Дмитрий Голицын был потомком куда менее знатного рода столбовых дворян Чернышевых, основателем которого считается польский шляхтич Михаил Чернецкий (в

некоторых источниках Черницкий), сын которого Иван в 1493 году поступил на русскую службу к великому князю Василию Ивановичу и записался Чернышевым.

Чернышевы принадлежали к так называемой «новой знати» и выдвинулись гораздо позже Голицыных, лишь при Петре I. Одним из сподвижников царя-реформатора, поделившего Россию на губернии, был его одногодка Григорий Петрович Чернышев (1672–1745), прошедший путь от денщика до генерал-аншефа, военачальника и государственного деятеля, за свое усердие в 1714 году возведенный в графское достоинство Российской империи. «Из грязи в князи» — такая поговорка напрашивается, когда читаешь его биографию, одна из страниц которой также посвящена Москве: Григорий Чернышев был генерал-губернатором Первопрестольной в 1730–1732 годах.

Сыновья его тоже были людьми достойными, один из них, Захар Григорьевич Чернышев (1722–1784), был генерал-губернатором Москвы в 1782–1784 годах, за 100 лет до Дмитрия Голицына (учитывая послужной список его предков, князя можно считать потомственным генерал-губернатором Москвы!). Другой сын, Иван Григорьевич, был президентом Адми-ралтейств-коллегии и генерал-фельдмаршалом по флоту, а третий сын, Петр Григорьевич, стал дипломатом, действительным тайным советником и сенатором. Его-то дочь, Наталья Петровна Чернышева, и является матерью Дмитрия Голицына.

В родовом имении Чернышевых на берегах реки Ламы, в селе Ярополец Волоколамского уезда Московской губернии и родился наш герой. Место рождения Дмитрия Голицына очень символично — ведь когда-то его называли ни больше ни меньше как «Русский Версаль». В настоящем Версале Голицыну предстоит побывать не раз и гораздо позже (Франция — вообще особая линия в его биографии).

Первым владельцем усадьбы (с 1717 года) был прадед Дмитрия Голицына, тот самый Григорий Петрович Чернышев, граф, сенатор, кавалер ордена Святого Андрея Первозванного, затем — его сын генерал-аншеф Захар Григорьевич Чернышев. При нем-то в середине 1760-х годов и возник под Москвой российский Версаль. Приложили свои золотые руки к этому роскошному творению архитекторы Баженов и Казаков.

Всё во дворце Чернышевых говорило об амбициях его хозяев. Прежде всего, смешение архитектурных стилей — раннего классицизма и французского рококо, позволившее создать роскошный и необычный памятник усадебного зодчества второй половины XVI11 века. Такой дворец и вправду мог бы лучше смотреться где-нибудь на берегу Луары, а не подмосковной Ламы.

На внешнем облике дворца ярко и сочно отразилась эстетика той поры с ее глубокими масонскими корнями, а потому на дошедших до нас зданиях екатерининской эпохи редко когда не увидишь масонскую символику — кресты и причудливые орнаменты. Так было и здесь, но тем не менее в собственной оригинальной форме, позволившей современникам сравнивать дворец с резиденцией французских королей, раскинувшейся в окрестностях Парижа.

Изюминкой двухэтажного дворца была портретная галерея, украшенная изображениями предков Дмитрия Голицына по материнской линии. Дополняли общее впечатление отмечавшие парадный въезд в усадьбу две изящные башни с винтовыми лестницами.

А за порогом дворца — прекрасный парк с оранжереями, прудами и беседками. Были здесь и «храм» в честь Екатерины II, свой театр, мечеть с минаретами, построенная в честь победы над турками в 1774 году. Вот в каких прекрасных условиях подрастал наш герой.

До нашего времени, к сожалению, в изуродованном виде дошел уникальный памятник конца XVIII века — храм-мавзолей графа Захара Чернышева. Именно в церкви иконы Казанской Божьей Матери (1798) и нашел свое последнее пристанище двоюродный дед Дмитрия Голицына. Уникальность церкви — в двух куполах, украшающих ее свод. Таких храмов осталось в России немного. К сожалению, в последние десятилетия храм стал объектом вандализма. Серьезно пострадало и монументальное надгробие графа. Чернышевы владели усадьбой до 1917 года. Рядом с ними была и усадьба Гончаровых[89].

В те благословенные времена было такое правило: «Поэтом можешь ты не быть, но офицером быть обязан». По обычаю младенцем Дмитрия Голицына записали на военную службу в лейб-гвардии Преображенский полк. И отец, и мать видели будущее своего сына, связанное исключительно с армией. Обычай этот оказался для него счастливым.

Родился Дмитрий в родовом имении матери, а не отца, и это говорит о многом. Отец будущего генерал-губернатора Москвы, бригадир в отставке Владимир Борисович Голицын (1731–1798) звезд с неба не хватал, большой карьеры при дворе не сделал и в отличие от своих предков в ближайшие сподвижники трона российского не попал. Но с другой стороны, и опала его миновала. Служил он на дипломатическом поприще.

Лично знавшая В. Б. Голицына Янькова делилась своими впечатлениями о нем: «Очень простоватый был человек с

большим состоянием, которое от дурного управления было запутано и приносило плохой доход»[90]. Действительно, состояние его было большим, но расстроенным. Зато у него был княжеский герб, более чтимый его супругой, чем им самим.

Наталья Петровна Голицына (1741/1744—1837), урожденная Чернышева, вышла замуж в 1766 году, когда была фрейлиной при дворе Екатерины II, немало поспособствовавшей этому браку. Императрица заметила ее в одном из театральных представлений домашнего театра графа П. Б. Шереметева и приблизила к себе, вскоре присмотрев фрейлине жениха. Молодая графиня участвовала в танцевальных турнирах, так называемых «каруселях», за что была лично отмечена специальной золотой медалью, изготовленной в одном экземпляре (ныне хранится в Эрмитаже). И хотя вскоре после замужества она удалилась от двора, ее принято называть фрейлиной при пяти императорах.

С первых дней замужества Наталья Петровна показала свой характер. Женщина она была властная и не по годам деловая, в семейном оркестре играла первую скрипку, никому не давая спуску — ни детям, ни мужу. Сразу взяв в руки все хозяйство, она значительно поправила семейные дела, продав половину имений мужа, она расплатилась таким образом с долгами, чтобы больше их не делать.

Многолетняя власть ее (а прожила она более девяноста лет!) простиралась далеко за пределы семьи. «В городе она властвовала какою-то всеми признанною безусловною властью. После представления ко двору каждую молодую девушку везли к ней на поклон; гвардейский офицер, только надевший эполеты, являлся к ней, как к главнокомандующему», — свидетельствовал граф В. А. Соллогуб[91].

Как тут не вспомнить строки из стихотворения Василия Львовича Пушкина, обращенные к Голицыной:

Повелевала ты нашими судьбами!
Мы все твои, тобою мы живем…

Однако Наталья Петровна уже второй век имеет известность не как чья-то жена или мать. Ведь она удостоилась чести, и какой! Столетия пройдут, а под портретами графини в музеях и книгах будут отмечать: «Пиковая дама».

Да, некоторые эпизоды ее жизни послужили Александру Пушкину основой для создания образа зловещей старухи, доведшей бедного Германна до цугундера. «Моя Пиковая дама в большой моде. Игроки понтируют на тройку, семерку и туза. При дворе нашли сходство между старой графиней и кн. Н<атальей>

П<етровной> и, кажется, не сердятся», — записал поэт в дневнике 7 апреля 1834 года[92]. Старая графиня — это и есть мать Дмитрия Голицына.

Фрейлина Екатерины II просто не могла быть заурядной личностью и невзрачной женщиной. Многочисленные портреты, написанные придворными западноевропейскими художниками, — этому свидетельство. На этих портретах у красавицы нет еще ни усов, ни бороды, из-за которых Наталью Петровну прозвали «Усатой княгиней». Эти признаки появились у нее уже в преклонные годы.

Не хуже иных прославленных живописцев нарисовал образ Голицыной Пушкин в «Пиковой даме»: «Графиня… была своенравна, как женщина, избалованная светом, скупа и погружена в холодный эгоизм, как и все старые люди, отлюбившие в свой век и чуждые настоящему. Она участвовала во всех суетностях большого света, таскалась на балы, где сидела в углу, разрумяненная и одетая по старой моде, как уродливое и необходимое украшение бальной залы…»[93]

Жили Голицыны в Санкт-Петербурге, на углу Малой Морской и Гороховой улиц. До сих пор этот особняк знают как дом Пиковой дамы. Сюда и съезжался весь светский Петербург. А в день именин княгини Голицыной — даже царская фамилия в полном составе. И лишь перед императором она вставала, остальных же принимала сидя, удостаивая кого парой слов, а кого и просто кивком своей напудренной царственной головы.

Из переписки братьев Булгаковых, богатого источника сведений о житье-бытье в российских столицах, узнаем интересные подробности о праздновании в 1821 году именин Натальи Петровны: «Вчера было рождение старухи Голицыной. Я ездил поутру ее поздравить и нашел там весь город. Приезжала также императрица Елизавета Алексеевна. Вечером опять весь город был, хотя никого не звали. Ей вчера, кажется, стукнуло 79 лет, а полюбовался я на ее аппетит и бодрость… Нет счастливее матери, как старуха Голицына; надо видеть, как за нею дети ухаживают, а у детей-то уже есть внучата»[94].

Вот к детям мы и вернемся. Помимо младшего сына, Дмитрия Владимировича, у супругов Голицыных было четверо детей: Петр (1767–1778), Борис (1769–1813), Екатерина (1770–1854) и Софья (1775–1845). Получив образование в Западной Европе (ее отец, как и муж, был дипломатом), Наталья Петровна не жалела средств на воспитание детей, обучая их прежде всего иностранным языкам. А потому и Дмитрий, и его старший брат Борис на французском говорили лучше, чем на родном языке. Впрочем, этим своим качеством они не слишком отличались от

своих сверстников-дворян. Во времена позднего екатерининского ренессанса приверженность всему французскому была нормой. Воспитанием Дмитрия занимался, естественно, француз (но «не убогий»), с обычной французской фамилией Оливье.

Можно себе представить, в каких строгих условиях росли и воспитывались дети, если даже Дмитрий Голицын, будучи уже прославленным героем Отечественной войны и генерал-губернатором Москвы, не имел права сесть в присутствии матери без ее на то дозволения. «Дети ее несмотря на преклонные уже лета и высокое положение в свете относились к ней не только с крайнею почтительностью, но чуть ли не подобострастно», — узнаем у того же Соллогуба[95].

Мать не одобрила и его женитьбу на Татьяне Васильчиковой, посчитав ее не парой своему сыну. «Князь Дмитрий Владимирович и жена его — оба были премилые, преобходительные и преласковые. В 1820 году он был сделан московским генерал-губернатором и правил столицею неотступно двадцать пять лет. В Москве все их любили и очень жалели, когда их не стало в живых»[96].

Графиня Наталья Петровна обделила своего младшего сына и наследством, выделив ему всего лишь по 50 тысяч рублей в год ассигнациями да деревню Рождествено с сотней крепостных (дочери в качестве приданого получили по две тысячи душ).

Как вспоминала Янькова, Наталья Петровна «самовластно всем заведовала».

В семейный конфликт однажды пришлось вмешаться даже государю: «Будучи начальником Москвы, он не мог жить, как частный человек, и хотя получал от казны на приемы и угощения, но этого ему недоставало, и он принужден был делать долги. Это стало известно покойному государю Николаю Павловичу: он говорил княгине, чтоб она дала что-нибудь своему сыну. Тогда она взмиловалась и прибавила ему еще 50 000 ассигнациями, думая, может быть, что его щедро награждает, но из имения, кроме ста душ, находившихся в Рождествене, до самой кончины ее он ничего не имел… следовательно, он провел всю свою жизнь, почти ничего не имея».

Лишь после смерти матери Дмитрий Владимирович получил предназначавшиеся ему 16 тысяч крепостных.

Со старшим сыном Борисом Владимировичем она подолгу бывала в ссоре, однажды не разговаривала с ним целый год. Борис Владимирович умер от ран менее чем через полгода после Бородинского сражения, оставив сиротами двух детей, родившихся вне брака от цыганки. Младший брат взял их на воспитание в свою семью, причем от матери он это скрыл.

Царственный характер графиня унаследовала от предков. Недаром при дворе говорили, что дедом графини Голицыной был не петровский денщик Григорий Чернышев, а сам Петр 1, сосватавший за него свою любовницу Евдокию Ржевскую (император прозвал ее Авдотья-бой-баба). Не один десяток лет шептались за спиной Натальи Петровны завистники, связывая возвышение Чернышевых именно с этим фактом, а не с военными успехами бывшего денщика. Но она пережила всех злопыхателей.

В 1782 году, когда Дмитрию Голицыну было 12 лет, мать увезла его и брата во Францию, для «образования детей и здоровья мужа». Петербургский свет этого поступка не понял. Великая княгиня Мария Федоровна говорила, что для образования юношей не следует ездить во Францию, поскольку в России есть свой университет.

Дмитрия и Бориса отправили учиться в элитарное учебное заведение — Страсбургский протестантский университет, одно из лучших учебных заведений Европы (и по сей день университет Страсбурга остается таковым). Князья Голицыны поступили в университет в 1782 году и проучились в нем четыре года. В Дмитрии преподаватели отмечали кротость нрава и скромность. Он был не по годам умен. К концу обучения в свои 14 лет размышлял уже как взрослый юноша. Особый интерес у него вызывали технические науки, и особенно математика. А вот старшего брата более всего привлекали поэзия, литература и искусство.

Братьев готовили к военной службе и после окончания Страсбургского университета Дмитрий и Борис становятся слушателями Королевской кадетской школы, что была создана в столице Франции Людовиком XV для дворянских детей из небогатых семей. Сам Наполеон учился здесь в 1785 году, но, видимо, не очень удачно, так как, обретя власть, в 1795 году он школу упразднил, устроив в роскошном неоклассическом дворце в центре Парижа казармы. Но братья Голицыны успели все же поучиться военному ремеслу, а военной муштрой и маневрами занимались они на близлежащем Марсовом поле. Сегодня здесь вновь располагается Военная школа Франции.

Знали бы преподаватели этой школы, кого они готовят с таким усердием — будущего героя 1814 года. Да, именно так называли почти 200 лет назад участников взятия Парижа. Но об этом позже.

Голицын учился блестяще и науку побеждать усвоил как нельзя лучше. Хорошо владея словом, он выражал свои знания поначалу лишь теоритически. Например, в 1788 году он даже написал научный трактат «Замечания молодого русского офицера

и князя на книгу Венеция «De re militari» и напечатал его во французском журнале «Journal des Savants».

Итак, детство и юность Дмитрия Голицына прошли во Франции, давшей будущему московскому градоначальнику прекрасное образование. Скажем больше — Франция воспитала его, он чувствовал здесь себя как дома, недаром его дед по матери, Петр Григорьевич Чернышев, еще в 1766 году был назначен чрезвычайным посланником России во Франции.

Сыграл свою роль и круг общения его матери, знакомой с французской королевой Марией Антуанеттой. Ну а дружбу с Вольтером, любимцем российской императрицы, грех было не водить. В Париже Голицына была популярна, ей льстило прозвище, данное при французском дворе, — «Венера московская». (Помните — у Пушкина: «Надобно знать, что бабушка моя, лет шестьдесят тому назад, ездила в Париж и была там в большой моде. Народ бегал за нею, чтоб увидеть la Venus moscovite; Ришелье за нею волочился, и бабушка уверяет, что он чуть было не застрелился от ее жестокости».)

Живя за границей, Дмитрий Голицын много путешествовал, побывал в Англии, Германии. Вдохнув ветер Балтийского моря, он загорелся мечтой о морской службе. Брать пример было с кого — его дед Борис Васильевич Голицын был адмиралом. Но родители видели его военное поприще сухопутным. 1 января 1786 года, в неполные 15 лет, его переводят из Преображенского полка в конную гвардию в чине корнета. Отныне военная служба его будет навсегда связана с кавалерией. Через два года он станет подпоручиком, затем поручиком, а в 1791 году Голицына произвели в секунд-ротмистры.

В Париже Голицыных застала Великая французская революция. Дмитрий Голицын видел все своими глазами, совершенно случайно оказавшись в толпе народа, штурмующего полупустую Бастилию. Это дало основание через 200 лет причислить его к революционерам. «Двое русских — молодые князья Голицыны, находившиеся в Париже в июле 1789 г., непосредственно участвовали в штурме ненавистной французскому народу крепости абсолютизма и стали с этого времени горячими защитниками новой революционной Франции», — писал советский историк А. Манфред в 1983 году[97]. Подобный радикальный вывод, на наш взгляд, сомнителен.

Достоверность этого эпизода вызывает большой вопрос. Слишком необычно и неожиданно… В самом деле — представитель знатнейшего дворянского рода, столпообразующего и поддерживающего российскую монархию,

бросается бок о бок с парижской чернью на приступ тюрьмы, сопровождающийся зверской расправой над ее начальником. Трудно себе такое представить. Но богатая фантазия все же позволила зачислить Дмитрия Голицына в число революционеров еще 100 лет назад. В фундаментальном семитомном труде, посвященном вековому юбилею Отечественной войны 1812 года, вышедшем в 1911 году, сообщается, в том числе, и о событиях мирового масштаба, предшествующих войне. И вот в первом томе читаем: «Некоторые русские, отличавшиеся наибольшим радикализмом, принимают даже непосредственное участие в бурных событиях французской революции. Так, два князя Голицына, с ружьями в руках, идут на приступ Бастилии. А молодой гр. П. А. Строганов, вместе со своим воспитателем Роммом, с первых же дней своего приезда в Париж, чуть не ежедневно ездил в Версаль на заседания Национального собрания…Строганов вступил даже в число членов двух радикальных политических клубов — якобинского и «Друзей Закона». Парижские события приводили его в восторг, который ярко отразился в следующих его словах: «Самый лучший день в моей жизни будет день, когда я увижу Россию, возрожденную подобной революцией»[98].

Парижские события 1790 года захватили и благонамеренного Карамзина, душа которого была полна энтузиазма и который носил даже трехцветную кокарду во время своего пребывания во Франции. Быстро развертывающаяся картина крушения старого порядка во Франции повышала интерес к революционным событиям в петербургском обществе. Некоторые русские, по свидетельству французского поверенного в делах Жене, плакали от радости, узнав, что Людовик XVI в 1791 году принял конституцию, и многие при этом сделали Жене визит для выражения горячей симпатии его возродившейся родине… В военной среде проявляется довольно сильный интерес к освободительному движению, и в зимний сезон 1791/92 года петербургские гвардейские офицеры аплодировали в театре тому месту в «Свадьбе Фигаро» Бомарше, где есть намек на глупость солдат, дозволяющих себя убивать неизвестно за что.

Вот такая получается картина. Никаких ссылок или свидетельств очевидцев. Но использован этот эпизод весьма удачно — как грозовое предвестие, даже некое олицетворение неизбежности грядущих драматических событий в Российском государстве в 1825 году.

Недаром Екатерина II в августе 1790 года повелела русскому послу во Франции, чтобы «в Париже всем русским объявил приказание о скорейшем возвращении в отечество»[99].

Все отношения с Францией были порваны, а французским кораблям был запрещен вход в российские порты. Всем русским запрещено было читать французские газеты и журналы. Возвращались братья Голицыны на родину через Рим.

В Россию Дмитрий Голицын вернулся блестяще образованным офицером, в 1794-м став ротмистром. А вскоре ему представилась возможность испытать усвоенную военную теорию на практике. В 1794-м восстала Польша. Усмирять сторонников Костюшко отправили генерал-аншефа Суворова. Под предводительством самого знаменитого русского полководца молодому офицеру Голицыну предстояло принять первое боевое крещение. Вместе с ним в Польшу отправился и старший брат Борис.

Дмитрий Голицын воевал достойно — в сражениях при Слониме, Остроленке, Гродно. А первый свой боевой орден он получил за то, что одним из первых ворвался на батарею противника во время штурма варшавского предместья — Праги. Штурм был связан с большими жертвами обороняющейся стороны, что позволило некоторым враждебным кругам Западной Европы назвать эту операцию «резней в Праге», а самого Суворова кровожадным варваром.

Суворов же так напутствовал своих солдат и офицеров: «Идти в тишине, ни слова не говорить; подойдя же к укреплению, быстро кидаться вперед, бросать в ров фашинник, спускаться, приставлять к валу лестницы, а стрелкам бить неприятеля по головам. Лезть шибко, пара за парой, товарищу оборонять товарища; коли коротка лестница, — штык в вал, и лезь по нем другой, третий. Без нужды не стрелять, а бить и гнать штыком; работать быстро, храбро, по-русски. Держаться своих в середину, от начальников не отставать, фронт везде. В дома не забегать, просящих пощады — щадить, безоружных не убивать, с бабами не воевать, малолетков не трогать. Кого убьют — царство небесное; живым — слава, слава, слава»[100].

Поляки сопротивлялись отчаянно, «мало сказать, что дрались с ожесточением, нет — дрались с остервенением и без всякой пощады… В жизни моей я был два раза в аду — на штурме Измаила и на штурме Праги… Страшно вспомнить!..» — отмечал один из участников штурма И. И. фон Клуген.

1 января 1795 года Голицын стал кавалером ордена Святого великомученика Георгия 4-й степени за «усердную службу и отличное мужество, оказанное 24-го октября при взятии приступом сильно укрепленного Варшавского предместия, именуемого Прага»[101]. А Суворов получил чин фельдмаршала.

Спустя полвека этот первый боевой эпизод биографии

Голицына вспомнят его соотечественники: «Под знаменами Суворова начал он свои военные подвиги: первый венок, схваченный им на штурме Варшавской Праги, когда с первыми рядами взошел он на батарею неприятельскую, был от бессмертного суворовского лавра»[102]. Строки эти написаны были Степаном Шевыревым в некрологе на смерть Голицына.

Но до посмертных почестей было еще далеко, благо что послужной список Голицына увеличивался. В 1797 году он стал полковником, в 1798-м — генерал-майором, в 1800-м император Павел удостоил его ордена Святого Иоанна Иерусалимского, а в 1802-м — звания генерал-лейтенанта.

В июне 1800 года Голицын стал шефом Орденского кирасирского полка. История этого полка овеяна славой, завоеванной в достославных победах русского оружия. Достаточно сказать, что полк был сформирован еще в 1709-м по высочайшему повелению императора Петра I под Полтавой. Его шефами в разное время были фельдмаршалы Миних и Румянцев-Задунайский. Название полка неоднократно менялось, закончил он свое существование в 1917-м как 13-й драгунский Военного Ордена генерал-фельдмаршала графа Миниха полк. В дальнейшем, уже будучи московским градоначальником, Голицын всегда интересовался жизнью своего полка. Кирасир, будь то сослуживец князя или простой солдат, всегда мог рассчитывать на радушный прием Голицына, любившего носить черный кирасирский мундир. В нем его и похоронили.

По этапам боевого пути Голицына можно изучать военную историю России первых десятилетий XIX века. Он участвовал во всех военных кампаниях, и даже тех, что не состоялись.

Так, в 1805 году во время русско-австро-французской войны, закончившейся для России аустерлицким поражением, корпус генерал-лейтенанта Голицына получил приказ выдвинуться в Богемию и соединиться с Австрийским корпусом, чтобы затем ударить в тыл французской армии. Но Голицыну и его кавалеристам не суждено было вынуть сабли из ножен — пока корпус продвигался к намеченной цели, был заключен Пресбургский мир, по которому Австрия из войны выбывала.

Посему армии генерала Беннигсена, в составе которой был корпус Голицына, было приказано, перезимовав в Силезии, возвратиться в пределы России. Голицын был назначен командиром 4-й дивизии, расквартированной в Вильне. До начала тяжелой военной страды, плоды которой Россия пожнет лишь через десять лет, оставалось совсем немного.

Война с Наполеоном была не за горами. Планы честолюбивого Бонапарта простирались далеко за пределы

Франции. В 1806 году разразился новый конфликт. На этот раз французской агрессии противостоял союз России и Пруссии.

Дивизия Голицына в составе армии под командованием генерала Беннигсена получила приказ идти в Саксонию для соединения с прусской армией. Но объединиться с союзниками Беннигсену вновь не удалось — прусские войска потерпели поражение под Йеной. Остановившись на берегах Вислы, русская армия вскоре приняла бой, окончившийся для нее поражением. Голицын получил приказ отступать к местечку Пултуск. Однако дивизия вышла не к Пултуску, а к Голимину, где 14 декабря соединилась с войсками генерала Дохтурова.

Сводный отряд князя Голицына (три полка и 18 орудий) по приказу главнокомандующего русской армией в Польше фельдмаршала Каменского был отправлен к Слубову как резерв корпуса Л. Л. Беннигсена. Там к отряду присоединилось еще три полка. В это же время Голицын обнаружил, что к городу подходят наступающие французские войска, причем одновременно с двух сторон. У него не оставалось другого выхода, как отступать. Неожиданно начавшаяся оттепель и дожди превратили дороги в болото. Из-за этого в конце концов русским пришлось бросить часть своей артиллерии. К утру 14 декабря они прибыли в Голимин, где их ожидал генерал Дохтуров с двумя полками[103].

Именно в Голимине дивизии генерала Голицына суждено было принять неравный и кровопролитный бой с корпусами французских маршалов Мюрата, Ожеро, Даву и Сульта. Под командованием Голицына было не более 18 тысяч человек, у французских маршалов — почти 40 тысяч. Географическое расположение Голимина имело стратегическое значение: овладев им, Наполеон планировал ударить в тыл русской армии.

Положение Голицына осложнялось тем, что в процессе изнурительного отступления через непролазные и раскисшие прусские дороги пришлось оставить многие орудия. Всю ночь русские войска продвигались к Голимину, выйдя к его окрестностям к восьми часам утра, а в девять утра начался бой.

Голицыну предстояло противостоять опытному наполеоновскому маршалу Ожеро. На первом этапе сражения французы попытались вытеснить русских из леса, чтобы затем рассеять их, но эта попытка им не удалась. Немногочисленные пушки Голицын приказал выдвинуть на опушку леса, и когда маршал Ожеро решил обойти лес, то корпус его был встречен шквальным огнем русских артиллеристов. Атака французских гусар на русские пушки ни к чему не привела — драгуны Голицына ее подавили.

Тем временем в середине дня на подмогу Ожеро подошел

корпус Даву. Маршалы решили окружить войска Голицына с флангов. Единственным спасением для русских было отступление. Но скорое отступление могло бы повлечь за собой большие жертвы. Голицын решил дожидаться ночи. А силы противника все увеличивались. Император Наполеон прибыл под Голимин вместе с еще одним корпусом и приказал атаковать русских с трех сторон. Бои развернулись на улицах города. Русские и французские пехотинцы сошлись врукопашную.

Постепенно Голицыну удалось отвести от Голимина основные силы и не допустить окружения и уничтожения подчиненных ему войск. Так благодаря мужеству русских солдат и полководческому таланту своего генерала дивизия выстояла, выдержав десятичасовой натиск французского императора и его маршалов.

Участники боя под Голимином покрыли себя неувядаемой славой, а император Александр I в январе 1807 года наградил Голицына очередным Георгиевским крестом, на этот раз 3-й степени «в воздаяние отличной храбрости и мужества, оказанных в сражении против французских войск»[104].

В этом же январе Голицын отличился в сражении при Лангейме.

В это время генерал Беннигсен с половиной личного состава своей армии совершал фланговый поход по Восточной Пруссии. Второй частью армии командовал Голицын. 8 января, получив сведения от разведки, что в районе деревушки Лангейм сосредоточен вражеский эскадрон, Голицын приказал казачьему отряду немедля вступить в бой с французами. В результате в плен было захвачено более шестидесяти французских гусар, включая трех офицеров.

Затем войска Голицына заняли город Бартенштейн, ежедневно имея столкновения с арьергардом маршала Нея. А14 января в районе деревни Морунген произошел бой с соединением маршала Бернадота. Французы понесли большие потери в живой силе, не сумев отбить у русских свой обоз. Много вражеских солдат было пленено. По приказу Голицына русский отряд под командованием генерал-майора графа Палена и флигель-адъютанта, полковника князя Долгорукова совершил нападение на главную квартиру Бернадота, но самого маршала взять не удалось.

Продолжая свой победоносный рейд, 18 января войска Голицына заняли Алленштейн. В этот день генерал Беннигсен приказал войскам Голицына двигаться в направлении Пассенгейм — Гогенштейн и захватить эти населенные пункты, с чем русские солдаты отлично справились, нанеся большой урон живой силе

противника.

Апофеозом зимней кампании 1806/07 года стало двухдневное сражение при Прейсиш-Эйлау, начавшееся 26 января. Князь командовал русской кавалерией, проявившей чудеса героизма. Голицын личным примером показывал, как надо драться с французами. Подвергая себя как командира огромному риску, он в авангарде русской конницы бесстрашно бросался на полки французских кирасир. Неустрашимый генерал-лейтенант по праву пользовался уважением подчиненных офицеров и солдат. За сражение у Прейсиш-Эйлау император удостоил Голицына ордена Святого равноапостольного князя Владимира 2-й степени Большого креста.

В мае активность боевых действий вновь возросла. 24-го числа Голицын, командуя кавалерией левого крыла армии Беннигсена, направил войска на Петерсдорф, двигаясь через Зоммерфельд и Лаутервальде. Здесь он наткнулся на авангард большого французского отряда. У деревни Вольсдорф Голицын приказал своим драгунам уничтожить неприятеля. Много французских пехотинцев полегло в том бою, немало было захвачено в плен.

Двигаясь влево от Вольсдорфа, кавалеристы Голицына в районе деревни Лингенау были остановлены артиллерийским огнем противника. В распоряжении же русских было лишь две пушки. Тем не менее огонь удалось подавить. Чтобы атаковать укрывшихся в лесу французов, Голицын пошел на хитрость. Он отобрал из своих кавалеристов лучших охотников, сформировав из них отряд. Нападение на неприятельский лагерь совершили ранним утром, застав полусонных французов врасплох. Голицын, как всегда, был впереди на лихом коне. Смело вклинивался он в ряды французских гусар. За смелость свою Голицын был награжден украшенной алмазами шпагой с выгравированной надписью «За храбрость».

29 мая произошло сражение при Гейлсберге. Кавалерия Голицына должна была занять деревню Лауден, чтобы таким образом не дать французам окружить правый фланг русских. Подходя к Лаудену, Голицын, под командованием которого находились три кавалерийских полка и конная артиллерия, принял бой с превосходящими силами противника. Французы дрогнули и бежали. Русские во главе с Голицыным преследовали врага до самых его пехотных колонн. Потери были большими с обеих сторон.

Последним в этой длинной череде было июньское сражение под Фридландом, закончившееся для русских поражением. Но и здесь Голицын отличился.

По приказу главнокомандующего Беннигсена Голицын со своими полками должен был занять Фридланд и мосты через реку Алле. Но французский генерал Удино опередил Голицына — его авангард в составе нескольких полков кирасир и гусар уже занял город. Голицын попытался было смешать ряды неприятеля, отправив эскадрон улан в город с целью атаковать французскую кавалерию, ставшую на другом берегу реки. Но не тут-то было: французы разобрали мост с целью не пропустить русских и начали обстрел из карабинов. Уланы Голицына спешились, наладили переправу через реку и ударили по кирасирам генерала Удино. Русские кавалеристы преследовали французских кирасир через весь город, остановившись лишь тогда, когда неприятель сгруппировался и встал в линию. Сил выстроить свою линию у русских не было. Тогда Голицын послал на подмогу еще четыре эскадрона и преследование продолжилось. Дело кончилось пленением оставшихся в живых шестидесяти французских солдат.

К сожалению, этот эпизод не повлиял на общий успех сражения под Фридландом. Русские были вынуждены отступить к Тильзиту, где и был заключен мир между Францией и Россией, как вскоре выяснится, недолгий. А заслуги Голицына, в обязанность которого было вменено прикрытие отступающих русских войск, были особо отмечены главнокомандующим Беннигсеном в донесении к императору Александру I. В донесении Голицын был назван «таким генералом, которого редкие дарования, мужество и благоразумие много содействовали к успешному действию нашего оружия»[105]. Генерал-лейтенант Голицын был награжден золотой саблей с алмазами и все теми же справедливыми словами «За храбрость».

Но недолго длился мирный отдых храброго генерала. В 1808 году грянуло новое сражение, на этот раз со шведами. Это была очередная и на этот раз последняя русско-шведская война, результатом которой стало обретение Россией новой территории — Великого княжества Финляндского. Но увеличилась не только российская территория, возросло расстояние от государственной границы до столицы страны — Санкт-Петербурга. Как мы знаем из нашей истории, последнее обстоятельство не раз представляло собой весомую причину для возникновения военных конфликтов с приграничными к России государствами.

Война началась в феврале 1808-го, а к ноябрю русская армия овладела всей Финляндией. Командующий русскими войсками генерал Буксгевден заключил со шведами перемирие, что не успокоило Александра I, грезившего идеей перенести войну на шведскую землю и захватить Стокгольм. Русские войска должны были двигаться к столице Швеции тремя корпусами. Самая

ответственная задача возлагалась на второй корпус, которому следовало перейти Ботнический залив по льду в районе Кваркенских островов.

Принять командование над этим корпусом и надлежало генерал-лейтенанту Дмитрию Голицыну. Двумя другими корпусами командовали Багратион и Шувалов. Голицыну представлялась уникальная возможность — перейти по льду (очень смелый ход по тому времени!) довольно редко замерзающего залива и сыграть решающую роль в русско-шведской войне.

Голицын лично подготовил план предстоящей Кваркенской военной операции, итогом которой должен был быть переход через Ботнический залив и захват шведского города Умео. Здесь, соединившись с отрядом графа Шувалова, отряд Голицына должен был двинуться на Стокгольм.

Большое внимание Голицын уделил рекогносцировке будущего театра военных действий. С этой целью он выслал в разведку отряд егерей и казаков, которые должны были захватить в плен шведских солдат. Так и вышло: вскоре в штаб корпуса привели плененный шведский аванпост, во время допроса открывший многое из того, что доселе оставалось неизведанным. Но этого князю оказалось мало: он самолично и неоднократно осматривал место будущего перехода через Ботнический залив.

И потому полной неожиданностью для Голицына было назначение на должность командира корпуса Барклая де Толли. План, разработанный Голицыным до мелочей, автором которого он являлся, теперь должен был воплощать другой военачальник.

Тщательная подготовка операции, проведенная Голицыным, во многом обеспечила дальнейшее победное для России развитие событий. А Барклай вскоре получил повышение, став генералом от инфантерии и главнокомандующим всеми русскими войсками в Финляндии.

И хотя русские Стокгольм не взяли, в сентябре 1809 года был заключен выгодный для России и ущербный для Швеции Фридрихсгамский мирный договор. А генерал-губернатором новой территории был назначен тот же Барклай де Толли.

Официальная биография Голицына 1845 года гласит: «Расстроенное здоровье и домашние обстоятельства принудили князя в 1809 г. взять на некоторое время отпуск»[106]. Лаконичное объяснение скрывает истинную причину неучастия Голицына в русско-шведской войне 1808–1809 годов: генерал посчитал назначение Барклая де Толли оскорблением. И сославшись на формальную причину (нездоровье), попросил об отставке.

Голицыну было отчего оскорбиться. Его заменили на

«выскочку» Барклая! Того, который будучи на десять лет старше Голицына, получившего чин генерал-майора в 1798 году в 27 лет, умудрился стать генерал-майором на год позже его, в 1799-м, в 38 лет! По служебной лестнице он не двигался, а тащился. И все из-за его незнатного происхождения. Голицын был не одинок в своей нелюбви к Барклаю. Нашлись и такие генералы, что подали в отставку, узнав о присвоении Барклаю чина генерала от инфантерии, посчитав себя несправедливо обойденными[107].

Но не одно лишь назначение Барклая привело обычно сдержанного Голицына к такому шагу. Швеция для Голицына была не только противником России в очередной войне. Он не мог не знать, что именно здесь во время Северной войны храбро и мужественно сражался его легендарный дед Захар Чернышев, чей образ украшал портретную галерею в «Русском Версале» и был так знаком подрастающему князю. Из рассказов близких Голицын знал о подвигах своего предка, который выбыл из строя только из-за тяжелого ранения, когда под ним убило двух лошадей, а сам он был ранен трижды! И вот теперь Дмитрия Голицына отстраняют от выпестованной им операции, которая должна пройти в местах, где воевал его дед. Можно лишь представить, что творилось тогда в душе у князя.

Всех их помирила Отечественная война. Голицыну, сражавшемуся с наполеоновскими войсками в основном в Западной Европе, вскоре предстояло сразиться с французской армией на русской земле. А пока находясь в отставке, Голицын едет за границу, где вновь садится за парту — слушает лекции европейских профессоров.

Вернулся в строй Дмитрий Голицын в августе 1812 года, когда главнокомандующим русской армией вместо нелюбимого им Барклая де Толли был назначен Кутузов. Генерал-лейтенант Голицын получил под свое командование кавалерию 2-й Западной армии князя Багратиона.

Подчиненная Голицыну кавалерия включала в себя 2-ю кирасирскую дивизию (из состава 8-го пехотного корпуса, 20 эскадронов, порядка 2800 человек) и 4-й резервный кавалерийский корпус (32 эскадрона и 12 орудий, порядка 4300 человек). Итого под командованием Голицына находилось более семи тысяч человек: 52 эскадрона и 12 орудий. В составе 2-й дивизии был и Орденский кирасирский полк, шефом которого был Голицын.

Уже 24 августа, в преддверии Бородинского сражения, Голицын повел в бой приданные ему войска, о чем на следующий день главнокомандующий Кутузов доносил Его Императорскому Величеству: «Армии ввел я в позицию при Бородине в ожидании

сил неприятельских на себя. 24 числа с отступлением арьергарда к Кор-де-Баталь, неприятель предпринял направление в важных силах на левый наш фланг, находящийся под командою Князя Багратиона. Видев стремление неприятеля главнейшими силами на сей пункт, дабы сделать таковой надежнее, признал я за нужное загнуть оный укрепленным прежде сего возвышением. С 2 часов пополудни и даже в ночи сражение происходило весьма жаркое; и войска…в сей день оказали ту твердость, какую заметил я с самого приезда моего к армиям»[108].

Неприятель, которого Кутузов не называет, — дивизионный генерал, князь Юзеф Понятовский, который вместе с приданным ему 5-м армейским корпусом войска Великого герцогства Варшавского решил испытать на прочность левое крыло русской армии. Тот самый Понятовский, что в 1794 году, в первой для Голицына войне, командовал дивизией на стороне Костюшко. В корпусе Понятовского было в полтора раза больше человек — 10 тысяч и в четыре раза больше орудий — 50. Далее в рапорте Кутузов отмечает войска Голицына: «Вторая же кирасирская дивизия должна будучи даже в темноте сделать последнюю из своих атак, особенно отличилась, и вообще все войска не только не уступили ни одного шага неприятелю, но везде поражали его с уроном с его стороны. При сем взяты пленные и 8 пушек, из коих 3 совершенно подбитые, оставлены на месте»[109].

Голицын на протяжении всего боя находился в гуще сражения, разорвавшимся рядом с ним снарядом под ним убило лошадь, его адъютанты были ранены. Но самого генерала вражеская пуля миновала. Он получил благодарность Кутузова.

А ранним утром 26 августа началось Бородинское сражение. И вновь Наполеон основной удар направил на левый фланг русских войск. И снова Голицыну пришлось быть в гуще событий, отражая натиск французской армии.

Адъютант генерала Милорадовича Федор Глинка был непосредственным участником боя и одаренным литератором. В конце 1830-х годов увидели свет его «Очерки Бородинского сражения», названные Белинским «единственной книгой на русском языке, в которой один из величайших фактов отечественной славы рассказан так живо, увлекательно и так общедоступно!». Подвигам князя Голицына отведено в этой книге особое и почетное место. Первый эпизод иллюстрирует кровопролитный бой за Семеновские флеши, впоследствии названные Багратионовыми, так как именно их обороняла армия Багратиона: «Посмотрим еще вокруг себя. Вот 1-й корпус кавалерии генерала Нансути; он занимает пространство между войсками Нея и одним пехотным каре против сожженной

деревни. Этот корпус… бьется с полками кирасир русских, которые еще раз пытаются отнять позицию при деревне Семеновской. Какая картина! Реданты Семеновские на минуту захвачены французами. Кутузов тотчас велит поставить новую боковую батарею в 25 пушек. Она приведена в соединение с другими и, крестя поле, режет французов продольными выстрелами по фронту и в тыл. Ядра пронизывают ряды. Между тем реданты опять в руках русских, и вот Мюрат мчится впереди, и за ним целый разлив его кавалерии. Он наезжает прямо на реданты, а Голицын с кирасирами объезжает его прямо сбоку и в тыл. Как они режутся! Какая теснота! Конница топчет раненых; трупы дробятся под колесами артиллерии. Живые конные стены сшибаются, трещат и, под грозным гулом пальбы, при страшных криках, среди лопающихся гранат, без памяти хлещутся палашами и саблями. И вот (я боюсь, чтобы вы не закричали ура!) наша конница расшибла французские эскадроны: они мешаются, кружатся, бегут… Один между ними не хочет бежать!.. Конь под ним крутится. Блестящий всадник кличет, машет саблею. Ко мне, французы! ко мне! Напрасно! Он окружен чужими… Палаш и сабля русские висят над воином в фантастических одеждах, его узнали: это он! Король Неаполитанский! Его ловят, хватают!.. Слышите ли радостный крик: Он наш! он наш! Король в полону! Ближняя пушка, разгоряченная пальбою, со страшным треском лопается, осколки и клинья летят дугами вверх, зарядный ящик вспыхивает, и черный клуб дыма с комами взбрызнутой земли застеняет от глаз все частные явления»[110].

Как видим, панорама Глинки — не хуже панорамы Рубо: «Маршалы, подкрепясь дивизиями Нансути и Латур-Мобура, опять завладели редантами и опять выбиты из них дивизиею Коновницына. В это время показывается 8-й корпус Жюно, и Ней отсылает его к Понятовскому с поручением действовать на промежуток (между корпусом Тучкова и левым крылом главной линии), не довольно защищенный. Граф Воронцов ранен; маршалы водят на реданты, одну за другой, дивизии Кампана, Дессекса, Фрияна, прибывшего позднее, Ледрю, Маршана, Разу и корпуса кавалерии. На левом крыле генерал Тучков 1-й оттеснен, оттесняет и смертельно ранен. Его атаковали дивизии: Заионичка, Княжевича и конница генерала Себастиани. С нашей стороны лес на старой Смоленской дороге и сказанный выше промежуток храбро защищал с стрелками князь Шаховской. Сражение, затихая и возгораясь, продолжается у редантов и за реданты. Тучков 4-й убит при среднем. Мюрат с целою громадою конницы наехал прямо на окопы; князь Голицын объехал его сбоку. Рубка ужасная! Все это деялось еще до полудня.

Неприятель приутих. Тишина перед бурею!!!

Раздражаясь неудачами, Наполеон сосредоточивает 400 пушек и много пехоты, много кавалерии. С нашей стороны выдвинуты резервы и перед ними тянутся 300 орудий. Все это на левом крыле, все перед теми же роковыми редантами! Французы дерутся жестоко, дерутся отчаянно, 700 пушек гремят на одной квадратной версте; бой кипит; спорные окопы облиты кровью, переходят из рук в руки и… остаются за неприятелем!»[111]

Когда читаешь описание Бородинского сражения, обращает внимание на себя то, как описано участие в нем Голицына. Вот гренадерские батальоны «отстаивают» батареи, вот генерал-лейтенант Тучков «отбрасывает поляков», а Коновницын «отбивает» редуты. А Голицын не просто бьется, он «врубается» во французскую конницу.

Как доносил Кутузов императору 27–29 августа 1812 года, «сражение было общее, и продолжалось до самой ночи: потеря с обеих сторон велика; урон неприятельский, судя по упорным атакам на нашу укрепленную позицию, должен весьма нашу превосходить. Войска… сражались с неимоверною храбростью: батареи переходили из рук в руки, и кончилось тем, что неприятель нигде не выиграл ни на шаг земли с превосходными своими силами.

…Баталия, 26 числа бывшая, была самая кровопролитнейшая из всех тех, которые в новейших временах известны. Место баталии нами одержано совершенно, и неприятель ретировался тогда в ту позицию, в которую пришел нас атаковать; но чрезвычайная потеря и с нашей стороны сделанная, особливо тем, что переранены самые нужные Генералы, принудила меня отступить по Московской дороге. Сего дня нахожусь я в деревне Наре, и должен отступить еще на встречу к войскам, идущим ко мне из Москвы на подкрепление. Пленные сказывают, что неприятельская потеря чрезвычайно велика, и что общее мнение во Французской армии, что они потеряли ранеными и убитыми 40 000 человек»[112].

Не менее важно и мнение Наполеона: «Из всех моих сражений самое ужасное то, что я дал под Москвой. Французы показали себя в нем достойными одержать победу, а русские — называться непобедимыми»[113].

Среди генералов, «перераненных» и самых нужных был Петр Иванович Багратион, получивший тяжелое ранение в ногу, от которого он позже скончался. Голицына же Бог миловал, он лишь потерял в бою своего коня. За участие в Бородинском сражении Голицын был награжден орденом Святого Георгия 3-й степени (во второй раз), а потому позднее этот орден был заменен другим —

Святого Александра Невского.

2 сентября без боя была оставлена Москва. Князь Голицын командовал одной из двух колонн отходившей к Тарутину русской армии. А через месяц, 6 октября под Тарутином произошло важнейшее (особенно с психологической точки зрения) сражение, закончившееся первой после Бородина победой русской армии. В этих событиях, известных как битва на реке Чернишня, был атакован авангард маршала Мюрата, понесший значительные потери. После Тарутина началось контрнаступление русской армии.

Один из ярких эпизодов следующего, победного для России этапа Отечественной войны с участием Голицына — сражение 3–6 ноября под городом Красный (ныне поселок Смоленской области), итогом которого стал разгром арьергарда Великой армии Наполеона. Именно в Красном русская армия под командованием Кутузова настигла отступающую армию Наполеона, понесшую потери, сравнимые с битвой при Бородине.

В журнале боевых действий за эти дни, предоставленном Кутузовым императору, читаем: «Армия следуя кратчайшим путем в направлении к г. Красному, чтобы пресечь путь сильному неприятелю, 5 ноября двинулась на поражение его. Генерал Милорадович со 2 и 7 пехотными и 1 кавалерийским корпусами, находясь скрытно при большой дороге у деревни Мерлино, допустил корпус Маршала Даву приблизиться к Красному; в то время 3 корпус и 2 кирасирская дивизия, составляющие центр всей армии под командою Генерал-Лейтенанта Князя Голицына, подходили к г. Красному. Неприятель, видя приближение войск, остановился перед сим городом и приготовился к бою. Тогда действие артиллерии нашей открылось со всех сторон. Между тем главная наша армия… под командою Генерала Тормасова, шла в обход г. Красного через деревни Зуньково, Сидоровичи, Кутьково, Сорокино к деревне Доброй, и невзирая на дефилеи, достигнув большой Оршинской дороги, стала позади д. Доброй, дабы тем более отрезать неприятельской армии ретираду, которая в сей день состояла из корпусов: Давуста, Вице-Короля Итальянского и части гвардии под собственным начальством Императора Наполеона.

Генерал Милорадович теснил неприятеля с тылу, когда Генерал-Лейтенант Князь Голицын поражал его с центра, а Генерал от кавалерии Тормасов, отрезав дорогу, поражал его при выходе из Красного.

Таковое тесное положение неприятеля побудило его на отчаянные меры, и он, сформируясь в густые колонны, хотел прорваться сквозь авангард Генерал-Майора Барона Розена; но…

были совершенно истреблены. Другие же неприятельские колонны, хотевшие овладеть батареею корпуса Генерал-Лейтенанта Князя Голицына, были поражены 2 кирасирскою дивизиею и Ревельским пехотным полком. В сем случае Французской гвардии первый вольтижерный полк совершенно был истреблен… Неприятель повсюду разбитый обратился в бегство в самом большом расстройстве по лесам, к стороне Днепра на 5 верст простирающимся, думая найти спасение свое; но легкие наши отряды под командою Генерал-Адъютанта Графа Ожаровского и Генерал-Майора Бороздина, подкрепленные егерями, довершили совершенное оного поражение. По окончании сего сражения армия расположена была при д. Доброй на большой Оршинской дороге.

Потеря неприятеля в сей день, кроме убитых и раненых, состоит пленными: Генералов 2, Штаб и Обер-Офицеров 58, нижних чинов 9170, пушек 70, знамен 3, штандартов 3 и один Маршальский жезл»[114].

Армия Наполеона так быстро катилась к границам России, что уже к середине декабря авангард Великой армии с трудом перебрался через Неман. Хотя к тому времени вся армия превратилась в авангард. Желающих остаться в России не нашлось. За полгода, прошедшие с 12 июня, когда французы перешли границу России, численность Великой армии сократилась с 600 до 50 тысяч (по разным оценкам).

И здесь хочется привести мнение непререкаемого авторитета в военной науке, известного историка Карла Клаузевица (кстати, участника Бородинского сражения): «Французская армия перестала существовать, а вся кампания завершилась полным успехом русских за исключением того, что им не удалось взять в плен самого Наполеона и его ближайших сотрудников…»[115] Отрадно сознавать, что немалый урон французской армии нанесла сабля князя Дмитрия Голицына.

Следующий после Бородина год стал и началом очередного Заграничного похода русской армии 1813–1814 годов, известного в западной историографии как война Шестой коалиции. В коалицию (против весьма быстро оклемавшегося Наполеона) вместе с Россией вступила почти половина стран Европы. На первом этапе боевые действия развивались успешно — 20 февраля русские взяли Берлин. Но уже вскоре последовали неудачи. Наполеон одержал победы над русско-прусскими войсками при Лютцене (19–20 апреля), Бауцене (8–9 мая) и Дрездене (14–15 мая). В этих сражениях князь Голицын командовал резервным корпусом, состоявшим из двух кирасирских дивизий.

После краткосрочного Плесвицкого перемирия, давшего союзникам передышку, последовали новые сражения. 17–18 августа 1813 года под Кульмом, в Богемии, был разбит корпус генерала Вандама. В этом решающем для всей кампании 1813-го сражении кавалерия князя Голицына в результате смелого маневра захватила в плен самого Вандама и его генералов. За это император удостоил Голицына орденом Святого равноапостольного князя Владимира 1 — й степени.

Не менее храбро сражался Голицын в Битве народов под Лейпцигом (4–7 октября 1813 года), в результате которой Наполеон потерпел сокрушительное поражение и отступил во Францию. На территории Франции Голицын участвовал в сражениях при Бриенне (17 января 1814 года), Фер-Шампенуазе (13 марта 1814 года) и, наконец, при взятии Парижа (18 марта 1814 года).

19 марта 1814 года (по старому стилю) император Александр I торжественно въехал в столицу Франции. Впервые за несколько столетий иностранные войска маршировали по парижским мостовым. Был среди победителей и князь Дмитрий Голицын, произведенный 2 апреля 1814 года в генералы от кавалерии. Это был высший чин в кавалерии.

Кажется, что чин этот Голицын мог получить и раньше. Действительно, его ровесник Милорадович стал генералом от инфантерии еще в 1809 году, то есть за пять лет до Голицына. А Николай Раевский стал полным генералом в 1813-м. В столь позднем пришествии к Голицыну этого чина, быть может, свою роль сыграл его демарш в 1809-м, когда он демонстративно подал в отставку.

С Милорадовичем Голицына многое связывало. Оба были генерал-губернаторами (Милорадович с 1818-го командовал Петербургом), боевыми генералами, героями Бородина, пользовались огромным авторитетом в армии.

После войны, в 1814–1818 годах, Голицын командовал 1-м резервным кавалерийским корпусом, а в 1818–1820 годах — 2-м пехотным корпусом.

У русского царя в чертогах есть палата:
Она не золотом, не бархатом богата;
Не в ней алмаз венца хранится за стеклом…

Так писал Пушкин о Военной галерее Зимнего дворца, запечатлевшей образы полководцев — участников Отечественной войны 1812 года (ныне в Эрмитаже). Есть в этой галерее и портрет Дмитрия Голицына, написанный художником Дж. Доу,

вероятно, в 1820 году.

На картине мы видим полководца, героя 1814 года в самом расцвете жизненных сил. Его общегенеральский кавалерийский вицмундир образца 1814 года украшают и награды за Отечественную войну 1812-го. На шее — крест ордена Святого Георгия 3-го класса, на левой стороне груди — серебряная медаль участника Отечественной войны, кресты австрийского Военного ордена Марии Терезии 3-й степени и ордена Святого Иоанна Иерусалимского, звезды орденов Святого Александра Невского и Святого Владимира 1-й степени, а также знак отличия прусского Военного ордена Железного креста (Кульмский крест). Здесь же — знак прусского ордена Красного орла Большого креста и крест баварского Военного ордена Максимилиана Иосифа 2-й степени.

Именно таким увидели москвичи своего нового градоначальника в 1820 году. Как же еще мог император Александр I отблагодарить Голицына? Он дал ему Москву в полное распоряжение. Шаг очень символичный. Защитник Москвы стал ее градоначальником.

Днем, с которого князь Голицын стал генерал-губернатором Москвы, считается 6 января 1820 года, когда Александр I назначил его на этот пост. Но выехал Дмитрий Владимирович на новое место службы лишь 17 февраля. К его приезду в Первопрестольной готовились, как обычно готовятся в России к приезду больших сановников. «Нагнано много людей для починки дороги, ибо сегодня выезжает Голицын из Петербурга», — сообщал Александр Булгаков 17 февраля 1820 года[116].

Голицын пришел на место А. П. Тормасова (1752–1819), бывшего до него московским генерал-губернатором чуть более пяти лет. Тормасов, как и Голицын, — боевой генерал, но он был старше Дмитрия Владимировича почти на 20 лет, Голицын годился ему в сыновья! И командовать Москвой Тормасова отправили уже после того, как он неоднократно просился в отставку из армии, причем по болезни. Получается, что Москву ему поручили как более легкое дело, чем военная служба. На своем посту он и скончался.

Нельзя сказать, что Голицын получил в наследство запущенное хозяйство. Будем справедливы: немалая часть Москвы уже была восстановлена, что так впечатлило Александра I, посетившего Белокаменную в августе 1816 года: «Храмы, дворцы, памятники, дома — все казалось обновленным». Москва обрадовала императора «возникающим из развалин и пепла своим величием»[117].

Конечно, императору нашли, что показать — Английский клуб на Тверской улице или дом Пашкова напротив Боровицкой

башни Кремля. Да тот же особняк генерал-губернатора, изрядно подпорченный французами! Показать начальству товар лицом у нас умеют. Важно и еще одно обстоятельство — вряд ли императорский кортеж отклонялся от привычной траектории движения: Петровский путевой дворец — Тверская улица — Кремль. Тверская издавна известна как царская улица, а потому и восстанавливалась в первую очередь.

А вот другой монарх увидел совсем иную Москву, вызвавшую у него слезы на глазах. В 1818 году в Первопрестольную приехал прусский король Фридрих III. Он попросил показать ему Москву с самого высокого здания. Но найти подобное здание, да и притом восстановленное, было не просто. Таковым являлся на тот момент дом Пашкова на Ваганьковском холме, один из немногих отстроенных после пожара, и притом за казенный счет. Взобравшись на бельведер дома Пашкова, Фридрих, увидев состояние Москвы, чуть было не прослезился, преклонил колено и сказал: «Вот она, наша спасительница!» — то же самое он приказал сделать своим сыновьям (на эту тему даже картина написана). Кто знает, если бы Александр забрался на дом Пашкова, быть может, его впечатления от Москвы были бы более сдержанными.

Так что новое назначение на незнакомую должность не напрасно поселило в душе боевого генерала Голицына смятение, и даже… робость, о чем он писал своей матушке: «Не могу без чувства робости вступить в должность правителя, мне совершенно незнакомую. Не доверяя своим силам, исполняю волю Государя. Слова мои не лицемерие, но голос истины и душевного сознания»[118].

Как бы там ни было, представленная Александру I в 1816 году восстановленная Москва являлась лишь частью большой работы по созданию новой, европейской Москвы, которую и предстояло возглавить новому и молодому градоначальнику. То, что царь остановился именно на кандидатуре энергичного и амбициозного Голицына, свидетельствует о больших надеждах, возлагавшихся на Дмитрия Владимировича.

Итак, в 1820 году он стал хозяином генерал-губернаторского особняка на Тверской улице, известного как «Казенный дом» на Тверской. Почему казенный? Дело в том, что когда-то владельцем его был двоюродный дед нашего героя и также градоначальник Москвы Захар Чернышев. Он недолго правил Москвой, а после его смерти дом был приобретен казной для резиденции московских городских властей. И до сих пор они здесь размещаются.

О том, чему были посвящены первые дни нового генерал-губернатора, рассказывает Александр Булгаков, который в

качестве чиновника по особым поручениям пришел к нему представиться 29 февраля 1820 года: «Хотя князя Голицына могу уже не считать своим начальником, потому что просьба моя об отставке уже в Петербурге, однако же я к нему явился; не было дома, я дожидался. Приехав и увидев меня, он меня повел в кабинет, посадил возле себя и чрезвычайно милостиво разговаривал по крайней мере с час, вошел во все наши семейные подробности. Много говорил о Москве, о главных здешних лицах по службе… о жителях, службе, взятках. Князю, кажется, все очень известно, и сведения его основательны… Он объявил… чтобы канцелярия была составлена из хороших людей, что не довольно, чтобы правитель канцелярии не брал, надобно, чтобы и прочие были чисты»[119].

Как видим, к первой проблеме, с которой пришлось столкнуться Голицыну уже на въезде в Москву (плохие дороги), прибавилась и еще одна — взятки. Дмитрий Владимирович как человек сугубо порядочный мечтал избавить московское чиновничество от желания брать взятки. Продолжим, однако, рассказ Булгакова уже о том, как реагировали на нового начальника те, кого он хотел излечить от мздоимства: «Князь Дмитрий Владимирович сказывал, что поедет в Собрание, то есть в концерт… В Собрании было с лишком 500 человек, и натурально князь обращал на себя всеобщее внимание; иные, как здесь водится, без всякого стыда забегали и смотрели ему в глаза, как смотрят на шкуру человека, покрытого чешуею». Далее был концерт с «довольно дурным пением какой-то мамзели и какого-то мусье»[120].

Набирая новую канцелярию «из хороших людей», Голицын прислушивался к рекомендациям Булгакова: «Вчера был у меня Павел Иванович Иванов, останкинский учитель, просил поместить его в канцелярию князя Дмитрия Владимировича. После обеда князь, пивши кофе, подошел ко мне, взял за руку и так ласково сказал: «Ну, что скажете, господин Булгаков?» — что я обрадовался и начал просить о Павле Ивановиче, сказав, что он бедный, но честный и способный человек. Князь спросил, есть ли вакансия. Я отвечал, что есть две. «В таком случае, — ответил князь, — я с удовольствием возьму его к себе, ему будет у меня хорошо, ибо жалованье служащих значительно увеличено»[121].

А вскоре новый генерал-губернатор устроил смотр московским пожарным, приказав дать сигнал пожара флагом с башни каланчи, что стояла напротив его дома. Скоростью, с которой пожарные прибыли на место, князь остался очень доволен и даже похвалил их. Ближайшая к Тверской площади Мясницкая пожарная команда явилась через три минуты, еще две

— через пять, а остальные, из других районов, — через 12 минут.

Появление Голицына заметно оживило и культурную жизнь Москвы. Вскоре москвичи узнали, что их новый начальник большой поклонник итальянской оперы. Он даже задумал устроить в Первопрестольной гастроли Одесской итальянской оперы.

Дмитрию Владимировичу предстояло властвовать Москвой неполные четверть века. За это время можно не только много успеть, но и нажить себе немало врагов. Но вот что интересно: из пятидесяти московских градоначальников ни о ком не отзывались так превосходно и похвально, как о Голицыне. Какой бы эпистолярный документ того времени мы ни прочли, везде найдем мы слова признательности Голицыну-градоначальнику и Голицыну-человеку: «Столица улучшалась ежегодно, удобства общественной жизни приспосабливались **посильно к нуждам каждого**»[122].

Последние слова можно трактовать следующим образом: особую заботу князя составляло, говоря современным языком, повышение уровня жизни москвичей. В частности, развитие в Москве медицинских учреждений и их доступность широким слоям населения, а не только представителям того слоя общества, к которому принадлежал Голицын.

Именно благодаря Голицыну в 1828 году в Москве была открыта первая городская больница на 450 коек (известная сегодня как Первая градская): «С жаром человеколюбия принялся он за составление сего проекта, и ничего не ускользнуло от его проницательного взора, от его прекрасной души»[123].

Действительно, прирожденная проницательность Голицына сыграла в этом случае решающую роль. В этом убеждаешься, когда узнаешь такую историю: как-то приехав на Театральную площадь с целью проверить, как идет строительство нового здания Большого Петровского театра, Голицын заметил скопление простого люда рядом с одной из телег. Послали узнать в чем дело, выяснилось, что на телеге лежало тело крестьянина, умершего из-за несвоевременного оказания медицинской помощи. «Факт настолько обыденный, — замечает историк прошлого века, — встречающийся и в наши дни, тогда имел иные последствия». Голицын добился утверждения императором проекта учреждения городской больницы и приступил к делу: образовали комитет, выработали условия и поручили зодчему О. И. Бове составить архитектурный проект. В мае 1828 года для строительства здания больницы у дочери графа А. Орлова в Нескучном был куплен участок земли. 30-го числа того же месяца митрополит Филарет освятил закладку здания. Туда же заложили

и 60 особо изготовленных кирпичей с вытисненными золотом именами всех присутствующих почетных особ. В июле 1833 года построенное здание освятили, и 14 октября того же года Первая градская больница приняла больных[124].

Но градоначальник пошел дальше, озабоченный судьбой тех неимущих больных, излечение которых было невозможно. Для больных, «бедных неизлечимых и увечных страдальцев», оставшихся без куска хлеба и крова над головой, он устроил богадельню рядом с больницей на 50 коек.

С 1826 года Голицын был председателем комитета по постройке в Москве глазной больницы. А в память безвременно усопшей своей супруги в 1842 году он учредил детскую больницу. Первым жертвователем на создание больницы явился он сам. После открытия детской больницы в Москве значительно снизилась младенческая смертность.

«Эти больницы, великолепнейшие дворцы нашего города, богадельни, рабочий дом, улучшенные тюрьмы, училища разных родов, приюты — все двигалось его живительною мыслью, которая не знала отдыха»[125].

В доме Голицына регулярно собирался попечительский совет заведений общественного призрения, председателем которого он был.

Голицын заботился и о тех москвичах, что смотрели на город из-за тюремной решетки. Поощряя деятельность Тюремного комитета, он всячески помогал гуманистической деятельности доктора Гааза, одного из самых уважаемых в городе людей, главного врача московских тюрем. Недаром из того немногочисленного количества дореволюционных московских памятников до наших дней сохранился монумент этому замечательному врачу. Царям и их слугам памятники в 1917 году разрушили, а вот ему оставили. Наверное, среди тех, кто пришел к власти в результате Октябрьского переворота, могли быть и такие, кто, благодаря благородной работе доктора, сидел в московских тюрьмах не в самых худших условиях.

Шевырев пишет и еще об одном гуманисте-сподвижнике Голицына. Он не называет его имени, но упоминает в качестве участника похорон князя в 1844 году: «Этот старец, посвятивший всю прекрасную жизнь свою одной мысли: облегчать несчастье преступления. Князь любил его, умел беречь для пользы ближнему, выслушивал и терпеливо сносил все, что ни вырывалось из его пылкого сердца»[126].

Кроме этого, Голицын учредил при Тюремном комитете специальную должность ходатая о заключенных. Многие бывшие сидельцы не одну свечку поставили за здравие князя, благодаря

которому сотни арестантов вышли на свободу. Серьезность, с которой относился Голицын к этому вопросу, иллюстрируется тем фактом, что заседания Тюремного комитета с его участием нередко заканчивались за полночь.

В 1839 году для предотвращения в Москве голода Голицын учредил комитет о просящих милостыню, вскоре открывший в Москве бесплатные столовые для нищих. Это спасло от голодной смерти многих москвичей. С ближайших губерний, куда дошла весть о градоначальнике-благодетеле, потянулся в Первопрестольную бедный люд, чтобы подхарчиться. Таким образом, удалось накормить более полумиллиона человек!

«Сколько новых учреждений, сколько различных улучшений на каждом шагу мы встречаем как лучшие доказательства его деятельности и попечений о вверенной ему столице»[127].

За годы его генерал-губернаторства в городе открылись первая детская больница, богадельни, приюты, Мещанское училище, новые учебно-воспитательные заведения и многое другое. Он был и почетным попечителем Дома трудолюбия, учрежденного по инициативе его супруги.

При Голицыне на площадях Москвы появились так давно ожидаемые фонтаны с питьевой мытищинской водой. Трудно поверить, что водопровод в Москве стал действовать лишь в 1804 году. Вода из Мытищ должна была поступать по подземным галереям и наземным акведукам в Москву. Но проработал водопровод недолго. Лишь при Голицыне удалось наладить постоянное водоснабжение города, свою роль сыграла постройка в селе Алексеевском в 1828 году огромной водонапорной башни. Оттуда вода поступала в главный резервуар, устроенный на Сухаревой башне, и затем распределялась по пяти водозаборным фонтанам: Шереметевскому, Никольскому, на Петровке, на Воскресенской и Варварской площадях. Благодаря Голицыну москвичи получили возможность пить чистую воду.

«Сколько развалин еще безобразило просторные улицы Москвы, когда он ее принял. На его глазах поднялось вновь столько дивных колоссальных зданий; на его глазах сады зеленым венцом обвили Кремль и доросли до густой тени; бульвары широкою стеной облегли город. Болота превратились в гулянья. Он не мог равнодушно проезжать мимо какого-нибудь места, которое противоречило изящной стройности города»[128].

Одно из тех болот, что «украшали» Москву, было на нынешней Театральной площади. Трудно поверить, но это так. Большой и Малый театры также открылись при Голицыне — в новых, специально выстроенных и перестроенных для этого зданиях; к 1825 году площадь представляла законченный архитектурный ансамбль.

Замощенные булыжником мостовые, асфальтовые и чугунные тротуары — все это тоже сделано при Голицыне. А еще набережные, обводной канал, избавивший Москву от наводнений, Москворецкий мост, Александровский сад, Триумфальная арка…

Кстати, доставка булыжника в Москву для мощения улиц обошлась городскому бюджету в минимальную сумму. А все потому, что крестьяне, везущие в Москву свой товар на продажу, обязаны были по распоряжению Голицына привозить в Москву по одному булыжнику (или по два, что не возбранялось).

Голицын навел порядок на Красной площади, очистив от портящих ее вид масляных лавок и убогих пристроек. Значительно похорошел и собор Василия Блаженного, территорию вокруг этого красивейшего московского храма очистили и облагородили. А колоннада Верхних торговых рядов преобразила главную площадь. При Голицыне лучшие зодчие России отстраивали Москву заново — Бове, Тон, Григорьев, Стасов, Жилярди. По проекту архитектора Тона началась постройка Большого Кремлевского дворца.

Помимо отмеченного двумя императорами успешного выполнения возложенных на него обязанностей, он по своей инициативе выступал застрельщиком многих благих начинаний. «Не было ни одного благотворительного и полезного предприятия, в течение двадцати с лишком лет, где не был бы он вкладчиком, начальником, сподвижником», — с похвалой отзывались о нем москвичи.

Помимо материальных свидетельств успешного градоправления Голицына, есть у него и неосязаемые достижения. Одно из самых главных достижений Голицына-градоначальника состоит в том, что он придал меценатству и благотворительности статус престижной общественной деятельности. К решению возникавших в Москве проблем он прежде всего привлекал

богатейших людей города. Сам князь обычно первым подавал пример, делая первый взнос на благое дело, будь то учреждение больницы, или покупка хлеба для москвичей в голодное время, или помощь петербуржцам, пострадавшим от наводнения.

Кстати, о голоде. Лишь тщанием градоначальника в 1839–1840 годах в Москве цены на хлеб оставались низкими. Неурожай хлеба, постигший Россию, грозил взвинтить стоимость этого продукта первой необходимости на невиданную высоту. Выход был один — наполнить московский рынок большим количеством хлеба. Но для этого требовались большие деньги. Для закупки хлеба в тех губерниях, которые избежали неурожая, Голицын создал что-то вроде денежного фонда, первым внеся в него собственные средства, 60 тысяч рублей. В ответ купцы не заставили себя ждать, всего собрали более миллиона рублей. Привезя в Москву хлеб, они продавали его почти без прибыли для себя. Москвичи не остались голодными.

Московские купцы почти всегда следовали почину Голицына. Он умел найти с ними общий язык, объяснить, убедить в необходимости пожертвований. И потому так уважало его московское купеческое сословие, в 1833 году преподнесшее градоначальнику мраморный бюст. Им было за что благодарить Голицына, проявлявшего большую заботу о московской промышленности, способствовавшего ее развитию. Голицын выбивал для купцов льготы, облегчал рекрутскую повинность. Выстроил на европейский манер Гостиный Двор, ставший одним из красивейших торговых центров Москвы.

С полным основанием мы можем сказать, что Голицын заложил основы московского меценатства.

В 1834 году в Москву пришли пожары. Горели Рогожская Застава, Лефортово. Голицын сам не раз приезжал на тушение пожара. Однажды адъютанты князя испытали немалый страх, когда рядом с ним упала горящая головешка с пылающей крыши.

Уважали Голицына и в Английском клубе, избрав его почетным старшиной в марте 1833 года. Не раз в клубе устраивались званые обеды в честь градоначальника. А в 1830 году Голицын запретил играть в клубе в азартную карточную игру экарте. Члены клуба зашумели («Шумим, братцы, шумим!»), а Пушкин написал об этом так: «Английский Клуб решает, что князь Дмитрий Голицын был неправ, запретив ордонансом экарте. И среди этих-то орангутангов я принужден жить в самое интересное время нашего века!»[129]

Градоначальник опекал и науку московскую. Одно из первых его посещений университета на Моховой состоялось 6 июля 1820 года. «В пять часов пополудни, по прибытии в большую

университетскую аудиторию его сиятельства г. московского военного генерал-губернатора князя Дмитрия Владимировича Голицына и других знаменитых особ, как духовных, так и светских, приглашенных программами, торжество открыто хором, после чего читаны речи: на латинском языке экстраординарным профессором Давыдовым: о духе философии греческой и римской; на российском языке ординарным профессором Сандуновым: о необходимости знать законы гражданские и о способе учить и учиться российскому законоведению. За сим следовала вторая часть хора, потом магистр Маслов прочел сочиненные студентом Тютчевым стихи «Урания», а секретарь совета профессор Двигубский краткую историю университета за прошлый год» — из доклада попечителя Московского учебного округа А. П. Оболенского министру духовных дел и народного просвещения А. Н. Голицыну[130].

В этот день в присутствии генерал-губернатора на торжественном акте в университете молодому, но очень одаренному поэту Федору Тютчеву вручали похвальный лист в торжественном собрании университета. Публичное чтение его оды «Урания» в присутствии градоначальника и прочего начальства означало его официальное признание лучшим университетским пиитом, учеником и преемником Мерзлякова, обычно читавшего в торжественных собраниях свои оды.

Профессиональный военный, Голицын понимал толк и в сельском хозяйстве. Любопытно, что, помимо своих многих должностей, он был и президентом Императорского Московского общества сельского хозяйства. Обязанности свои он выполнял не формально, а с большим интересом, жгучим желанием помочь развитию сельскохозяйственной науки в России. Колоссальный объем работы, проводимой обществом, бросается в глаза, когда читаешь речь Голицына на его «экстраординарном собрании» 12 октября 1835 года по случаю объявления Высочайшего Его Императорского Величества Благоволения[131].

А благодарить императору было за что: под главенством Голицына ученые-аграрии распространяли на Камчатке выращивание овощей, боролись с неурожаем хлеба в самых разных уголках России, сажали картофель, распространяли шелководство, пчеловодство, совершенствовали орудия сельскохозяйственного производства, переработку сахарной свеклы, виноделие, посадку американского табака, овцеводство и многое другое. Много сделал князь Голицын для того, чтобы в нашем отечестве развивалось и процветало сельскохозяйственное земледелие.

Голицын развивал и международные отношения. Москву

посетил внук персидского шаха Хозрев-мирза. От Первопрестольной у него остались самые лучшие впечатления. На столе в кабинете Голицына стоял портрет иностранца. Голицын предложил персам присылать для учебы в Московском университете молодых соотечественников из богатых семей.

С 1820 года Голицын являлся попечителем Московской практической академии[132], немало сделав для развития в городе образования, целью которого была подготовка предпринимателей и коммерсантов.

В создании в Москве учебного заведения для образования будущих мастеров кисти и резца также есть весомая доля усилий генерал-губернатора. Началось всё в 1832 году с основания Московского художественного общества и художественного класса при нем. Как можно догадаться, занимались в классе не самые богатые ученики, а посему подвижники-преподаватели за свой труд ничего не получали. Но зато результаты работы художественного общества оказались настолько весомыми, что уже через 11 лет, в 1843 году, в Москве на его основе открылось Училище живописи, ваяния и зодчества, выпустившее немало одаренных учеников, составивших славу русского изобразительного искусства.

Дмитрию Голицыну довелось управлять Москвой в ту золотую для русской литературы пору, когда в Москве жили и творили Пушкин, Гоголь, Лермонтов, Жуковский, Вяземский, Тютчев, Погодин, Аксаков. Градоначальник, как человек прекрасно образованный, понимал важность посильной поддержки и развития российской словесности. Князь был не просто доступен для литераторов, он стремился к общению с ними. В его доме на Тверской регулярно собирался литературный кружок, он сам выступил инициатором издания в Москве литературных журналов.

Когда мы говорим о пушкинской Москве, то имеем в виду Москву именно голицынского периода. Возвратившись в родной город после пятнадцатилетней разлуки, Пушкин жил и бывал в домах, отстроенных при Голицыне.

Александр Сергеевич, привезенный по указанию царя в Москву в сентябре 1826 года, после встречи с самодержцем, разрешившим поэту жить в столицах, был нарасхват. Многие хотели бы его принять у себя. Со многими он хотел бы встретиться. О князе Голицыне Пушкин был наслышан. И градоначальник, в свою очередь, был прекрасно информирован о том, что Пушкин делает и говорит в Москве.

Дело в том, что в Белокаменную Пушкина пускали, но под надзором полиции. По должности генерал-губернатор Москвы

просто обязан был держать Пушкина под контролем. Обычно, узнав о приезде Пушкина в Москву, князь давал немедленное предписание московскому обер-полицеймейстеру Д. И. Шульгину иметь «означенного отставного чиновника Пушкина под секретным надзором полиции». В ответ Шульгин, как правило, успокаивал градоначальника, что «в поведении Пушкина ничего предосудительного не замечено».

Интересно, что в 1833 году Голицын получил от своего петербургского коллеги письмо с вопросом — а по какой причине над Пушкиным вообще следует осуществлять надзор. В ответ Голицын написал, что сведений о том, по какому случаю признано нужным иметь Пушкина под надзором, у него не имеется. Но от надзора Пушкин все равно не избавился[133].

Сам поэт хорошо относился к Дмитрию Голицыну, ценил градоначальника за порядочность и истинную аристократичность. Судите сами. Успокаивая Вяземского, которого Фаддей Булгарин в своем доносе к царю обвинил в вольнодумстве и разврате, Пушкин пишет: «Для искоренения неприязненных предубеждений нужны объяснения и доказательства — и тем лучше, ибо князь Дмитрий может представить те и другие» (январь 1829 года). Следовательно, Пушкин надеялся, что Голицын поможет опровергнуть донос подлого Булгарина. Это яркий штрих к портрету князя, характеризующий не только его личные качества, но и уважение к нему при дворе. К Голицыну в Санкт-Петербурге действительно прислушивались, и причем очень чутко.

Покровитель наук и искусств, Голицын по воскресеньям давал в своем особняке на Тверской популярные роскошные балы. «Были на славном балу у князя Дмитрия Владимировича; всякий был как дома, оба хозяева очень ласковы, и все были прошены во фраках»[134], — писал А. Булгаков 5 апреля 1820 года.

Гвоздем бальной программы была постановка так называемых живых картин — немых сценок, состоявших из гостей бала. Недаром многие зрители картин еще долго говорили о них, и среди них был опять же Александр Пушкин. Коротая время по пути из Москвы в Петербург, Пушкин вспоминал: «Мое путешествие было скучно до смерти. Никита Андреевич купил мне бричку, сломавшуюся на первой же станции, — я кое-как починил ее при помощи булавок, — на следующей станции пришлось повторить то же самое — и так далее. Наконец, за несколько верст до Новгорода, я нагнал вашего Всеволожского, у которого сломалось колесо. Мы закончили путь вместе, подробно обсуждая картины князя Голицына». (Из письма к Н. Гончаровой от 20 июля 1830 года.)

Дом Голицына был для Пушкина притягательным еще и

потому, что один из первых выходов в свет Натальи Гончаровой также был на балу в губернаторском особняке на Тверской. На одном из своих первых балов у Голицына юная Натали немедля оказалась в круге света. «А что за картина была в картинах Гончарова!» — делился с Пушкиным Вяземский в январе 1830 года, то есть почти за год до бракосочетания поэта. В переписке братьев Булгаковых, неиссякаемом источнике сведений о московском житье-бытье, читаем: «Маленькая Гончарова, в роли сестры Дидоны, была восхитительна»[135].

Однажды Вяземский, зная, что Пушкин давно влюблен в Гончарову, и увидав ее на балу у Голицына, попросил своего приятеля Лужина, который должен был танцевать с Гончаровой, заговорить с нею и с ее матерью мимоходом о Пушкине, с тем чтобы по их отзыву узнать, что они о нем думают. Мать и дочь отозвались благосклонно и велели кланяться Пушкину Так Вяземский рассказывал П. И. Бартеневу.

В доме Голицына Пушкин встречал и других женщин. В 1827 году на балу у Голицына поэт, танцевавший с Екатериной Ушаковой мазурку, сочинил экспромт, ставший стихотворением «В отдалении от вас…». Ушакова написала об этом так: «Экспромт… сказанный в мазурке на бале у князя Голицына». Незабываемые впечатления о встречах с Пушкиным на балу у московского генерал-губернатора остались у поэтессы Евдокии Ростопчиной.

Приглашение Пушкина Голицыным в «Тверской казенный дом», куда поэт приходил не раз и не два, в Петербурге могли трактовать и как личное участие градоначальника в надзоре над поэтом. И что любопытно, подобный же вывод был сделан одним из современников князя, московским поэтом Михаилом Дмитриевым, племянником знаменитого баснописца, и относится уже к послепушкинскому времени.

«В 1842 году учредились литературные вечера у генерал-губернатора Москвы, добродушного и благородного князя Дмитрия Владимировича Голицына, — пишет Дмитриев. — Мы этому очень удивились, потому что он был совсем не литератор. Но вот что было этому причиною. Ему велено было наблюдать, и наблюдать за всеми, бывающими на наших вечерах. Он, как человек благородный, нашел такое средство, чтоб этих же людей приглашать к себе и тем, с одной стороны, узнать скорее их образ мыслей, с другой — успокоить правительство тем, что они и у него бывают! И что же? Эти четверги князя были самыми приятными и лучше всех наших вечеров. **На них говорили свободнее, чем у нас, потому что сам генерал-губернатор был свидетелем и участником этих разговоров: никого уже не**

боялись, а вредных политических рассуждений и без того никому не приходило в голову. На этих вечерах, по желанию хозяина, читались и стихи; кроме того, был всегда прекрасный и тонкий ужин, чего у нас не было! — **Но будь другой на его месте, надзор принял бы другое направление**»[136].

Последнее из выделенных нами предложений является очень важным с точки зрения оценки той роли, что играл Голицын в определении политики власти по отношению к либеральным кругам Москвы. Ведь лучший способ контроля власти над инициативой снизу — возглавить ее.

Многие московские литераторы, преподаватели университета стремились попасть на четверги у князя. Один лишь Гоголь, которого Голицын очень ценил, находил ту или иную причину, чтобы не прийти, например сказывался больным.

Интересен разговор между Шевыревым и Погодиным, с одной стороны, и Голицыным — с другой. Князь спрашивал: «А что же Гоголь?» — «Да что, Ваше сиятельство! Он странный человек: отвык от фрака, а в сертуке приехать не решается!» — отвечали ему. «Нужды нет; пусть приедет хоть в сертуке!» — парировал Голицын и смеялся.

Но однажды Гоголя все-таки удалось заманить. В феврале 1842 года на литературном вечере в генерал-губернаторском особняке на Тверской Николай Васильевич прочитал свою большую статью «Рим». Мы даже знаем точную дату, когда Гоголь пришел к Голицыну. 4 февраля 1842 года Шевырев просил Погодина: «Четверги открываются: завтра ты приглашен. — Гоголь обещал чтение, о котором я говорил князю Голицыну. Нельзя ли устроить его в этот четверг? Поговори ему и спроси у него»[137].

Как пишет Дмитриев, Шевырев и Погодин «привели его и представили князю своего медвежонка. Он приехал во фраке, но, не сказав ни слова, сел на указанные ему кресла, сложил ладонями вместе обе протянутые руки, опустил их между колен, согнулся в три погибели и сидел в этом положении, наклонив голову и почти показывая затылок. В другой приезд положено было, чтоб Гоголь прочитал что-нибудь из ненапечатанных своих произведений. Он привез и читал свою «Аннунциату», писанную на сорока страницах, тяжелым слогом и нескончаемыми периодами. Можно себе представить скуку слушателей: но вытерпели и похвалили. — Тем и кончились его посещения вечеров просвещенного вельможи…»[138]. Что и говорить, злыми словами написано, с плохо скрываемой завистью. Недаром автора этих воспоминаний прозвали лже-Дмитриевым.

Степан Аксаков рассказывал по-другому, по-доброму: «У

Гоголя не было фрака, и он надел фрак Константина (сын С. Т. Аксакова. — *А. В.)*. Несмотря на высокое достоинство этой пиесы, слишком длинной для чтения на рауте у какого бы то ни было генерал-губернатора, чтение почти усыпило половину зрителей; но когда к концу пиесы дело дошло до комических разговоров итальянских женщин между собою и с своими мужьями, все общество точно проснулось и пришло в неописанный восторг, который и остался надолго в благодарной памяти слушателей»[139].

Прошло всего два года, и о памятной встрече Гоголя и Голицына вспомнили в некрологе князя: «Давно ли, кажется, Гоголь читал у него в кабинете «Рим»? Давно ли мы все сидели тут кругом в житном общении мысли и слова?»[140]

Как бы там ни было, но даже если сам Голицын и заснул под чтение Гоголя, то спал крепким и здоровым сном. Ведь скоро он вновь пригласил писателя к себе. Голицын все хотел, чтобы Гоголь почитал «Тараса Бульбу». Но читать пришлось Шевыреву — Голицын был в восторге, «ему очень понравилось — сколько он может оценить»[141].

Лже-Дмитриев выдвигал свою версию странного нежелания Гоголя приходить к Голицыну, связывая ее с «неумением держать себя». А Голицын даже предлагал Гоголю какое-то место в Москве с жалованьем, узнаём мы из переписки Аксаковых. Но Николай Васильевич отказался.

Далеко за пределы Москвы вышли слухи об «эксцентрических выходках» Гоголя в салоне московского градоначальника, наполняясь несуществующими и мифическими подробностями. Люди же, встречавшиеся с ним позднее, находили явное несоответствие рассказов «про недоступность, замкнутость засыпающего в аристократической гостиной Гоголя» тому реальному образу, в котором было столько «одушевления, простоты, общительности, заразительной веселости»[142].

Быть может, Голицын не представлял для Гоголя интерес как для писателя, поскольку не мог служить прототипом для создания какого-либо персонажа? В самом деле, московский градоначальник был полной противоположностью незабвенному городничему Сквозник-Дмухановскому или прожектеру Манилову.

Крепкая дружба связывала Голицына и его семью с Василием Жуковским, поэтом и воспитателем наследников престола, посвятившим градоначальнику стихотворение:

Друг человечества и твердый друг закона,
Смиренный в почестях и скромный средь похвал,

Предстатель ревностный за древний град у трона —
Каких ты доблестей в себе не сочетал?
Любовь высокую к святой земле отчизны,
Самозабвение и непрерывный труд,
В день брани — мужество, в день мира — правый суд,
И чистоту души и жизнь без укоризны…
Вельможа-гражданин! тебе в потомстве мзда!
И зависти назло уже сияет снова
Знакомая Москве бессмертия звезда
Еропкина и Чернышева!

Стихотворение, написанное 12 апреля 1833 года, так и называется — «Дмитрию Владимировичу Голицыну» и было прислано Жуковским из-за границы, когда поэт узнал о том, что общественность Москвы преподнесла своему градоначальнику необычный подарок — бюст из белого мрамора работы Витали. Упомянутые Жуковским Еропкин и Чернышев — предшественники Голицына на посту генерал-губернатора Москвы, Чернышев — двоюродный дед князя. А бюст при жизни Голицына так и не был установлен, что связывают с нежеланием Николая I, якобы заявившего, что ставить прижизненные изваяния чиновникам негоже.

В дневнике Жуковского имена князя и его жены встречаются неоднократно, особенно во время посещения поэтом Москвы. Так, путешествуя по России с наследником, будущим императором Александром II, в 1837 году, Жуковский во время пребывания в Москве 23 июля — 8 августа ежедневно виделся с Голицыным, обсуждая задуманный князем «прожект» описания Москвы[143].

«Прожект», о котором Голицын говорил с Жуковским, нашел воплощение в уникальной книге, на издание которой князь пожертвовал собственные деньги, — «Памятники Московской древности с присовокуплением очерка монументальной истории Москвы и древних видов и планов древней столицы». Авторами книги были видный русский историк, член Императорского общества истории и древностей российских И. М. Снегирев и художник-академик Ф. Г. Солнцев. Книга печаталась в 1842–1845 годах и по сей день редко встречается в антикварных магазинах. Это был один из первых фундаментальных трудов, содержащий подробное описание соборных и приходских церквей, а также церковно-исторических памятников Москвы.

Как-то в 1837 году на очередном собрании литераторов у Голицына градоначальник предложил издавать в Москве новый журнал. Получить разрешение на выпуск такого журнала можно

было лишь в Петербурге, а потому Голицын решил прибегнуть к помощи все того же Василия Андреевича Жуковского. Не прошло и четырех лет, как вышел первый номер журнала, назвали его «Москвитянин», этот «научно-литературный журнал» выходил ежемесячно с 1841 по 1856 год. Возглавляемый Погодиным журнал исповедовал формулу «православие, самодержавие, народность». Может быть, поэтому он и просуществовал 15 лет.

Еще один журнал, изданию которого способствовал градоначальник, — «Московский наблюдатель», выходивший с 1835 года. А вот журнал «Телескоп» и его авторов Голицын не смог спасти от монаршего гнева. Император распорядился П. Я. Чаадаева за его «Философические письма» лечить «по постигшему его несчастию от расстройства ума». «Заботу» о философе поручили Голицыну, благодаря которому тот просидел под полицейским надзором всего несколько месяцев и во вполне сносных условиях. Все это время его пользовал врач, которому Голицын наказал, чтобы за здоровьем Чаадаева пристально следили.

А когда произошло несчастье с видным археографом и историком К. Ф. Калайдовичем (он сошел с ума, как пишет А. Я. Булгаков, «14-е декабря его так поразило, что он от негодования занемог, а там и с ума сошел»), то Голицын выхлопотал для него пансион[144].

Не может не вызывать уважения и такой факт — в канцелярии генерал-губернатора чиновником по особым поручениям служил поэт и друг Пушкина Адам Мицкевич, живший в Москве на положении ссыльного. Вряд ли такое назначение могло быть произведено без санкции князя. Этот факт говорит о многом. Голицын, не страшившийся неприятельской пули, не побоялся пригреть гордого поляка.

Голицын имел дело и с писателями-любителями. В его канцелярии служил Семен Иванович Стромилов, известный своими острыми эпиграммами. Он написал безжалостный памфлет на князя Волконского «Вол, конской сбруею украшенный, стоял» по случаю пожара Зимнего дворца. Сатира дошла аж до Петербурга. Там проведали, что автор ее живет в Москве, и наказали генерал-губернатору немедля найти остроумца и доставить в столицу, предоставив ему возможность продолжить свое творчество в казематах Петропавловской крепости. Сам Бенкендорф взял дело под личный контроль.

Голицыну не понадобилось много времени, чтобы найти автора. Он ведь сам набирал в свою канцелярию чиновников, молодых да ранних, и знал, кто на что способен. Вызвав Стромилова к себе, он показал ему письмо из Петербурга.

Стромилов помертвел. «Вот, — сказал князь, — Бог дает вам, молодым, таланты, а вы обращаете их себе во вред. Пиши на меня, а это <…> не тронь»[145]. Он велел Стромилову тотчас ехать домой и сжечь все «результаты» творчества. В Петербург же генерал-губернатор отписал, что автора найти не удалось. Этот удивительный факт из биографии Голицына был опубликован почти через полвека после его смерти.

Известна характеристика, данная Голицыну в ежегодном отчете Собственной Его Императорского Величества канцелярии в 1837 году: «Князь Голицын — хороший человек, но легкомыслен во всем; он идет на поводу у своих приверженцев и увлекаем мелкими расчетами властолюбия. Во всем, впрочем, он очень предан трону и вполне благонамеренный человек»[146].

Характеристика довольно противоречивая. Что значит «хороший человек»? Для кого хороший? Для того, кому предназначался отчет, или для окружения Голицына, или для москвичей?

Москвичи были от него в восторге, окружение тоже — он ведь сам его подбирал. А вот трон… Голицын был слишком либерален. И потому в том же отчете читаем: «Главное ядро якобинства находится в Москве». Не покривили душой подчиненные Бенкендорфа. Написали правду. Подтверждение сему мы находим в воспоминаниях англичанина Колвила Фрэнк-ленда, гостившего в Москве в 1831 году и издавшего позднее в Лондоне свой дневник «Описание посещения дворов русского и шведского, в 1830 и 1831-х гг.».

Удивительные вещи «описал» Фрэнкленд, будто под диктовку специалистов из Третьего отделения. Причем приехал англичанин в Москву из Петербурга и мог, следовательно, сравнивать.

Побывал Фрэнкленд и у Александра Пушкина на Арбате, пообщавшись там за обедом с «приятными и умными русскими» — Петром Вяземским и Иваном Киреевским. Фрэнкленд узнал для себя много нового о московском обществе. После разговора за обеденным столом он записал в своем дневнике, что в Москве, в отличие от столицы, существует вольность речи, мысли и действия. Последние обстоятельства делают Москву, по мнению англичанина, приятным местом для него, живущего под девизом «гражданская и религиозная свобода повсюду на свете». Какая интересная характеристика голицынской Москвы!

Колвил Фрэнкленд в своих рассуждениях пошел еще дальше: «Факт тот, что Москва представляет род встреч для всех отставных, недовольных и уволенных чинов империи, гражданских и военных. Это ядро русской оппозиции. Поэтому

почти все люди либеральных убеждений и те, политические взгляды которых не подходят к политике этих дней, удаляются сюда, где они могут сколько угодно критиковать двор, правительство и т. д., не слишком опасаясь какого-либо вмешательства властей». Интересно, что же такое говорили у Пушкина за обедом, что позволило иностранцу сделать столь неожиданные выводы? И это притом что Александр Сергеевич, если ему верить, не очень любил распространяться при иностранцах о внутриполитических российских проблемах: «Я, конечно, презираю отечество мое с головы до ног — но мне досадно, если иностранец разделяет со мною это чувство»[147].

А эта фраза: «Могут сколько угодно критиковать двор, правительство и т. д., не слишком опасаясь какого-либо вмешательства властей»! А власти — это и есть генерал-губернатор Голицын. Каким же искусным дипломатом надо быть, чтобы на императора производить впечатление преданного трону и вполне благонамеренного, а для либералов российских быть почти своим. Недаром, когда в энциклопедиях пишут о Голицыне, чаще всего приводят такую его характеристику, данную одним из современников: «умение в обхождении с людьми, искусство возбудить усердие, согласить противоречия».

Не раз на поле брани выказывал он свою преданность отечеству. Но то была пора военной страды. А в мирное время? Оказывается, что это еще труднее. Когда он узнал о смерти генерала Милорадовича, своего коллеги, если можно так выразиться, горе его было безмерным. Милорадович погиб не в бою, а на Сенатской площади, защищая трон и отечество.

И если бы Голицыну суждено было быть в тот день на месте Милорадовича, если бы в Москве произошло то, что случилось в столице, несомненно, он поступил бы так же. Но в Москве такого не случилось. Собравшиеся 15 декабря 1825 года московские заговорщики не решились поднять восстание и арестовать генерал-губернатора.

То были трудные дни междуцарствия и неуверенности в будущем, питавшиеся слухами и домыслами, доходившими из Петербурга. В ночь с 16 на 17 декабря Голицын наконец-то получил письмо от Николая I, в котором говорилось: «Мы здесь только что потушили пожар, примите все нужные меры, чтобы у вас не случилось чего подобного»[148].

Привезший письмо от царя генерал-адъютант Евграф Комаровский позднее вспоминал: «Я приехал в Москву в ночь с четверга на пятницу и остановился у военного генерал-губернатора князя Голицына. Он мне сказал, что ожидал меня с большим нетерпением, ибо в Москве уже разнесся слух о

восшествии императора Николая Павловича на престол, а между тем официального известия он не получал. Князь Голицын послал за старшим обер-прокурором правительствующего сената московских департаментов, князем Гагариным, чтобы повестить господ сенаторов собраться в сенат для выслушания манифеста о восшествии на престол императора Николая I, и к архиепископу Филарету — для приведения к присяге в Успенском соборе в восемь часов утра. Я поехал с князем Голицыным в одной карете в сенат, где мне дан был стул. По прочтении манифеста и всех приложений отправились в Успенский собор»[149].

Как следует из рассказа Комаровского, Голицын «нужные меры» принял: 18 декабря в Успенском соборе москвичи торжественно присягнули новому императору. Николай остался очень доволен Голицыным и тем, как присягнула Москва. Особенно порадовал его подарок московского купечества, преподнесенный Комаровскому — вызолоченный кубок на блюде, весьма древней работы, с тысячью червонцев и надписью: «Вестнику о всерадостнейшем восшествии на престол императора Николая Павловича от московского купечества». Очень приятно было слышать самодержцу, что «московские купцы называют наследника престола — своим кремлевским, ибо его высочество действительно родился в стенах сего знаменитого и древнего жилища наших царей».

Награда не заставила себя ждать — на Рождество Христово 1825 года государь пожаловал князю Дмитрию Голицыну высший орден Российской империи — орден Святого апостола Андрея Первозванного. За войну не получал он награды выше. Как сказано было в высочайшем рескрипте, Голицына наградили «в ознаменование того постоянного уважения, которым он пользовался от Императора Александра I, и сохранения в первопрестольной Столице примерного порядка, сопряженного с истинною пользою Отечества».

Досталось и другим: тот же орден — графу П. А. Толстому, который командовал тогда в Москве 5-м армейским корпусом, а архиепископу Филарету — бриллиантовый крест на черный клобук — отличие, какого прежде его никто в сане архиепископа не имел. Но не все обстояло так хорошо…

Как выяснилось позднее, гражданская канцелярия Голицына была чуть ли не рассадником будущих декабристов. Экспедитором в канцелярии работал С. М. Семенов, названный Д. Н. Свербеевым «душою тайного политического общества, подготовившего мятеж декабристов»[150].

К Б. К. Данзасу градоначальник и вовсе испытывал сыновние чувства. «Из служащих при князе Дмитрии Владимировиче взяты

еще Кашкин молодой, Зубков и Данзас; этот последний был при князе, как родной сын», — сообщал 11 января 1826 года А. Я. Булгаков своему брату об арестах декабристов в Москве[151].

А после декабристской эпопеи отсидевшего в Петропавловке, а затем и на гауптвахте Данзаса в октябре 1829 года Голицын вновь взял на работу чиновником для особых поручений. Градоначальник не стеснялся демонстрировать публично свое расположение к Данзасу, появляясь на публике с ним рука об руку. Об этом сигнализировали в Петербург агенты Третьего отделения, отмечая, что в мае 1827 года Голицын появился в Сокольниках на народном гулянье в одной коляске с Данза-сом: «Голицын не нашел себе другого собеседника и… появился с человеком, которого лета, пост и звание нимало не соответствовали особе генерал-губернатора!»[152] В 1830 году Данзас принимал активное участие в борьбе с холерой.

Еще один член тайного общества, Александр Павлович Бакунин (тот, что учился когда-то с Пушкиным), не только служил в канцелярии Голицына камер-юнкером в 1824–1828 годах, но и стал его родственником, женившись в июле 1824 года на его племяннице А. Б. Зеленской, одной из дочерей его старшего брата князя Бориса[153].

Еще один активный заговорщик, пользовавшийся безграничным доверием Голицына, — Иван Иванович Пущин. С 1823 года он служил надворным судьей у Голицына, который был им чрезвычайно доволен за то, что Пущин «воевал против взяток»[154]. Пущин был еще и другом семьи Голицыных. Как-то на балу у московского генерал-губернатора в особняке на Тверской князь Борис Юсупов заметил неизвестного ему человека, танцующего с дочерью градоначальника (Юсупов знал весь московский свет в лицо).

— Кто этот молодой человек? — спросил Юсупов.

— Надворный судья Пущин, — отвечают ему.

— Как! Надворный судья танцует с дочерью генерал-губернатора? Это вещь небывалая, тут кроется что-нибудь необыкновенное[155].

Но для Голицына это было в порядке вещей. Жаль, что Пущина приговорили к вечной каторге, если бы ему разрешено было вернуться в Москву, несомненно, Голицын не оставил бы его без работы.

Среди арестованных чиновников московского военного генерал-губернатора был и В. П. Зубков, упоминавшийся в переписке Булгаковых. Во многом благодаря Голицыну бывшие декабристы сделали в будущем неплохую карьеру, например, Данзас и Зубков стали впоследствии сенаторами.

«Он украшал тебя, Москва, он любил доставлять тебе наслаждения всех просвещенных стран Европы, он двигал всякую в тебе деятельность, он делил с тобой твои бедствия»[156].

Да, Голицын сделал для старой столицы безмерно много. Москва немало ему обязана. Именно на Голицына было возложено непосредственное руководство строительством храма Христа Спасителя. Как московский градоначальник князь возглавил комиссию по сооружению этого памятника в честь «избавления Церкви и Державы Российские от нашествия галлов и с ними двадесяти язык», как говорилось в высочайшем указе императора Александра I от 25 декабря 1812 года. В тот же день царь подписал и высочайший манифест о построении в Москве церкви во имя Христа Спасителя.

Событие это было неординарным, ведь еще со времен Петра Великого военные победы отмечались сооружением Триумфальных врат в Петербурге и Москве. А тут — храм. Да какой! Сразу на ум приходила более древняя русская традиция — отмечать славные победы возведением церквей. Один из таких храмов-памятников — собор Василия Блаженного на Красной площади, поставленный Иваном Грозным в честь победы над Казанью. Сооружение нового храма в Москве свидетельствовало об огромном значении для России победы в Отечественной войне 1812 года.

Закладка первого храма, на Воробьевых горах, произошла еще при прежнем градоначальнике в 1817 году. Но работа по воплощению грандиозного замысла затянулась. Неподходящие природные условия на Воробьевых горах и просчеты в организации строительных работ не позволили осуществить первоначальный план постройки храма по проекту архитектора А. Витберга, на которого и была возложена основная ответственность за срыв строительства. За это время (19 ноября 1825 года) скончался главный инициатор строительства храма — император Александр I. Сменивший его Николай I приказал Голицыну остановить работы по строительству.

И мая 1827 года все строительные работы на Воробьевых горах были прекращены. «Комиссия о сооружении в Москве Храма во имя Христа Спасителя» закрыта. Вся документация и казенное имущество были переданы в ведение московского военного генерал-губернатора Голицына. Весной 1830 года по приказанию царя Голицын собрал ведущих российских архитекторов для обсуждения дальнейших планов по возведению храма. Столичные зодчие, за исключением Константина Тона, выразили готовность продолжать проектирование и строительство на Воробьевых

горах. Московские же архитекторы предложили новые места для строительства храма (Осип Бове и др.). Однако именно проект петербуржца Тона и был поддержан Голицыным и в итоге утвержден Николаем I в конце 1831 года. Он же выбрал и новое место для храма — на Волхонке.

10 апреля 1832 года Николай I послал Голицыну следующее предписание: «Блаженной памяти Император Александр I, побуждаемый чувством благоговения и благодарности… повелел соорудить в Москве храм во имя Христа Спасителя, памятник, достойный великих событий того времени и сердца великого Государя. В 1817 году храм сей был заложен на Воробьевых горах, но непреодолимые препятствия… остановили предприятие. Надлежало избрать другое, более удобное и приличнейшее место: таким признано нами занимаемое ныне Алексеевским девичьим монастырем, как находящееся среди самого города и положением своим подобное первому месту. Утвердив ныне проект сооружаемого храма… Нам приятно поручить вам возвестить любезно верным жителям первопрестольной столицы Нашей, что обет, произнесенный Им в незабвенный день спасения России, будет при помощи Божией совершен»[157].

Голицын проявил свой полководческий талант в деле организации строительства храма. Во избежание повторения прежних ошибок он предложил новый и понятный порядок работ, позволивший избежать привычного в таких случаях казнокрадства. Как глава комиссии по сооружению храма он разделил ответственность на «хозяйственную» и «искусственную». Первую несли чиновники, отвечавшие за приобретение и заготовку материалов, расходование средств, торги, подряды и др. За другую сторону работы отвечали архитекторы во главе с Тоном, строители, инженеры и др.

Раздумывая над тем, как выстроить систему, позволяющую открыто и постоянно контролировать расходование средств на строительство, Голицын предложил идею создания при комиссии специального экспертного органа — совета, в который были включены независимые и авторитетные архитекторы, художники и заслуживающие доверия чиновники. А ведь деньги на строительство требовались немалые. Только на первое время из казны было выделено почти полтора миллиона рублей.

Перед Голицыным стояла непростая задача. Боевой генерал должен был победить не вражескую армию, а привычные и в то время недостатки — волокиту, воровство, бесхозяйственность и дезорганизованность. И ему это удалось.

10 сентября 1839 года на Волхонке состоялась закладка храма. Свидетелем торжественной церемонии был и юный Лев

Толстой. Его вместе с другими детьми привезли специально из Ясной Поляны, чтобы они увидели это знаменательное событие. Будущий писатель наблюдал за торжественной церемонией из окна дома Милютиных, московских знакомых Толстых. Дом этот стоял недалеко от храма и не сохранился до наших дней. Левушка видел и генерал-губернатора Голицына, и почтившего своим присутствием сие событие царя Николая I, принимавшего парад гвардейского Преображенского полка.

Голицын не увидел окончания строительства храма, освящен он был только в 1883 году, через 44 года. Но москвичи во многом обязаны были именно своему тридцать девятому генерал-губернатору за то, что храм в итоге был построен и стал подлинным памятником Отечественной войне 1812 года. На стенах храма, увековечивших главные события войны и их участников, не раз встречалась и фамилия князя Голицына.

Борьба с холерой, охватившей Москву в 1830 году, — также в ряду благородных деяний градоначальника. Эпидемия пришла с Ближнего Востока и завоевывала Россию с юга: перед смертельной эпидемией пали Астрахань, Царицын, Саратов. Летом холера пришла в Москву. Скорость распространения болезни была такова, что всего за несколько месяцев число умерших от холеры россиян достигло двадцати тысяч человек.

Голицын объявил настоящую войну холере, проявив при этом качества прирожденного стратега и тактика. Каждый день в казенном доме на Тверской заседал своеобразный военный совет — специальная комиссия по борьбе с эпидемией. Градоначальник окружил Москву карантинами и заставами. У Голицына в Москву даже мышь не могла проскочить, не говоря уже о людях. Сам Пушкин не мог прорваться в Москву, к своей Натали. Направляясь из Болдина в Москву и застряв по причине холерного карантина на почтовой станции Платава, 1 декабря 1830 года поэт шлет в Москву Гончаровой просьбу: «Я задержан в карантине в Платаве: меня не пропускают, потому что я еду на перекладной; ибо карета моя сломалась. Умоляю вас сообщить о моем печальном положении князю Дмитрию Голицыну — и просить его употребить все свое влияние для разрешения мне въезда в Москву… Или же пришлите мне карету или коляску в Платавский карантин на мое имя»[158]. С колясками тоже были проблемы — Голицын приказал окуривать каждую коляску, въезжавшую в Москву.

Голицын организовал своеобразное народное ополчение. Сотни москвичей, среди них студенты закрытого на время карантина Московского университета, стали добровольцами в борьбе с болезнью, работали в больницах и госпиталях.

«Один в поле не воин», — гласит народная пословица. А потому Голицын собрал у себя и тех уважаемых горожан, что не покинули Москву, призвав их стать подвижниками и взять под свое попечение и надзор разные районы Москвы. Каждый надзиратель имел право открывать больничные и карантинные бараки, бани, пункты питания, караульные помещения, места захоронения, принимать пожертвования деньгами, вещами и лекарствами. Среди попечителей были и те, кто воевал с Голицыным бок о бок. Например, генерал-майор и бывший партизан Денис Давыдов, принявший на себя должность надзирателя над двадцатью участками в Московском уезде, вследствие чего число заболеваний на подведомственной ему территории резко пошло на спад. С Давыдова Голицын призывал брать пример.

А другие москвичи тем временем покидали родной город (у кого была такая возможность). Третьи же заперлись в своих домах, «как зайцы». Последнее сравнение принадлежит Михаилу Погодину. «К Аксаковым я езжу только под окошки. Все заперлись: Загоскин, Верстовский, как зайцы. Елагины все здоровы; не езжу к ним, чтобы не принесть случайно заразы», — писал в эти дни Погодин С. Шевыреву[159].

Помимо лучших медиков, свезенных в Москву по просьбе государя, Голицын прибег и к помощи народных целителей. Он узнал, что в Смоленской губернии некий мещанин по фамилии Хлебников по-своему лечит холерных больных: уксусом и сеном, распаренным в горшке. Несмотря на сопротивление официальной медицины (лечившей кровопусканием), Голицын призвал целителя к себе и распространил его опыт на всю Москву.

В годы Отечественной войны 1812 года о положении дел на фронте москвичам рассказывали ростопчинские афиши. Приравняв ситуацию в Москве к осадному положению, Голицын распорядился выпускать специальное приложение к «Московским ведомостям» — ежедневную «Ведомость о состоянии города Москвы». Для организации выпуска ведомости он привлек Михаила Погодина.

Цель этого издания была объявлена следующая: «Для сообщения обывателям верных сведений о состоянии города, столь необходимых в настоящее время, и для пресечения ложных и неосновательных слухов, кои производят безвременный страх и уныние, Московский Военный Генерал-Губернатор князь Д. В. Голицын предписал издавать при временном Медицинском Совете особливую Ведомость, в которой будут сообщаться официальные известия о приключившихся внезапных болезнях и смертях; известия о действиях холеры в прочих местах; разные

наставления о том, какие должно жителям принимать предосторожности; известия о мерах, принимаемых Правительством для отвращения заразы».

Первый выпуск ведомости вышел 23 сентября 1830 года. Градоначальник распорядился распространять газету бесплатно, что позволило вскоре значительно улучшить нравственно-психологическую обстановку в Москве. Газету читали не только в городе, но и в провинции. Как писал отсиживающийся за пределами Москвы А. С. Хомяков, из этой газеты он узнавал, «сколько добрых людей в Москве на тот свет отправляется… Даже в 12-м году не с большим нетерпением ожидали газет, чем мы ваших бюллетеней, — продолжал Хомяков. — Нужно ли мне прибавить, с каким удовольствием я всегда взгляну на подпись, доказывающую мне неоспоримо, что по крайней мере один приятель в Москве жив и здоров»[160].

Как и в 1812-м, в 1830 году Москве пришла на помощь вся Россия. Достаточно сказать, что в Первопрестольную приехал сам император. Причем за несколько дней до этого, 26 сентября 1812 года, он написал Голицыну: «С сердечным соболезнованием получил я ваше печальное известие. Уведомляйте меня с эстафетами о ходе болезни. От ваших известий будет зависеть мой отъезд. Я приеду делить с вами опасности и труды. Преданность в волю божию! Я одобряю все ваши меры. Поблагодарите от меня тех, кои помогают вам своими трудами. Я надеюсь всего более теперь на их усердие»[161].

Но 29 сентября 1830 года Николай уже был в Москве. О том, как встретились царь и градоначальник, сохранилось занятное свидетельство Александра Булгакова: «Государь изволил прибыть 29-го сентября в 10 часов утра и вышел из коляски прямо в наместнический дом на Тверской. Люди бросились было докладывать князю Дмитрию Владимировичу, но Государь запретил говорить, а только приказал проводить себя прямо к князю, который, встав только что с постели, перед зеркалом чистил себе рот, в халате своем золотом. Государь тихонько к нему подкрался. Можно себе представить удивление князя, увидя в зеркале лицо Государя, тогда как он еще накануне имел от его величества приказание письменное посылать всякий день курьеров! Князь, не доверяя близорукому своему зрению, обернулся и увидел стоящего перед собою императора. Замешательство его было еще более умножено страхом: что должен был Государь подумать, найдя наместника своего в столь смутное время в 10 часов еще не одетого! Но милосердный Николай, обняв его, начал разговор сими словами: «J’espre, mon Prince, que tout le monde Moscou se porte aussi bien que vous» (Я надеюсь, мой Князь, что все

в Москве так же хорошо себя чувствуют, как вы. — *фр.)*. Потом, запретя князю одеваться наскоро, сел возле него и более получаса говорил о вещах самонужнейших, изъявляя благоволение свое за содействие, оказанное князю высшим и низшим классами: дворянства, купечества, медиков; одобрял взятые меры, кроме крестных ходов, находя, что прибегать должно к ним в самых крайностях и что они могут быть вредны по великому стечению народа в одно место»[162].

Из приведенной цитаты следует, что Булгаков с некоторым сарказмом рисует образ Голицына — борца с холерой. Булгаков считал, что Голицын переоценил опасность эпидемии, что и вызвало приезд царя, упавшего как снег на голову московскому градоначальнику: «Конечно, князь Голицын предался с самого начала напрасному страху, который передал и в Петербург; надобно было поддержать написанное. После смертность, действительно, умножилась, но когда заставила Государя решиться ехать сюда, не было еще доказано, что точно умирали холерою, и самые сведения, ежедневно печатаемые о состоянии города, говорили глухо о умерших с признаками холеры».

Однако принятые Голицыным меры показали, что он отнюдь не преувеличил смертельную опасность и размеры эпидемии. Более того, в Москве, в отличие от других городов России, не случилось холерных бунтов. В Новгороде, например, в военных поселениях произошли волнения. Солдаты взбунтовались под предлогом, что их хотят отравить. «Генералы, офицеры и лекаря были все перебиты с утонченной жестокостью. Император отправился туда и усмирил бунт с поразительным мужеством и хладнокровием. Но нельзя допускать, чтобы народ привыкал к бунтам, а бунтовщики — к появлению государя»[163].

Неспокойно стало и в столице. В эпидемии обвинили врачей: «Времена стоят печальные. В Петербурге свирепствует эпидемия. Народ несколько раз начинал бунтовать. Ходили нелепые слухи. Утверждали, что лекаря отравляют население. Двое из них были убиты рассвирепевшей чернью. Государь явился среди бунтовщиков»[164].

В Москве же такого не было опять же благодаря Голицыну. Николай потому и приехал, предполагая, если появится необходимость, вновь лично успокаивать народ, так сказать, применять ручное управление страной. Но этого не потребовалось. Пробыв в Москве десять дней, он уехал успокоенным и уверенным в скорой победе над холерой. При этом он вновь высоко оценил работу Голицына и всей его администрации. Вспоминаются слова Александра Герцена: «Князь Голицын, тогдашний генерал-губернатор, человек слабый, но

благородный, образованный и очень уважаемый, увлек московское общество, и все уладилось по-домашнему, то есть без особенного вмешательства правительства».

А Булгаков был не одинок в своей иронии. По Москве ходили ядовитые карикатуры на Голицына, вызванные тем, что градоначальник на некоторое время эпидемии выехал из своего особняка на Тверской, переселившись в дом Небольсина на Садовой-Кудринской улице: «При всей доброте и благожелательности каждому Голицыны имели, однако, недоброжелателей и завистников, которые старались при случае повредить им в общественном мнении. Так, во время первой холеры, когда все ужасно трусили от этой новой и неизвестной болезни, князь и княгиня выехали из своего казенного дома, что на Тверской, и на время переехали на житье в дом губернатора Небольсина, находившийся на Садовой. Там жила старушка очень почтенная, тетка Небольсина, Авдотья Сильвестровна, которую Голицыны почему-то особенно любили и уважали, и во все время холеры там и прожили»[165].

Некоторые и вовсе пишут, что Голицын «убежал» от холеры[166], но это несправедливо. Голицын не покинул подчиненный ему город. А в истории Москвы были и такие градоначальники, которые в трудное время бросали ее, причем в похожих обстоятельствах.

За 60 лет до описываемых событий в Москву пришла чума. Люди умирали тысячами. В ту пору генерал-губернатором Москвы служил Петр Семенович Салтыков, уверовавший, что главным лекарством от чумы могут быть молебны и крестные ходы. Не проявив необходимых для такого ответственного поста качеств и испугавшись народного гнева, в сентябре 1771 года он бежал из города в свое подмосковное имение Марфино, прихватив полк солдат и даже пушки. Его примеру последовал и подчиненный — московский обер-полицмейстер генерал-майор Бахметьев. На следующий день начался чумной бунт, направленный против врачей-вредителей немецкой национальности, которых просто переубивали. Сожгли больницы и карантинные бараки. А затем гнев обратился супротив архиепископа Московского Амвросия, запретившего молебны и крестные ходы как средство распространения эпидемии. Архиепископа поймали и растерзали. Лишь привлечение армии к усмирению бунтовщиков прекратило беспорядки.

При Голицыне же все было с точностью до наоборот. И хотя Салтыков был фельдмаршалом, а Голицын — генералом от кавалерии, проявил Дмитрий Владимирович себя в этой ситуации как настоящий фельдмаршал.

Все принятые Голицыным меры позволили в 1831 году победить холеру. Даже в Европе заметили, как «едва ли в каком-нибудь ином городе так умно обошлись с холерой, как в Москве»[167].

Расскажем теперь о семье князя. Еще в феврале 1800 года Дмитрий Владимирович Голицын венчался с фрейлиной (с 1797 года) Татьяной Васильевной Васильчиковой (1783–1841), дочерью новгородского губернского предводителя дворянства В. С. Васильчикова. Мать жениха, Наталья Петровна, сама когда-то вышедшая замуж ради графского титула, была невысокого мнения о роде Васильчиковых и, как говорится, в упор не видела невестку, с трудом согласившись на бракосочетание.

Неприятие матерью невестки не омрачило семейного счастья молодой четы Голицыных. Знавшие супругу градоначальника отзывались о ней как о весьма умной, «благочестивой и высокодобродетельной женщине, рожденной для семейной тихой жизни». В ее чертах не было красоты, но присутствовала «чарующая прелесть во взоре, улыбке, словах»[168]. Ее неоспоримые достоинства, в конце концов, смягчили нрав свекрови, заставив ее переменить отношение к невестке.

Прижимистая мамаша отказала своему младшему сыну подмосковное имение Рождествено, где и обосновались новобрачные. Это была не самая благоустроенная усадьба. Старый, видавший виды дом, нуждавшийся в подновлении. Пришедшие в негодность флигели. Тем не менее Голицыны вскоре придали имению достойный и приличный вид.

«Дом был отделан внутри очень просто: везде березовая мебель, покрытая тиком; нигде ни золоченья, ни шелковых материй, но множество портретов семейных в гостиной и прекрасное собрание гравированных портретов всех известных генералов 1812 года. В зале либо в биллиардной была большая семейная картина во всю стену — изображение семейства Чернышевых; фигур много и все почти в натуральную величину, кисть по времени прекрасная: надобно думать, что такая картина стоила очень больших денег, когда портретная живопись была искусством, а не ремеслом, как сделалась впоследствии»[169].

Проживая в Рождествене, Татьяна Васильевна Голицына, очень любившая цветы, сама занималась садом, устроила в усадьбе оранжереи с диковинными растениями. Как говорила Голицына, «самое счастливое время ее жизни было, когда князь был в отставке и они подолгу живали в Рождествене до назначения князя в Москву»[170].

Пока ее муж воевал на поле брани, Татьяна Васильевна

занималась активной общественной деятельностью. В декабре 1812 года супруга Александра I, императрица Елизавета Алексеевна возглавила «Общество патриотических дам», одной из первых в организацию вступила Голицына. Деятельность общества была направлена на «вспомоществование бедным, от войны пострадавшим».

Под стать мужу, ставшему градоначальником, Голицына была одной из первых меценаток в Москве: ее попечениями в Москве был основан дом трудолюбия, учреждены сиротские училища, она заботилась «о распространении образования среди девиц бедного класса» и о детях-сиротах в приютах.

В 1826 году щедро раздававший титулы и чины (по случаю своего вхождения на престол) Николай I пожаловал ее в статс-дамы. Также княгиня Голицына была удостоена ордена Святой Екатерины 2-й степени.

Татьяна Васильевна не отличалась крепким здоровьем. Часто прихварывала, для лечения выезжая за границу. Как-то после очередного возвращения на родину она загорелась идеей наладить в своей усадьбе промысел по плетению из лозы корзин и прочей утвари. В Германии и Швейцарии, где она побывала, в некоторых деревнях это было основным занятием крестьян.

Супруг поддержал интересное начинание. Дело пошло. И вскоре взоры княгини обратились уже за пределы усадьбы — она решила организовать в Больших Вяземах подобное же предприятие, но большее по размерам. Довольно быстро освоившие ремесло лозоплетения крестьяне изготавливали удобные и долговечные предметы домашнего обихода, а также мебель. Промысел стал разрастаться, прославив вяземских кустарей на всю Россию. Ко второй половине XIX века Большие Вяземы стали крупнейшим в империи центром плетения из лозы. Жаль, что княгиня Голицына не застала расцвета своего детища. Но в историю «Вяземского общества корзиноплетения» оно вписано прочно.

«Она давно уже жила для неба и как будто на небе…» — так выразился о княгине один из современников по случаю ее кончины в 1841 году; Татьяна Васильевна скончалась, не дожив до шестидесяти лет.

У Голицыных было пятеро своих детей: дочери Екатерина (1802–1881), Наталия (1804–1880) и сыновья Василий (1804–1827), Владимир (1815–1888) и Борис (1819–1878), а также приемная дочь Екатерина, турчанка по происхождению, привезенная с театра военных действий. В семье воспитывались и внебрачные дети старшего брата мужа, Бориса Голицына: Анна (1802–1835) и Софья (1809–1871).

Между детьми существовала большая разница в возрасте, по поводу чего Татьяна Васильевна говорила: «Когда в семействе бывают дочери и сыновья, воспитание одних мешает, обыкновенно, воспитанию других; я в этом была особенно счастлива; когда воспитание моих дочерей окончилось, и я отдала их замуж, тогда началось воспитание сыновей, и я могла исключительно ими заняться»[171].

Дочери удачно вышли замуж, став, как и их мать, статс-дамами. А сыновья Владимир и Борис, как и положено мужчинам из рода Голицыных, дослужились до генералов.

«Доблестный сановник, острый меч и верный глаз царский. Его не столько любили как начальника, сколько как человека»[172]. Любили его и при дворе — в 1841 году Голицын удостоился титула светлейшего князя с нисходящим потомством (Кутузов стал светлейшим в 1812 году). Это была очень высокая оценка всего сделанного Голицыным для Москвы. Отныне к князю следовало обращаться не «Ваше сиятельство», а «Ваша светлость». Жаль, что Голицыну оставалось слышать эти слова всего три года.

Что мы еще можем сказать о Голицыне? Был он близорук, по-русски объяснялся с французским акцентом. Но при этом умел находить язык с людьми самых разных слоев общества. И с дворянами, и с дворней. Рано поседевший (в тридцать лет), как пишет Шевырев, «ни в плечах, ни в поступи его, несколько неровной, не заметно было тяжести лет. Черты лица его не имели правильности, но исполнены были того благородного выражения, которое всем внушало сочувствие. Чело всегда носило следы важной думы. Уста скорее готовы были к улыбке, нежели к слову гневному». Вот такой получился словесный портрет.

Самые разные источники называют в числе личных качеств Голицына слабость — и Третье жандармское отделение, и Герцен. Согласитесь, со столь разных точек зрения слово это имеет разное толкование. Шевырев в посмертном слове объясняет это так: «Со стороны осуждали его в недостатке строгости, но те забывали, что человеку трудно совместить ее в одном сердце с человеколюбием, которое выше правды закона».

Голицын относился к Москве как к своей армии, понимая, что ему отвечать перед императором за все победы и поражения. Недаром многие пишут, что он царствовал в Москве. Для москвичей он был царь и Бог. Деяниями своими он внушил москвичам, что он есть единственное олицетворение высшей справедливости в Москве.

Когда в самом начале его градоначальства из столицы прислали чиновника проверять работу судов московских, Голицын отправил его обратно, сопроводив смелыми словами:

«Пока я в Москве, никто Москву ревизовать не смеет». В самой Москве об этом довольно быстро узнали и выводы сделали.

В 1825 году Голицын выпустил из тюрьмы арестованных за торговлю без специального свидетельства крестьян. В столице с его решением смирились. Дело в том, что в соответствии с гильдейской реформой 1824 года в Российской империи была увеличена плата для крестьян за право торговать своим товаром. Для ведения торговли необходимо было покупать свидетельство стоимостью 120 рублей, что оказалось непосильной ношей для многих, вынуждая их нарушать новые правила торговли. За это их сажали за решетку. Таким образом, московские тюрьмы оказались переполнены людьми, представлявшими самые небогатые сословия. Дав им свободу, Голицын совершил весьма благородный поступок. В дальнейшем плату за свидетельства и вовсе отменили.

С Третьим отделением Голицын не стал вступать в открытое противостояние, пойдя на военную хитрость. В противовес ему он создал свою секретную службу при собственной канцелярии. Своих агентов он внедрил и в жандармерию, не побоявшись спровоцировать неудовольствие самого начальника жандармов Бенкендорфа. Таким образом, он имел возможность узнавать о содержании отправляемых в Петербург отчетов еще до того, как они туда поступали. Если хотите, Голицын таким образом отстаивал независимость Москвы. И потому, когда московский канцелярский чиновник по особым поручениям Ф. Тургенев предложил Бенкендорфу свою «помощь» в деле слежки за Голицыным, Александр Христофорович немедля оповестил об этом Дмитрия Владимировича. В этом видится не только проявление благородства, но и уважение к «противнику».

Многие знавшие Голицына москвичи отмечали его открытость и демократизм, да еще и чувство юмора. Два раза в неделю он принимал просителей. Но даже в неурочные дни и часы можно было попасть к нему на прием. Граф Соллогуб рассказывает такую интересную историю. Как-то в начале декабря по делам ехал он в Москву. Морозы стояли жестокие; верст сорок не доезжая до Белокаменной, Соллогуб оставил свой багаж на станции, а сам в легких санках пустился в Москву. Приехав в Первопрестольную, он обнаружил, что из всей обуви при нем лишь одни валенки. Тогда он решил послать слугу за сапогами к своему брату Сергею Голицыну (в свете его звали Фирсом). Фирс Голицын, известный шутник и сумасброд, сказал слуге, что он не тот Голицын, который должен дать сапоги. А настоящий Голицын живет на Тверской, в большом казенном доме.

Откуда слуге было знать все подробности о столь

многочисленном роде Голицыных! Поверив сказанному, он отправился на Тверскую за сапогами. Что же было дальше?

«В то время Москвой управлял, в Москве царствовал, если можно так выразиться, князь Дмитрий Владимирович Голицын, один из важнейших в то время сановников в России. Это был в полном смысле настоящий русский вельможа, благосклонный, приветливый и в то же время недоступный. Только люди, стоящие на самой вершине, умеют соединять эти совершенно разнородные правила. Москва обожала своего генерал-губернатора и в то же время трепетала перед ним. К этому-то всесильному и надоумил Фирс послать моего человека. Тот, только что взятый от сохи парень, очень спокойно отправился в генерал-губернаторский дом и, нисколько не озадаченный видом множества служителей, военных чинов и так далее, велел доложить Голицыну, что ему нужно его видеть (Фирс строго-настрого приказал ему требовать — видеть самого князя). К немалому удивлению присутствующих (я, впрочем, забыл сказать, что мой посланный объявил, что он пришел от графа Соллогуба и что Голицын был с моим отцом в лучших отношениях), — итак, к немалому удивлению присутствующих, Голицын сам к нему вышел в переднюю.

— Что надо? — спросил генерал-губернатор. — Ты от графа?

— Никак нет, ваше благородие, — ответил мой посланный, — от ихнего сыночка, графа Владимира Александровича.

Голицын посмотрел на него с крайним изумлением.

— Да что нужно? — повторил он еще раз.

— Очень приказали вам кланяться, ваше благородие, и просят одолжить им на сегодняшний день пару сапог!

Голицын до того удивился, что даже не рассердился, даже не рассмеялся, а приказал своему камердинеру провести моего дурака в свою уборную или свою гардеробную и позволить ему выбрать там пару сапог. Надо заметить, что Голицын был мал ростом, сухощав и имел крошечные ноги и руки; увидав целую шеренгу сапогов, мой человек похвалил товар, но с сожалением заметил, что «эти сапоги на нас не полезут». Камердинер генерал-губернатора с ругательствами его прогнал.

Надо вспомнить время, в которое это происходило, то глубокое уважение, почти подобострастие, с которым вообще обходились с людьми высокопоставленными, чтобы отдать себе отчет, до чего была неприлична выходка моего двоюродного брата. Возвратясь домой, слуга как сумел рассказал о случившемся. Все объяснилось. Я в тот же день ездил к генерал-губернатору извиниться, разумеется, всю беду свалив на ни в чем не виноватого слугу»[173].

В этом рассказе выражено многое. И отношение света

московского к Голицыну, в котором мало было от подобострастия. А больше понимания того, что градоначальник — вполне нормальный человек. И подтверждение того, что к Голицыну мог зайти любой человек, вне зависимости от достатка и знатности.

В 1843 году Голицын все чаще стал испытывать боли от старых ран. Обращение в основанные при его горячем усердии больницы не помогло. Российские врачи не смогли определить причину недомогания, и Голицын выехал на лечение в Париж. Там и был ему поставлен тяжелый диагноз.

Перенеся две операции, он скончался, не приходя в сознание. Перед тем как впасть в беспамятство, он, окруженный двумя сыновьями, все спрашивал: «Не правда ли, мы вернемся в Москву? Вы меня не оставите здесь?»

Сыновей прислал к Голицыну Николай; узнав о диагнозе, он 20 декабря 1843 года передал им через военного министра А. И. Чернышева свою царскую волю: «Государь император, узнав с искренним сожалением о весьма расстроенном здоровье родителя Вашего, по доведению в то же время до сведения его величества, что князь Дмитрий Владимирович желает Вас, милостивый государь, иметь при себе, высочайше изволил отозваться, что если бы до его величества дошло прежде известие об усилившейся болезни князя, то, и не ожидая изъявления с его стороны желания видеть Вас, приказал бы предложить Вам ехать к родителю.

Ныне государь император повелел мне объявить Вам соизволение его величества на немедленный отъезд Ваш за границу, с тем чтобы Вы, милостивый государь, оставались там, доколе князю Дмитрию Владимировичу будет это угодно».

Присутствие сыновей скрасило предсмертные минуты Голицына. Последними его словами были: «Я жил солдатом и умру как солдат!» Скончался Голицын 27 марта 1844 года.

Странная смерть — не в Москве, за которую дрался он и которой отдал четверть века своей жизни, а в Париже, и не от вражеской пули или от старой раны, а на операционном столе под скальпелем французского (!) хирурга.

Везли тело Голицына в Москву по тому же пути, который он когда-то прошел со своей конницей. Мимо Красного, через Бородино и Можайск. Когда доставили его в Можайск, мгновенно собрался народ, выпряг лошадей и дальше Голицына несли на руках.

Адъютанты князя встретили своего начальника в Вяземах, родовом голицынском имении, гроб Голицына двое суток стоял в церкви, где в 1813 году был похоронен его старший брат Борис

Голицын.

17 мая 1844 года гроб с телом Голицына привезли в Москву. Народ уже ждал у Поклонной горы. Гроб сняли с дорожного экипажа и поставили на черный катафалк. Чем ближе к сердцу Москвы он приближался, тем больше и больше прибывало народу поклониться своему градоначальнику. Лошадей выпрягли, а вместо них встали простые москвичи. Ямщики несли факелы. Народу было столько, что на Дорогомиловском мосту пришлось ставить полицейское оцепление.

18 мая гроб поставили в церкви Благовещения на Тверской улице. Здесь его отпевало московское духовенство во главе с митрополитом Филаретом, верным сподвижником князя в богоугодных делах. Днем и ночью около гроба Голицына стояли кирасиры полка, шефом которого он был долгие годы. Это император своей высочайшей волей прислал их из Петербурга.

19 мая из храма Благовещения Голицына повезли в последний путь, на Донское кладбище. День выдался дождливый, словно само московское небо оплакивало светлейшего князя. Когда процессия двигалась мимо особняка генерал-губернатора, траурный поезд остановился. Двадцать пять лет входил на порог этого дома князь Голицын, «барич, вельможа, преблагороднейший и предобрейший человек, умноживший радость и веселие чваных москвичей», как оценивали его современники, человек «редких дарований, мужества и благоразумия».

На кладбище траурную процессию сопровождало до ста тысяч человек. Люди с непокрытыми головами крестились и кланялись своему генерал-губернатору. Впереди процессии шел взвод жандармов, за ним, за домоправителем и прислугой вели лошадь покойного в парадном уборе. Затем несли княжеский герб, за ним шли московские ямщики, цеховые ремесленники, мещане, купечество, дворяне и туча московских чиновников, «никому из которых власть его не была тяжела, из которых никто по совести не мог оскорбить блаженной памяти покойного».

Адъютанты несли его ордена. Не было, наверное, такого ордена российского, которым не был бы награжден князь. Но он носил немало и иностранных наград, среди которых есть персидский орден Льва и Солнца 1-й степени (1833)… За границей князя ценили не менее высоко, чем на родине.

Был здесь и знак отличия за 40 лет беспорочной службы, украшенный алмазами портрет императора, преподнесенный Голицыну в 1837 году. В 1831 году Голицын, включенный в свиту Его Императорского Величества, получил право носить на эполетах вензель Николая I. В 1821 году Голицын был введен в состав Государственного совета. А почетным членом Академии

наук он стал 9 января 1822 года.

Похоронили Голицына в семейном склепе кладбища Донского монастыря — в церкви Михаила Архангела, где за три года до этого упокоилась его супруга, а еще раньше, в 1837 году, его мать.

Архимандрит Донской Феофан в надгробном слове вспомнил, как приходил Голицын на могилу супруги, не раз повторяя: «Скоро я приду во след за нею»[174].

Хочется закончить главу о Дмитрии Голицыне словами Федора Глинки: «А между тем в том важном промежутке, в тех незапертых воротах, между левым крылом и главною линиею на протяжении целой версты уже давно разъезжал витязь стройный, сановитый. Кирасирский мундир и воинственная осанка отличали его от толпы в этой картине наскоков и схваток. Всякий, кто знал ближе приятность его нрава и душевные качества, не обинуясь, готов был причесть его к вождям благороднейших времен рыцарских. Но никто не мог предузнать тогда, что этот воин, неуступчивый, твердый в бою, как сталь его палаша, будет некогда судиею мирным, градоначальником мудрым и залечит раны столицы, отдавшей себя самоохотно на торжественное всесожжение за спасение России!! Это был князь Дмитрий Владимирович Голицын!»

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Д. В. ГОЛИЦЫНА

1771, 29 октября — в родовом имении Ярополец Волоколамского уезда Московской губернии родился князь Дмитрий Владимирович Голицын, потомок древнего рода Гедиминовичей.

1774, 14 июля — записан в лейб-гвардии Преображенский полк.

1782 — мать увезла Дмитрия Голицына вместе с братом Борисом во Францию для «образования детей и здоровья мужа». Четыре года проучился Голицын в элитарном учебном заведении — Страсбургском протестантском университете, окончив который, он стал слушателем Королевской кадетской школы в Париже.

1786, 1 января — переведен из лейб-гвардии Преображенского полка в Конную гвардию в чине корнета. Отныне военная служба его будет навсегда связана с кавалерией. В 1788 году он станет подпоручиком, затем поручиком, а в 1791 году Голицына произвели в секунд-ротмистры.

1794 — боевое крещение Дмитрия Голицына — участника кампании по подавлению Польского восстания.

1785, 1 января — получил первый боевой орден Святого Георгия 4-й степени за «усердную службу и отличное мужество, оказанное 24-го октября при взятии приступом сильно укрепленного Варшавского предместия, именуемого Прага».

1797 — присвоен чин полковника.

1798— присвоен чин генерал-майора.

1802 — присвоен чин генерал-лейтенанта.

1800, 21 июня — стал шефом Орденского кирасирского полка.

1806–1809 — участник заграничных походов русской армии, награжден многими орденами и боевыми отличиями.

1809, 8 апреля — подал в отставку из-за несогласия с назначением Барклая де Толли командиром корпуса, которому предстояло перейти Кваркенский пролив по плану, разработанному Голицыным. Выехал за границу.

1812, август — вновь вернулся в строй, получив под свое командование кавалерию 2-й Западной армии. Участник Бородинского сражения, сражения под Красным, Заграничного похода русской армии 1813–1814 годов.

1814, 2 апреля — участник взятия Парижа, пожалован чином генерала от кавалерии. До 1820 года командовал дивизиями и корпусами русской армии.

1820, 6 января — назначен военным генерал-губернатором Москвы. Много сделал для восстановления Первопрестольной после пожара 1812 года, развития самых разных областей жизни города — медицины и социальной сферы, культуры и искусства, промышленности, науки и образования, транспортной инфраструктуры и т. д.

1825, 25 декабря — удостоен ордена Святого Андрея Первозванного. *1841, 16 апреля* — удостоен титула светлейшего князя.

1843 — выехал на лечение за границу.

1844, 27 марта — скончался в Париже после тяжелой болезни, похоронен на кладбище Донского монастыря.

БИБЛИОГРАФИЯ

Аксаков С. Т. История моего знакомства с Гоголем. М.: Изд-во АН СССР, 1960. С. 9–120.

Балязин В. Н. Московские градоначальники. М., 1997.

Барсуков Н. П. Жизнь и труды М. П. Погодина. СПб., 1888. Кн. I.

Васькин А. А. Я не люблю московской жизни, или Что осталось от пушкинской Москвы. М., 2010.

Вигель Ф. Ф. Записки: В 2 кн. М.: Захаров, 2003.

ГлинкаФ. М. Очерки Бородинского сражения. М., 1839.

Голицына Н. П. Моя судьба — это я. М., 2010.

Из речи почетного попечителя Московской градской больницы князя М. Н. Голицына перед больными «В память незабвенного начальника, его светлости князя Д. В. Голицына». М.: Тип. С. Селивановского, 1844.

Клаузевиц К. 1812 год. М., 1937.

Манфред А. З. Великая французская революция. М., 1983.

Муравьев В. Б. Святая дорога. М., 1997.

Некролог князя Дмитрия Владимировича Голицына. М., 1844.

Несколько слов в память незабвенного начальника… князя Дмитрия Владимировича Голицына // [Соч.] Кн. М. Н. Голицына, почетного попечителя Московской градской больницы. М.: Тип. С. Селивановского, 1844.

Отечественная война и русское общество. М., 1911.

Очерк жизни светлейшего князя Дмитрия Владимировича Голицына: Собрание из достоверных источников. М.: Унив. тип., 1845.

Пушкин А. С. Полное собрание сочинений: В 10 т. Л.: Наука. Ленинградское отделение, 1977–1979.

Рассказы бабушки: Из воспоминаний пяти поколений, записанные и собранные ее внуком Д. Благово. Л., 1989.

Речь президента Московского общества сельского хозяйства… князя Дмитрия Владимировича Голицына, произнесенная в экстраординарном собрании, бывшем 12 октября 1835 года. М.: Тип. С. Селивановского, ценз. 1835.

Речь в память усопшего попечителя Московской практической коммерческой академии, светлейшего князя Дмитрия Владимировича Голицына, говоренная в Академии, мая 1844 года, секретарем Совета Академии, коллежским советником Егором Классеном. М.: Унив. тип., 1844.

Россия под надзором. Отчеты III отделения. 1827–1869. М., 2006.

Светлейший князь Дмитрий Владимирович Голицын в 1820–1843 гг. // Русская старина. 1889. № 7. С. 147–148.

Скарретка В. П. Черты из жизни светлейшего князя Дмитрия Владимировича Голицына. М.: Унив. тип., 1844.

Словарь русских генералов, участников боевых действий против армии Наполеона Бонапарта в 1812–1815 гг. // Российский архив. М., 1996. Т. VII.

Соллогуб В. А. Повести. Воспоминания. Л., 1988.

Трофимова Т. П. Николаевская Измайловская военная богадельня // На память будущему: Альманах. М., 2011.

Фикельмон Д. Дневник. 1829–1837. Весь пушкинский Петербург. СПб., 2009. С. 96.

Шевырев С. П. Князь Дмитрий Владимирович Голицын: Некролог. М.: Унив. тип., ценз. 1844.

Шевырев С. П. 17, 18 и 19 мая 1844 года в Москве: [Некролог Д. В. Голицына]. М.: Унив. тип., ценз. 1844.

АРСЕНИЙ ЗАКРЕВСКИЙ: «ЧУМА НА ОБА ВАШИ ДОМА»

Закревского боялись как чумы.

Купец Н. П. Вишняков.

Ушедшая Москва. М. 1964

Арсений Андреевич Закревский родился 13(24) сентября 1783 года в родовом селе Берниково Зубцовского уезда Тверской губернии.

Происхождения он был не очень знатного и небогатого. Его прадед, поляк Андрей Закревский, взятый в плен при покорении Смоленска в 1655 году, был пожалован имениями в Казанском уезде. Дед, Иван Андреевич, закончил службу в звании подполковника, отец — «бедный и пьяный» тверской помещик Андрей Иванович Закревский был всего лишь отставным поручиком. Матерью его была Анна Алексеевна Солнцева[175].

А вот сам Арсений Андреевич в 1830 году удостоился графского достоинства (пусть и Великого княжества Финляндского), достигнув таких высот, что и не снились его предкам. Но о захудалом происхождении ему не раз приходилось вспоминать. И если друзья Закревского ставили это ему в заслугу, как, например, Денис Давыдов, написавший: «Ты из наших братьев, перешедших на диван с пука соломы…» — то противники Закревского неоднократно пытались использовать сей факт против него. Уже после его смерти, в 1886 году, был напечатан рассказ Николая Лескова «Штопальщик», в котором обыгрывалась тема «Из князи в грязи». Некий богатый, но незнатный человек очень хотел попасть в дом московского аристократа, добился приглашения, не был принят по недоразумению и оказался однофамильцем швейцара. Так вот в этом рассказе есть следующая фраза: «А в ту пору у нас в Москве был главнокомандующий граф Закревский, который сам тоже, говорят, был из поляцких шляхтецов…»

Так или иначе, фамилия Закревский действительно польского происхождения, произошедшая от фамилии Закржевский, имеющей своей основой польское слово, обозначающее куст. Это обозначение в меньшей степени подходит к Арсению Андреевичу, так как его род не слишком «кустился».

С 1795 года двенадцатилетнего Арсения Закревского

отправили учиться в Шкловский кадетский корпус, где ему предстояло получать образование в течение семи лет. Через четыре года корпус был переведен в Гродно. Учили кадета Закревского, видимо, не слишком хорошо, скудно, что в дальнейшем сказалось на его общем образовательном уровне; недруги его говорили, что он не имел почти никакого образования, плохо знал русскую грамматику, а писал, как ученик 2-го класса гимназии. «Не знавши или, по крайней мере, плохо знавши русскую грамоту и ни одного иностранного языка, Закревский мог быть министром, дежурным генералом и генерал-губернатором Финляндии!» — удивлялся его современник. Закревский больше спрашивал, чем рассуждал сам. А любимыми его вопросами были: «Рассказывай, где был. Что делал? Что слышал?»

Итак, 19 ноября 1802 года Закревский был выпущен прапорщиком в Архангелогородский мушкетерский полк. Это было одно из старейших воинских формирований России, ведущее свою историю с 1700 года. Боевое крещение полк получил в 1702 году при штурме крепости Нотебург, за что был лично отмечен царем Петром I, объявившим солдатам «спасибо», офицеры же получили особые медали. А в 1706 году под командованием самого царя полк в составе Ингерманландской армии участвовал в Выборгском походе.

Начать в таком полку воинскую службу было весьма почетно. Ведь уже сам перечень боевых кампаний с участием Архангелогородского мушкетерского полка внушал уважение: Северная война, Персидский поход (1722–1723), Война за польское наследство, Русско-турецкая война (1735–1739), Русско-шведская война (1741–1743), Семилетняя война, Русско-турецкая война (1768–1774), Русско-турецкая война (1787–1792), походы Суворова в Италии и Швейцарии.

Дальнейшая судьба Закревского была во многом предопределена назначением именно в этот полк, которым в то время командовал молодой генерал-майор, граф Николай Михайлович Каменский 2-й, снискавший боевую славу в период Итальянского похода Суворова. Вторым он был после своего отца, фельдмаршала Михаила Федотовича Каменского.

Молодой прапорщик Закревский генералу Каменскому понравился, он приблизил его к себе, назначив его сперва батальонным, а потом и полковым адъютантом. Каменский стал для Закревского олицетворением того, каким должен быть настоящий командир. К тому же молодой генерал был представителем славного дворянского рода, немало послужившего на благо России. Все его предки были военными.

Они очень сдружились, чему способствовала и небольшая разница в возрасте — семь лет. Каменский называл его «Закрев». Закревский прослужил под начальством Каменского до самой смерти последнего в 1811 году, относился к нему как отцу родному, и впоследствии в своем подмосковном имении Ивановское он установил ему памятник с надписью «Моему благодетелю».

Первый боевой опыт Арсений Закревский получил в ноябре 1805 года в сражении под Аустерлицем. Здесь он совершил и первый подвиг — спас своего командира. Во время боя Архангелогородский полк оказался в окружении, отчаянно отражая атаки французской кавалерии, принимая на себя удары вражеской артиллерии. Потери были большие — более полутора тысяч человек. Пушечное ядро разорвалось рядом с генералом Каменским, убив его лошадь. И тогда батальонный адъютант Закревский отдал ему своего коня, рискуя самому быть убитым. За проявленную храбрость он удостоился ордена Святой Анны 3-й степени.

Отступая после аустерлицкого поражения, полк Закревского, находясь в арьергарде генерала Багратиона, участвовал в боях под Шенграбеном. В 1806 году Закревский стал полковым адъютантом.

Следующим крупным сражением, в котором участвовал Арсений Закревский, стала битва под Прейсиш-Эйлау в январе 1807 года, окончившаяся победой русской армии. Памятную медаль в ознаменование победы получил и Закревский, ставший в апреле 1807 года бригадным адъютантом. Затем были сражения под крепостью Данциг, под Гейльсбергом и Кёнигсбергом. Здесь Архангелогородский полк и его адъютант Закревский закончили кампанию. А в мае 1807 года Александр I и Наполеон подписали Тильзитский мир.

В 1808 году Закревский вслед за Каменским, к тому времени уже генерал-лейтенантом, отправился на русско-шведскую войну, основные боевые действия которой разворачивались на территории Финляндии, бывшей тогда частью Шведского королевства.

В качестве адъютанта он участвовал в осаде Свеаборга, в сражениях под Алаво и Куортане. Отличившись в битве при Оровайсе, Закревский в декабре 1808 года был произведен в капитаны, а также назначен начальником канцелярии Каменского, командующего русской армией в Финляндии. На груди Закревского появился еще один орден — Святого Владимира 4-й степени с бантом.

Еще одной наградой стала золотая шпага с надписью «За

храбрость», которой Закревский удостоился за участие в сражениях в Вестерботнии, при Зееларе и у гавани Ратан. В 1809 году война закончилась победой и Финляндия вошла в состав Российской империи. Могли тогда Закревский предполагать, что менее чем через 15 лет он станет генерал-губернатором Великого княжества Финляндского?

В марте 1810 года карьера капитана Закревского резко пошла вверх, опять же благодаря генералу от инфантерии Каменскому, назначенному главнокомандующим Молдавской армией, участвующей в Русско-турецкой войне. Теперь Арсений Андреевич был уже начальником его походной канцелярии. Несмотря на большой объем штабной работы — ведение журналов боевых действий, передача приказов и распоряжений, Закревский не отсиживался за спиной командующего. Он принимал непосредственное участие в боевых действиях. Так, во время штурма Рущука в июне 1810 года его контузило. Был ранен. За отличие в сражении при Шумле Закревского произвели в майоры. А за храбрость, проявленную в битве при Батине, он получил орден Святого Георгия 4-го класса. В приказе говорилось, что Закревский «в воздаяние отличного мужества и храбрости, явленных в течение кампании против турок прошедшего 1810 года, где главнокомандовавшим генералом графом Каменским, у коего находился, был употреблен, яко исправный офицер, и все делаемые поручения исполнял всегда с благоразумием и усердием, особенно ж 26 августа, при разбитии неприятельских войск при сел. Батине, во время штурма послан был в самые опасные места, и хотя получил две контузии, но не переставал отправлять своей должности».

Резкая перемена в судьбе Закревского произошла в мае 1811 года и связана с внезапной болезнью и последовавшей затем смертью его любимого командующего, 35-летнего Николая Каменского. Обстоятельства смерти генерала были весьма туманны, многие допускали даже возможность насильственной смерти. Он почувствовал себя плохо после дипломатического приема в Бухаресте. Болезнь заставила Каменского подать в отставку и выехать в Одессу, где он и скончался на руках у Закревского.

Еще 29 апреля 1811 года Закревский писал Константину Булгакову: «Любезный Константин Яковлевич, Графу худо и весьма худо, и по утверждению медиков совершенно нет надежды к выздоровлению, а потому можете судить каково мое теперь положение. Не имею более духу более писать, прощай, будь здоров и помни тебя любящего друга»[176]. Впоследствии в устных разговорах Закревский не раз утверждал, что его начальник граф

Каменский был отравлен. Эту версию он не раз выдвигал в переписке с друзьями, намекая на существование заговора.

Умер не просто военачальник, а надежда отечества. Ведь впереди была Отечественная война 1812 года, начавшаяся для России крайне неудачно. И причиной тому было отсутствие полководца, способного объединить и армию, и народ ради победы. Кандидатура Каменского могла бы вполне подойти на этот пост. Каменский умер на взлете. А для Закревского, присутствовавшего при последних минутах генерала, это было еще и личной трагедией. Он потерял близкого друга. Перед смертью Каменский вручил своему адъютанту секретные бумаги, с просьбой передать их лично в руки государю. Среди писем было и духовное завещание, в котором Каменский просил императора облагодетельствовать своих адъютантов и помощников. Закревскому он завещал часть своего состояния, однако Арсению Андреевичу не суждено было его получить, так как состояние это было наследственным и должно было быть передано наследникам графа.

Вскоре после смерти Каменского Закревский выехал вместе с его бумагами в Петербург на доклад к государю. Александр принял его, отметив преданность адъютанта, и повысил в чине, определив его в придворный лейб-гвардии Преображенский полк. Еще более значимым для Арсения Андреевича было и новое назначение в декабре 1811 года — продвижение по службе — опять же адъютантом, но уже к военному министру Михаилу Богдановичу Барклаю де Толли, все силы которого в то время были сосредоточены на подготовке к будущей войне с Наполеоном. Назначение Закревского к Барклаю свидетельствовало о высокой оценке императором его качеств, одно из которых — личная преданность — особо ценилось Александром.

В начале 1812 года начался стремительный рост карьеры Закревского. 30 января он получает чин подполковника лейб-гвардии Преображенского полка, 13 февраля — полковника, а 21 марта он был произведен и назначен начальником Особенной канцелярии военного министра, отвечавшей за военную разведку и контрразведку. «Я не флигель адьютант, а полковник Преображенскаго полка и Директор особенной канцелярии Военного Министра и по учреждению сверх получаемого жалованья получаю 3 т. рублей столовых денег; могу сказать что Милости Государя велики и весьма велики, мне теперь остается оныя заслуживать», — писал Закревский Константину Булгакову[177].

Это было преодолением еще одной ступеньки в карьере,

недаром в письме от 6 мая этого же года Александр Булгаков пишет брату: «Закревский имеет славное место при военном министре, место весьма доверенное: он заместил Воейкова, коего удалили из Петербурга за некоторые весьма двусмысленные поступки. Все радуются фортуне Закревского, он отлично уважаем всеми»[178].

В марте, после назначения Барклая де Толли главнокомандующим 1-й Западной армией, Закревский выезжал вместе с ним в Вильну. Ему предстояло пройти весь боевой путь этой армии, отступать вместе с ней вглубь России и принять участие в Бородинском сражении.

Как адъютант главнокомандующего, Закревский должен был находиться при нем неотлучно. И в штабе, и на поле брани. А поскольку Барклай, по словам Кутузова, проявил в Бородинском сражении храбрость, «превосходившую всякие похвалы», то об адъютантах его и говорить нечего. Достаточно сказать, что в числе убитых было два адъютанта Барклая, но Закревского Бог миловал — он остался жив в этой кровавой мясорубке. За храбрость и мужество, проявленные при Бородине, Закревский был удостоен ордена Святого Владимира 3-й степени.

А в сентябре Закревский сопровождал своего командира в его лифляндское имение. Дело в том, что Барклай, не согласный с вмешательством в управление подчиненными ему войсками со стороны Кутузова, попросился в отставку, под предлогом болезни. Государь удовлетворил прошение генерала и разрешил ему покинуть армию. Известно, что отступление армии на первом этапе Отечественной войны в основном связывали с именем Барклая. Несмотря на героическое участие самого Барклая и его армии в Бородинском сражении, негативное отношение к нему еще продолжало жить в народе. С этим пришлось столкнуться и Закревскому.

Проезжая вместе с Барклаем через Калугу, Закревскому пришлось в буквальном смысле защищать честь своего командира, когда толпа, выкрикивая в его адрес оскорбления, пыталась забросать карету генерала камнями. Закревский выскочил из кареты и со шпагой в руке ринулся на обидчиков.

Закревского характеризует и такой факт. Он — один из немногих, кто не только не осудил Ростопчина за пожар Москвы, но сопереживал навалившимся на графа несчастьям: «Любезнейший Александр Яковлевич, по прибытию нашем в Тверь, мы нашли там посланного адъютанта из Воладимира в Петербурх, каторый никакого ответа от Государя не привез, а доставил рескрипт со 2-м Георгием. При сем долгом себе поставляю вас уведомить, что гнусные Твари, живущие в

Петербурхе марают Графа Федора Вас. за Москву, и всю вину на счет оной кладут на него. Скажите пожалуйте как чудовища тамошния думают о точном патриоте нашего отечества и желают чтобы он в Петербурх не приезжал; это я тому потому, что хочут еще более марать, по мнению моему не худо бы Графу поспешить туда. Об армиях вы более нашего знаете, но слух носится здесь что армия наша в Красном за Смоленском. Платов пожалован графом.

Графу Федору Василичу прошу засвидетельствовать мое всенижайшее почтение. Я через неделю или две поеду в Петербурх, а Михаила Богданович ожидает здесь на просьбу его решение.

Будьте здоровы и веселы и не забывайте вас душевно любящаго»[179].

Интереснейшее письмо! Мало того что в нем сохранены особенности правописания того времени (один Петербурх чего стоит!), но в этом письме как в зеркале отражается политическая ситуация того времени: Барклаю — орден Святого Георгия, Ростопчину — проклятия на его поседевшую голову. А ведь когда-то Ростопчин был среди тех, кто обвинял Барклая в пораженческих настроениях. Теперь они, сами того не желая, оказались в одной лодке, собравшей опальных военных и чиновников.

«Гнусные твари» — это выражение Закревского, его язык. В Москве это будет одно из любимейших его оскорблений.

Буквально во всех своих письмах Александру Булгакову Закревский считает своим долгом не только передать привет Ростопчину, но и поддержать его морально от нападок завистников и прочих «тварей»: «Где нет, Любезный друг, злодеев и сквернoязычников, которыя только тем на свете и живут!»

Карьера Арсения Андреевича снова пошла вверх, когда в декабре 1812 года он был назначен флигель-адъютантом Его Императорского Величества. Находясь при императоре, ему суждено было продолжить военную службу уже во время Заграничного похода русской армии 1813–1814 годов. И вновь Закревский был на переднем крае, сражался в боях под Люценом, Бауценом, Дрезденом, Кульмом, в Битве народов под Лейпцигом, при Бриен-ле-Шато, Фер-Шампенуазе и взятии Парижа.

Из переписки Арсения Андреевича мы узнаем о его военных буднях: «16 марта 1813 г. Калиш. Государь оставил меня при себе: то есть не причем. И на несколько просьб Михаила Богдановича обо мне ни какого решения по сие время не сделал. Но я ни смотря ни на что… буду просится опять, и каков будет успех бог знает.

Много бы вам писал, но нельзя по причинам вам известным. Прошу всевышнего, чтобы он подкрепил нас во всяком случае, и был путеводителем по прежнему.

Занятие Гамбурга вам известно, но ежедневно ожидаем донесения о взятии Дрездена, куда и Главная армия кажется скоро возьмет свое направление.

Люди наши, стоя обширно по квартирам, несколько поправились после бывшего походу в дурное и ненастное время. Немцы при всем своем холоднокровии всякого состояния идут служить с нами вместе, для истребления злодея кровожадного, каторый на Рейне собрал до 17-и полков войска»[180].

Закревский также просит Булгакова присылать ему хотя бы «сочинения или Сатиры» для чтения на досуге. Лишь в мае посылка Булгакова дошла до Закревского, передал он ее вместе со своим братом Константином, а помимо книг он прислал и опубликованный в 1813 году по приказу Ростопчина «Подробный список всех корпусов, составлявших французскую армию, вышедшую в поход против России в 1812 году, с приложением расписания потерь, сделанным неприятелем с начала кампании в различных сражениях до вступления в Москву». Закревский с большим интересом читал этот документ.

Вместе с А. Булгаковым они вспоминают совместную службу в период Молдавской кампании, тянет их и на родину: «Петерсвальде 30-го мая 1813… Заключенное с неприятелем перемирие позволило нам наслаждаться здешними прекрасными местами, о как бы хорошо было есть ли бы можно перенести оные в любезную нашу Россию»[181].

9 июня 1813 год, Петерсвальде: «Мы теперь живем мирно Любезный и Почтенный Александр Яковлевич по заключении перемирия. Дожидаемся завтрашнего числа Государя из Австрии, куда он поехал 4-го числа, а я из командировки вернулся вчера. Молодого графа Ростопчина еще нету… Прошу о чем до-дожить Графу Федору Васильевичу и засвидетельствовать ему мое всенижайшее почтение.

Одно желание у нас есть, мир, твердой и ненарушимой. Не забывайте нас и не оставляйте утешать о Москве родимой своими письмами. Будьте здоровы и помните вас душевно любящего. Арс. Закревский»[182].

Обращает на себя внимание одна фраза из этого письма: «Не забывайте нас и не оставляйте утешать о Москве родимой своими письмами». Разве можно представить, что человек, ее написавший, может не любить Москву? Арсений Андреевич и не предполагал тогда, что «родимой» ему предстоит управлять почти 11 лет. А в письме от 22 июня Закревский интересуется: «Что

наша Москва поделывает и каково выстраивается?»[183]

Ожиданиям Закревского не суждено сбыться: «24-го июля Петерсвальде 1813. Вот и конец перемирию Почтеннейший и Любезнейший Александр Яковлевич, миру не будет, а война кровопролитная неизбежна. Соединенные армии наши Славныя и Многочисленный, естли будет толк, то врага сокрушим. Кто будет командовать соединяющимися русскими, австрийскими и прусскими войсками еще не известно…»

Закревский не забывает и об исполнении завещания своего бывшего командира — Каменского, обращаясь с просьбой к А. Булгакову: «У меня есть к вам Любезнейший Александр Яковлевич просьба, вот в чем она состоит. Покойного Графа Николая Михайловича крепостные люди по завещанию должны быть отпущены на волю, что и Сенат при рассмотрении утвердил. Граф Сергей (брат Каменского. — *А. В.)* не только сего не исполнил, но даже двух из сих людей я думаю в поругание отдал своей бляди во услужение. Сделайте одолжение доложите о сем Графу Федору Василичу, поможем тех людей отпустить на волю сходно с волею покойника. В Московском Губернском правлении дела по сему завещанию имеются, да здесь тоже приказать ему и их на волю отпустить. Постарайтесь отыскать сии бумаги и буде нужно и должно, то прикажите сему молодцу тех несчастных людей отпустить на волю. За что вечно они вам будут благодарны».

15 сентября 1813 года за отличие в битве под Кульмом Закревского произвели в генерал-майоры, а 8 октября за участие в сражении под Лейпцигом — в генерал-адъютанты. Взятие Парижа ознаменовалось для него получением Аннинской ленты (ордена Святой Анны 1-й степени).

13 декабря 1813 года, Фрейбург: «Можно ль было ожидать 1812 года, когда мы от Бородина и шли к Москве, что события нынешние совершатся. Где же мы теперь, часть за Рейном, другая на старых границах Франции, а третья по его сторону Рейна, где и мы еще имеем свое пребывание, но надеемся скоро также отсель следовать в Базель, а может быть и в Берн…

Вот каковы чудеса божии. Любезнейший Александр Яковлевич, подпора злодея отклеивается от него, а присоединяется к нам, Швейцария присоединилась и дала уже на защиту общую часть войск своих, Дания и Король Неаполитанской также к нам присоединятся, скажите можно ли больше ожидать от бога, как нынешних произшествий для Славы России. Смело можно сказать, что Велик России бог.

Позвольте вас побранить за не прислание мне портрета Графа Ф. В., которого как вам известно чудесно почитаю и люблю.

Я недавно приехал к Армии, шатался по разным местам для обозрения корпусов в Армии, находящихся, а потому и не могу ничего сказать насчет Графа Сергея Федоровича, ибо их Главная Квартира от нашей в 25-и милях, но слышал вчера от приехавшего от туда курьера, что Граф здоров»[184].

Не имея собственных сыновей (у него в 1818 году родилась дочь), Закревский считал своим долгом опекать непутевого сына графа Ростопчина Сергея, который также находился в армии. В этом нет ничего удивительного, ведь к отцу его он относился с обожанием. А потому во многих письмах Закревского находим мы просьбы подобного характера: «Граф Сергей пусть веселится, но смотри чтобы не избаловался»[185].

И, наконец, очень приятное письмо, хотя и непривычно короткое для Закревского: «23-го марта 1814 г. с. Масси от Парижа. 4 лье по дор. к Орлеану.

Позволь поблагодарить тебя Почтенный Александр Яковлевич за письмо от 9 января; простите, что замедлил ответом по причине беспрестанного движения. Дела наши идут славно, вы оными должны утешатся. Наши в Париже торжествуют, а другая пошли за неприятелем. Я за Парижское сражение получ<ил> 1-ю Анну»[186].

И еще одно интересное высказывание Закревского: «Наполеон грозной дурно кончил свое царствование и постыдным мандом — не застрелил себя, как бы должно было предприимчивому человеку. Но черт его возьми, а все не худо его умертвить — а до того ветреный народ французской не может быть покоен»[187].

Возвратившись из Заграничного похода, Арсений Андреевич немедля поехал навестить своего старого отца, который жил в родовом селе Берниково. Об отце он беспокоился, просил передать, что приедет. Вообще Арсений Андреевич выступает здесь как заботливый, внимательный сын: «На пути в Петербурх пишу к тебе Почтенный и Любезный Александр Яковлевич; о приезде Государя я получил известие из Петербурха, прибытие его вздыбило столицу без всякой совершенной встречи. Отложение конгресса до октября месяца и ранний приезд Государя, меня заставляет думать, что война с какой либо державой неизбежна. Надежда на бога и на кроткого Государя. Но не менее того надо стараться внутренние злодеяния не зачиная войны окончить, дабы избегнуть всех предыдущих несчастий. Старик мой приездом утешился и получил облегчение от болезни. Я собирался было 19-го числа сего месяца приехать в Москву, но получив уведомление о Государе из Петербурха, решился того же числа ехать прямо к своему месту… Сделай одолжение прикажи пресылать моему старику Инвалид и не

забудь исполнить прежние мои просьбы по записке.

Сделай одолжение приложенное присем обьявление Комитета прикажи напечатать в Московских ведомостях, дабы оное могло быть известно во всех российских губерниях, ибо Петербургский газеты недалеко разходются за Москву»[188].

Вернувшись с победой в Россию, император не отпустил от себя Закревского, включив его в состав Комитета для вспомоществования изувеченным и раненым. Этот комитет был учрежден Александром I 18 августа 1814 года для рассмотрения просьб раненых и больных офицеров. В его состав первоначально вошли пять генерал-адъютантов, в том числе и Закревский. Закревский отнесся к выполнению своих новых обязанностей добросовестно, ведь речь шла о его сослуживцах — раненых офицерах и солдатах. Он просил А. Булгакова: «Постарайся дабы и впредь присылаемые такие объявления Комитета были печатавшеми в Московских ведомостях без всякой платы. Чем много одолжишь Калек, понесших труды в прошедшую незабвенную Компанию»[189].

В мае 1815 года царь назначил Закревского дежурным генералом Главного штаба Его Императорского Величества. Александр доверил своему преданному адъютанту одно из самых важных дел — возглавлять инспекторский и аудиторский департамент, а также военную типографию. Закревский стал заведовать всеми кадровыми делами русской армии.

Совершив обход вверенных ему департаментов, увидев, в какой нищете трудятся чиновники, Закревский сделал вывод, что причина такой распространенной в России болезни, как коррупция, кроется в маленьком жалованье государственных служащих.

Закревский оценивал ситуацию внутри государственного аппарата на редкость здраво и не скрывал своего мнения. В 1817 году он писал М. С. Воронцову: «Не удивляйтесь, что министры наши пользой государственной мешали; когда же они сего и не делали?» или «У нас все смирно, дела по всем министерствам идут так, как вы слышите. Воровство не уменьшается».

Арсений Андреевич буквально горел на работе, используя современный термин, можно назвать его трудоголиком. Гостивший в его петербургском доме в августе 1818 года Александр Булгаков хвалил его за гостеприимство и одновременно сочувствовал его занятости: «Я нахожу в нем совершенно братское обхождение: предложил себя во всем, уговаривал не нанимать экипажа, что у него есть и карета, и дрожки, и все, что надобно, и проч. Ну самый добрый малый, каким мы его знаем. Не очень здоров, жалуется головою; но,

признаться, и дела столько, что не знаю, как поспевает»[190].

Не стоит, однако, думать, что Закревский был просто-таки белой вороной среди чиновников. Ведь причиной казнокрадства Арсений Андреевич называет не нарушение законов государства или отсутствие таковых, что были бы направлены на борьбу с коррупцией. Слово «закон» вообще не из его лексикона. Закревский, как и многие большие чиновники, считал, что закон существует не для него, а для подчиненных.

Убеждаешься в этом, читая его переписку с М. С. Воронцовым, который в то время стоял со своим корпусом в Париже. Воронцов, воспитанный в английском духе, порицает Закревского за то, что тот использует фельдъегерей для выполнения многочисленных поручений личного характера для себя и своей супруги, а также за государственный счет получает посылки с покупками для своей жены. Закревский же просит Воронцова посылать помаду и духи под видом военных рапортов для него, чтобы таможня не проверяла содержимое посылок.

В ответ на замечание Воронцова, что Закревский подает плохой пример офицерам, которые также поступают по отношению к своим подчиненным, Арсений Андреевич пишет: «Мои посылки не могут обременять фельдъегерей. Напротив, офицеры вашего штаба более посылают нежели следующие ко мне. За моими посылками фельдъегеря не опаздывают ездою, а если который медленно едет, то всегда мною будет наказан. Но мне прискорбно, что вы меня в посылках сравниваете со своими офицерами, тогда как всякий фельдъегерь, ему от меня приказанное, исполнит с охотой. Но офицерам вашим умериться в отправлении посылок можно и приказать».

Воронцов, отвечая другу, не скрывает иронии: «Признаюсь, что был бы душевно рад, чтобы вся контрабанда, чья бы она ни была, была на таможне конфискована и чтобы люди знатные не давали фельдъегерям примера того самого, за что их после наказывают». Воронцову, сыну российского посла в Великобритании, не суждено было понять, как это возможно — посылать на родину посылки с французской парфюмерией под видом рапортов. Закревский же, по его мнению, ничего ущербного для казны не совершал. Однако же именно в эти годы упрочилось его пренебрежение к закону, ставшее в бытность его московским генерал-губернатором фундаментальной основой его руководства.

Он продолжал железной рукой наводить порядок в военном ведомстве. «Наделал здесь передрягу: перебрав всех живущих здесь офицеров без службы, велел их высылать… Также дал приказ о тех офицерах, кои одеваются не по форме», — писал из

столицы Александр Булгаков 28 декабря 1819 года[191].

При дворе Закревский взлетел необычайно высоко, об этом говорит и тот факт, что ему среди немногих избранных позволялось занимать отдельный дворцовый павильон в Царском Селе. Генерал Закревский повсюду сопровождал государя, в том числе и во время его поездок по России.

Обретение влияния при дворе имело для Закревского как положительные, так и отрицательные последствия. Заняв довольно значительный пост, он получил и обширные полномочия. Но, с другой стороны, он оказался будто между молотом и наковальней.

Две придворные группировки боролись тогда за влияние на государя. Одну из них олицетворял А. А. Аракчеев, являвшийся неформальным лидером группы политиков, среди которых были В. П. Кочубей, Е. Ф. Канкрин, А. И. Чернышев, Д. Н. Блудов, И. И. Дибич, А. Х. Бенкендорф.

Вторая группировка, так называемая «русская партия», образовалась вокруг начальника Главного штаба князя П. М. Волконского, которого поддерживали П. Д. Киселев, Д. В. Давыдов, Ф. В. Ростопчин, А. П. Ермолов, М. С. Воронцов, А. Ф. Орлов, П. Д. Киселев и другие, недовольные так называемой «аракчеевщиной» и засильем иностранцев в армии.

Закревский по своим взглядам был единомышленником «русской партии». Еще в 1812 году он, как и многие штабные офицеры, не скрывал своего возмущения Кутузовым. «За что произвели его в фельдмаршалы?» — вопрошал тогда Арсений Андреевич[192]. Куда как правильно, по мнению Закревского, было бы назначить вместо Кутузова главнокомандующим русскими войсками Багратиона. Впоследствии чувство неприязни к Кутузову перешло в ненависть: «Петербурх 16-го декабря 1812-го года… Об отъезде Государева писать нечего, вы все уже знаете, он приехал в Вильно 10-го числа и в тот же день надел на Старую Камбалу Георгия 1 — го класса. Если спросите за что — то ответа от меня не дождетесь. Армии наши за границей, но Главная Квартира и гвардия в Вильне.

Сделайте одолжение пришлите буде можно мне копию с письма Г. Ф. В., которое писал он при отъезде из армии к Кутузову и есть ли есть прокламации по въезде в Москву, чем меня чувствительно обяжете. Жаль, что Граф не может с Государем видеться, это необходимо бы нужно в нынешних обстоятельствах.

Графу Федору Васил. прошу засвидетельствовать мое всенижайшее почтение, не хочу его обременять своими письмами. Ему и без них есть что читать. Ар. Закревский»[193]. В письме

несчастный Ростопчин явно противопоставляется Кутузову, который сравнивается автором с рыбой камбалой. Закревский графу сочувствует, а вот Кутузова — костит на чем свет стоит.

Но вернемся к нашему повествованию. Особенно близко Закревский сошелся с начальником Главного штаба князем П. М. Волконским. Когда Волконский выезжал вместе с царем за границу, Закревский замещал его в Главном штабе. Своими близкими отношениями с Волконским Арсений Андреевич настроил против себя возглавлявшего Военный департамент Государственного совета графа Аракчеева.

Арсений Андреевич конфликтовал с Аракчеевым по принципиальным вопросам, считая, что аракчеевские поселения есть главный рассадник воровства в армии. «Поселения увеличиваются под мудрым начальством Аракчеева, который о благе общем ни мало не заботится и есть по делам его вреднейший человек в России!» — писал Закревский Воронцову в 1817 году.

Противостояние с Аракчеевым достигло своего накала в 1823 году, когда при обсуждении размера военных расходов император поддержал именно его точку зрения. В результате Закревский получил назначение в Финляндию, а Волконского отправили еще дальше — полномочным послом в Париж.

«Когда в 1823 году, — писал П. В. Долгоруков, — Аракчеев одержал победу над Волконским и заменил его пронырливым и искательным Дибичем, он удалил и Закревского от должности дежурного генерала и убедил государя назначить генерал губернатором финляндским человека, не говорящего ни на одном языке, кроме русского. Он надеялся, что Закревский не примет новой должности, но ошибся»[194].

Неприязнь к Аракчееву надолго поселилась в душе Закревского, использовавшего для его характеристики такие эпитеты, как «чума», «проклятый змей», окруженный «ползающими вокруг него немцами», «единственный государственный злодей».

Любопытным занятием является чтение переписки Закревского с Волконским, в которой зачастую фамилию Аракчеева они даже не называют, тем не менее понятно, о ком идет речь: «Проклятый змей и тут отчасти причиною сего несчастия… ибо в первый день болезни государь занимался чтением полученных им бумаг от змея, и вдруг почувствовал ужасный жар, вероятно, происшедший от досады, слег в постель и более уже не вставал»[195]. Закревский связывал с Аракчеевым даже кончину императора Александра I (также как и кончину любимого командира своего Каменского он связывал с происками

врагов).

30 августа 1823 года император с подачи Аракчеева облек Закревского большим доверием, вверив ему сразу две должности: генерал-губернатора Великого княжества Финляндского и командира Отдельного Финляндского корпуса.

В Финляндию генерал-лейтенант (с августа 1821 года) Закревский отправился не один, а вместе с супругой, женитьбе на которой способствовал сам государь. Желая осчастливить своего сподвижника, Александр подобрал ему богатую, вдвое его моложе невесту, обладательницу большого состояния, графиню Аграфену Федоровну Толстую (1799–1879), дочь Федора Андреевича Толстого и Степаниды Алексеевны Толстой. Саму графиню не спросили, хотела бы она стать женой Закревского или нет. В отношениях с мужчинами она придерживалась весьма вольного поведения и не изменила его и после бракосочетания. До замужества число поклонников ее было велико, а после — стало еще больше, потому как женщина она была прелестная во всех отношениях.

Об Аграфене нужно писать отдельную книгу. Ей благоволили не только императоры (Александр I), но и поэты — Александр Пушкин, Петр Вяземский, Евгений Баратынский. Пушкин посвящал ей стихотворения, в одном из которых описал ее так:

С своей пылающей душой,
С своими бурными страстями,
О жены севера, меж вами
Она является порой
И мимо всех условий света
Стремится до утраты сил,
Как беззаконная комета
В кругу расчисленном светил.

Мужу «беззаконная комета» изменяла открыто, он же смотрел на это сквозь пальцы, не имея сил приструнить свою молодую жену. «Человек непреклонной воли и железного характера, грозный граф, перед которым все трепетало, пасовал пред натиском своих домашних и являлся беспомощно слабым пред капризами своей любимой, доброй, но причудливой жены, гр. Аграфены Федоровны, причинявшей ему немало огорчений, как человеку и супругу», — отмечал один из современников. А уж когда мужа назначили в Москву, тогда Аграфена развернулась вовсю, дав богатую пищу для сплетен и анекдотов.

Более того, в большей части источников Арсений Андреевич в именных указателях и ссылках именуется как «муж

А. Ф. Закревской» (взять хотя бы «донжуанский список Пушкина»).

Пушкин не раз бывал в гостях в петербургском доме Закревских, в бытность его службы в столице, во второй половине 1820-х — начале 1830-х годов. Например, в письмах от 20 июня и 28 июля 1831 года П. В. Нащокин и Ф. Н. Глинка просили Пушкина справиться «у самого» 3 (Закревского). о наградах врачу Ф. Д. Шнейдеру и похлопотать об улучшении служебного положения Глинки. Друзья Пушкина справедливо рассчитывали, что Пушкин, пользуясь близостью с женой Закревского, служившего тогда уже министром внутренних дел империи, имеет влияние и на сиятельного мужа.

Поэт любил рассказывать о своих сердечных победах друзьям. В частности, Петр Андреевич Вяземский писал жене, как в мае 1828 года на одном из петербургских балов Александр Сергеевич «отбил» у него Аграфену Закревскую. О влюбленности Пушкина в Закревскую писала и А. А. Оленина в своем дневнике от 11 августа. Известно и о встречах Пушкина и Закревской в сентябре 1828 года (из переписки поэта с Петром Вяземским). Вяземский докладывал А. И. Тургеневу, как Пушкин «целое лето кружился в вихре петербургской жизни» и воспевал Закревскую. Слово «воспевал» надо понимать буквально — поэт посвятил ей стихотворения «Портрет» (мы его уже процитировали), «Наперсник» («Твоих признаний, жалоб нежных»), «Счастлив, кто избран своенравно». Существует предположение, что Закревская явилась прототипом Зинаиды Вольской в отрывке «Гости съезжались на дачу» (1828), а также, что именно к ней обращено стихотворение «Когда твои младые лета» (1829)[196].

Отношения Пушкина и Закревской прерывались в тот период, когда Аграфена Федоровна вместе с мужем выезжала в Финляндию.

Назначение в Финляндию застало Закревского врасплох. В письме П. Д. Киселеву от 20 сентября 1823 года граф сетует: «Возвращаясь из-за границы, неожиданно получил новое назначение в Финляндию, и кажется, по желанию немца Дибича, которому желаю царствовать и выводить новых немцев, и русские не раз вспомнят князя Волконского…»[197] Закревский принялся было отказываться от свалившейся на него чести, но государь потребовал, чтобы он даже и не думал о другом.

Арсений Андреевич надеялся, что ссылка в Финляндию продлится недолго. «Напрасно ты думаешь, — писал Закревский все тому же Киселеву, — что я располагаю оставаться в Финляндии. Напротив того, я прежнее имею намерение ехать туда и пробыть назначенное мне время и показать, что я не упрям

и готов исполнить волю государя, со мною несправедливо поступившего. После двух докладов по Финляндии я еще более убедился, что там полезен быть не могу, и государь никак не полагает, чтобы финны ненавидели русских, тогда как это заметно почти на каждом шагу. Впрочем, в звании моем теперешнем я не могу оказать никакой пользы моему отечеству, а что финны меня хвалить или ругать будут, для меня все равно»[198].

Графу Закревскому вновь предстояло вернуться в те края, где за 15 лет до этого он уже побывал, но в качестве завоевателя. Но если тогда эта была территория враждебной для России страны (Финляндия находилась в составе Швеции с 1581 года), то теперь Великое княжество Финляндское являлось неотъемлемой частью империи, что провозглашалось в манифесте Александра I от 20 марта 1808 года.

Границы княжества уже после присоединения его к России были расширены путем включения в него так называемой Старой Финляндии: Карельского перешейка с Выборгом и северного Приладожья (являлось частью России с 1743 года). К 1811 году княжество было поделено на семь губерний: Або-Бьернеборгскую, Вазаскую, Выборгскую, Куопиоскую, Кюм-менегордскую, Нюландско-Тавастгусскую, Улеаборгскую. Жители губерний имели свое подданство — финляндское, а для выезда в Российскую империю им требовалось оформить специальные документы. По сути, Великое княжество Финляндское было государством в государстве. Этому способствовало самоуправление, основанное на широчайшей автономии. И хотя населению новой российской территории были предоставлены немалые преференции: сохранение шведского законодательства, лютеранской религии, признание шведского языка в качестве официального (хотя около 90 процентов жителей говорили на финском языке), хождение шведской валюты наряду с рублем (до 1840 года), — прирастание Финляндии к России происходило очень не просто. И кому как не Закревскому было знать об этом.

Финское дворянство видело в присоединении к России возможность дальнейшего укрепления национальной самобытности. А население Старой Финляндии восстало и продемонстрировало свое отношение к российской власти крестьянским бунтом, в ходе которого финские крестьяне убивали русских помещиков и чиновников. Русская армия усмирила бунтарей и буквально наводнила Финляндию, противопоставив себя местному населению, вынужденному содержать находящихся на постое солдат и офицеров. Исполнявший обязанности генерал-губернатора в 1812–1813

годах Г. М. Армфельт писал: «Русский штаб и русские солдаты зачумляли Финляндию», «в Финляндии еще не знают, что будет: бесконечно много обещано, но до сего дня ничего не исполнено», «теперешнее поведение русских относительно финских офицеров и Финляндии вообще весьма аполитично, но где будущая безопасность с варварами и деспотами?». А посему Закревский получил от императора (великого князя Финляндского с декабря 1808 года) специальную инструкцию, в которой ему разрешалось применять к финнам как кнут, так и пряник. Целью Закревского было максимальное ограничение автономных прав княжества, вплоть до ликвидации статуса автономии. Ведь пора на дворе стояла тревожная — до восстания декабристов оставалось всего два года. И существование на северо-западе империи, рядом со столицей, столь вольной территории было весьма неуместно, не ко времени.

Так уж вышло, что Закревский оказался первым русским генерал-губернатором княжества, до него эту должность занимали Г. М. Спренгпортен (1808–1809), М. Б. Барклай де Толли (1809–1810), Ф. Ф. Штейнгель (1810–1823), Г. М. Армфельт (исполняющий дела, 1812–1813). Сам факт этот не мог не отложить отпечаток и на реакцию местного населения, и на видение самим Закревским способов достижения поставленных перед ним целей. Тем более что неприязни к «немцам» он, как мы убедились, не скрывал.

Как ни оттягивал Арсений Андреевич свидание с Финляндией, но ему все-таки пришлось туда выехать, правда, с момента его назначения прошло более полугода. Лишь 9 марта 1824 года отправился граф из Петербурга на новое место службы. Первые впечатления подтвердили и укрепили его убеждение, что дела в княжестве запущены донельзя. Вину за это он отчасти возлагал на прежнего генерал-губернатора барона Штейн-геля, который (по мнению Закревского) по причине своего немецкого происхождения не обращал никакого внимания на ненависть финнов к русским и не пытался исправить положение.

В письме графу Киселеву от 16 ноября 1824 года Закревский противопоставлял себя Штейнгелю, который «напрягал усилия свои, дабы противопоставить одних другим, устанавливая зимою дни в неделе, на которые русские и финны сзывались каждые порознь; потворствуя народной и разгоряченной гордости последних, которым даже часто предоставлял преимущества над первыми.

Последствия такового образа поведения естественны: финны отчуждились совершенно русских; офицеров наших, и так уже достаточно наказанных ссылочной их здешнею жизнью, к себе не

принимают, делая, одним словом, все, что от них зависит, чтобы не сблизиться с нами. Ты можешь себе представить, как, с приезда моего сюда, я стараюсь дать всему этому иное направление: на вечерах моих являются офицеры наши в большом множестве, несмотря часто на неумение и неловкость их от казарменной жизни в светском обращении.

Впрочем, я не пропускаю ни одного удобного случая, чтобы не напомнить этим шведам великодушия, которым они одолжены Государю, и что благодарность их может отчасти излиться в общежительных и дружеских их сношениях с русскими»[199].

Надо отдать должное — Закревский сразу зарекомендовал себя деятельным и мобильным губернатором, показывая подчиненным пример того, как надо и должно работать. Его канцелярия трудилась с утра до вечера. Сам же он взял себе за правило ежегодно объезжать с инспекцией территорию края. Проезжая через финские губернии, он не забывал объявлять населению, что «питает к финляндской нации уважение, которое еще со времени прежнего служения его в сей стране твердо в нем поселилось»[200]. Уважение проявилось и в подробной описи всех местных законодательных актов начиная с XVII века, которую составил Закревский с целью более углубленного познания вмененной ему территории.

Закревский по должности занимал еще и пост председателя Императорского финляндского сената, высшего органа административного управления в княжестве. Членов сената назначал император, а вот начальников губерний должен был представлять государю для дальнейшего назначения именно генерал-губернатор. Однако помимо сената была еще и Комиссия финляндских дел, находившаяся в Санкт-Петербурге, в основном состоявшая из финских подданных и пытавшаяся проводить самостоятельную политику. Закревскому удалось значительно ослабить влияние ее председателя барона Р. И. Ребиндера, постоянно будировавшего вопрос о необходимости расширения финляндской автономии. А в 1826 году уже при Николае I комиссию и вовсе распустили.

«Финляндцы почувствовали, что прошли штейнгелевские времена, когда они делали что желали и когда начальник края считал своей первой заповедью вторить во всем Сенату и финляндской Комиссии, чтобы жить со всеми в добром согласии. При Штейнгеле центр тяжести в управлении Финляндии находился в Петербурге в руках статс-секретаря барона Ребиндера. Ограничив его влияние, Закревский взялся за Сенат. Значение Сената теперь существенно сократилось, а докладчик Ребиндер был отодвинут на второй план, так как случилось, что

Закревский сам нередко лично представлял дела государю; а главное, Закревский пользовался большим влиянием при дворе и огромным весом в петербургских административных сферах»[201].

До Закревского все доклады императору по финляндским делам производил именно Ребиндер, пытавшийся напоминать государю о данном им обещании «хранить и оберегать» финляндские законы и обычаи. Закревский же в 1824 году добился права самому докладывать императору, чем вскоре вызвал недовольство финляндских подданных, членов сената и комиссии. Первые последствия докладов Закревского не заставили себя ждать.

В мае 1825 года по представлению генерал-губернатора Закревского император Александр I подписал пять рескриптов о новом разделении финляндских губерний, увеличении власти местных губернаторов, предоставлении лицам православного вероисповедания права поступать на службу, открытия в княжестве новой епархии, введения в крае верстовых столбов русского образца. В ответ на это Императорский финляндский сенат постановил перевести бумаги на шведский язык и подал государю жалобу на действия Закревского, причем на французском языке. Закревскому пришлось оправдываться. Но спор так и остался нерешенным, так как главный арбитр — Александр I вскоре ушел из жизни[202].

Кстати, во многом именно из-за Закревского вопрос о созыве финляндского законосовещательного сейма, обещанного финнам еще в 1808 году, был отложен более чем на 50 лет. Сейм созвали только в 1862 году!

Воспользовавшись сменой власти в России, Закревский, как убежденный сторонник упразднения финляндских вольностей, решил привести Великое княжество Финляндское (сенат, чиновников и местное население) к присяге новому самодержцу Николаю I по общим правилам, как и во всей империи. Тем самым он хотел поставить жирную и последнюю точку в истории вопроса о финляндской автономии. Но необходимыми полномочиями для принятия столь судьбоносных решений он явно не обладал. Такое право имел лишь император.

Несмотря на то, что ликвидировать автономию Закревскому не удалось (а с течением времени Финляндия обрела еще большую самостоятельность, которая ее бывшему генерал-губернатору и не снилась), ряд ограничительных мер все же был воплощен. Финляндия стала частью Петербургского жандармского округа (всего в России было учреждено восемь округов). В июне 1826 года генерал-губернатор Финляндии получил право снимать с должности местных чиновников

(коронных фохтов, ленсманов и пр.).

Николай I, к вящему разочарованию Закревского, подтвердил обещания своего предшественника хранить и оберегать автономию княжества. При начале царствования Николай I, по традиции щедро раздававший чины и звания, не обошел и Закревского, пожаловав ему орден Святого Александра Невского и назначив его членом сената. А вскоре Арсения Андреевича включили в число членов Верховного суда по делу о декабристах. Правда, заседать на суде ему не пришлось, но приговор он был обязан подписать.

Закревский по-прежнему рвался прочь из Финляндии, мечтал оставить должность генерал-губернатора. Но такого подарка Николай I ему не сделал. «Я еду в Финляндию, государь желает и просит остаться. Я исполняю волю его, и объявил откровенно, что долее сентября я там не останусь. Зимою позволено жить здесь…» — из письма Киселеву от 27 ноября 1826 года. Лучшим местом жительства для Закревского являлся бы Петербург[203].

Как раз в бытность Закревского финляндским генерал-губернатором, осенью 1826 года в крепости, находящиеся на территории княжества, заточили декабристов, на то время, пока их не отправят в Сибирь. В конце 1826 года Закревский, совершая инспекционную поездку по Финляндии, заехал в крепости Свеаборг, Свартгольм и Роченсальм, проявив редкое внимание к нуждам государственных преступников.

Михаила Лунина он спросил: «Есть ли у вас все необходимое?» Тот пошутил в ответ: «Я вполне доволен всем, мне недостает только зонтика». Дело в том, что в камере Лунина протекал потолок. Закревский шутку понял и испросил согласие Николая на улучшение условий заключения декабристов. После визита Арсения Андреевича многое для декабристов сразу изменилось в положительную сторону. Смягчилось отношение тюремного начальства, разрешившего прогулки, разговоры друг с другом в казематах, а также посещение бани. Декабрист Владимир Штейнгель долго вспоминал о чуткости Закревского: «Вообще личное обращение генерал-губернатора было очень успокоительное по оказанному вниманию и особенной вежливости».

Более всего угнетала декабристов неизвестность — они не знали, сколько еще им сидеть. Им не говорили, когда их повезут в Сибирь. Летом 1827 года Закревский вновь приехал с инспекцией, предложив заключенным остаться в крепости на весь срок, к которому их приговорили. Но декабристы не захотели оставаться в Финляндии, об этом позднее вспоминал Иван Якушкин: «Никто

из нас не подумал воспользоваться таким предложением. Мы не знали, что ожидало нас в Сибири, но мы испытали всю горечь заключения, и неизвестность в будущем нас нисколько не устрашала». Не сказав декабристам ничего конкретного, Закревский уехал. А через несколько месяцев их наконец-то отправили в Сибирь.

Закревский заботился не только о декабристах, немало поспособствовав литературной деятельности отправленного служить в Финляндию Евгения Баратынского, о чем поэт всегда вспоминал с благодарностью. В то время когда познакомились поэт и губернатор, положение Баратынского было очень непростым. После исключения его в феврале 1816 года из Пажеского корпуса с запрещением, по личному распоряжению императора Александра I, поступать на какую-либо службу, кроме военной, и только рядовым, с большим трудом удалось ему в январе 1820 года получить унтер-офицерское звание и перевестись на службу в Нейшлотский полк в Финляндию. Там он мог бы и вовсе зачахнуть, если бы не Закревский, с разрешения которого осенью 1824 года Баратынский несколько месяцев служил при штабе корпуса в Гельсингфорсе (ныне Хельсинки). Поэтический успех к Баратынскому пришел именно в Финляндии, и большую роль сыграло в этом покровительство генерал-губернатора и его жены. Поэт был влюблен в супругу Закревского Аграфену Федоровну, вдохновившую его на создание ряда лирических стихотворений, и в частности образа Нины в поэме Баратынского «Бал». Наконец, благодаря Закревскому Баратынский получил возможность уйти в долгожданную отставку, после того как в апреле 1825 года он был произведен в офицеры.

Баратынский был частым гостем в доме Закревских в Хельсинки. В салоне генерал-губернатора блистала Аграфена Федоровна, вокруг которой вился рой поклонников, в том числе адъютанты Закревского Н. П. Путята, А. А. Муханов, а также барон Карл Густав Маннергейм, прадед маршала.

1 июня 1831 года, находясь в Петербурге, Арсений Андреевич получил следующее письмо: «Ваше Сиятельство. Важные государственные занятия не оставляют вам времени на чтение стихотворных безделок, и, представляя вам экземпляр моей поэмы, я не думаю обратить на нее ваше внимание, но желаю только доказать, что всегда с равною живою благодарностию я помню того, которому обязан свободою и досугом, нужными литератору. С истинным почтением и совершенною преданностию честь имею быть. Вашего Сиятельства покорнейший слуга Е. Боратынский». В письме идет речь, видимо, о новой поэме

Баратынского «Цыганка», которую он послал Закревскому вместе с письмом.

Деятельность Закревского в Финляндии оценивают по-разному. Современник, член Императорского финляндского сената И. В. Хисингер, писал о нем как о руководителе, управлявшем Финляндией как армией, то есть строго и по-военному. В то же время он характеризует Закревского как очень справедливого и деятельного человека. Вряд ли можно желать лучшей оценки от финляндского подданного, ведь оснований для большой симпатии к Закревскому ни тогда, ни сейчас у финнов не было. Хотя именно Закревскому они должны быть благодарны за возрождение и процветание новой столицы — Хельсинки (бывший Гельсингфорс). Когда новый генерал-губернатор приехал в недавно назначенный столицей Гельсингфорс, этот город представлял из себя провинциальное захолустье. Там не было ничего, что могло бы хоть отдаленно выполнять столичные функции, даже магазинов. Именно Закревский со свойственной ему энергией взялся за создание современного европейского города, начав полномасштабное строительство по разработанному финскими архитекторами генеральному плану. При нем же был выстроен университет в Хельсинки.

Наверное, неслучайно зять Закревского, князь Д. В. Друцкий-Соколинский писал, что его тесть «любил Финляндию и всегда отзывался с похвалой о трудолюбии ее народа. Когда только мог, он всегда носил мундир финского стрелкового батальона, которого был творцом и который ему был пожалован»[204].

Батальон, о котором пишет биограф Закревского, составлял особую заботу генерал-губернатора. Это воинское подразделение было создано еще в 1818 году в Тавастгусе. Стараниями Закревского в 1829 году батальон стал гвардейским и получил название лейб-гвардии Финского егерского батальона. Теперь, к радости Закревского, гвардейский мундир украшали пуговицы с двуглавыми орлами, выполненные за счет Военного министерства. 20 декабря 1830 года своим распоряжением Николай I пожаловал батальону серебряного орла на штандарт.

Итог своей работе на посту генерал-губернатора Великого княжества Финляндского подвел сам Закревский в августе 1831 года, составив для императора записку «О расположении умов в княжестве Финляндском». В записке говорилось: «В теперешнем путешествии моем из Петербурга в Гельсингфорс и отсюда в Або, Бьернеборг и Тавастгус я имел случай заметить, что в Княжестве Финляндском тишина и спокойствие вообще сохраняются столько, сколько того всегда желать должно. Если в разговорах и

тайной переписке с Швециею изъявляется иногда какое-либо неудовольствие на правительство, то сие происходит как от некоторых неблагонамеренных профессоров и студентов здешнего университета, в чем и статс-секретарь Ребиндер не сомневается, так и от молодых людей среднего класса, напитанных беспокойным духом вольнодумства, разлившимся ныне по всей Европе. Но высший и низший классы финляндского народа искренне преданы правительству, постигая более свои выгоды, каковыми они не могли пользоваться при шведском владении, и потому можно сказать, что все здравомыслящие настоящим порядком вещей совершенно довольны»[205].

Последняя фраза о том, что «все… совершенно довольны» не выглядит преувеличением даже с вершины сегодняшнего дня. У населения княжества была возможность сравнивать свои условия жизни с условиями жизни всей остальной Российской империи. Например, финских мужчин в русскую армию не рекрутировали. Довольны были и финские предприниматели, получая немалые барыши благодаря существующей в княжестве таможне, дававшей местным товарам большие преимущества на российском рынке перед иностранными. Все налоги княжества оставались в его пределах.

В справедливости сделанных Закревским выводов мог убедиться и лично государь, совершивший поездку по Финляндии в августе 1830 года. Произошло это через десять дней после того, как Николай I в признание заслуг генерал-губернатора возвел его в графское Великого княжества Финляндского достоинство, в «знак монаршего благоволения тем с большим удовольствием, что оный согласуется с желанием, изъявленным финляндским Сенатом; соединить Закревского теснейшими узами с согражданами финляндской нации и считать его в числе его сочленов»[206].

Закревский устроил императору и августейшему семейству торжественную встречу. Подсвеченные иллюминацией Хельсинки произвели на прибывших прекрасное впечатление. Царю поднесли хлеб-соль на серебряном блюде. В кафедральном соборе финляндской столицы отслужили молебен, затем император проследовал в дом Закревского, стоявший неподалеку, на главной площади. А на следующий день был дан торжественный бал.

Генерал-губернатором Финляндии Закревский был чуть более восьми лет, оставив эту должность 19 ноября 1831 года. Последние три года в княжестве Закревский появлялся нечасто, поскольку еще 19 апреля 1828 года он был назначен министром внутренних дел Российской империи. В одном лице Закревский стал совмещать две важнейшие в государстве должности. Можно

сказать, что именно в 1828-м произошло возвращение Закревского в большую политику.

Чем было вызвано такое решение Николая I? В Закревском он увидел еще большего формалиста и педанта, чем он сам. Именно при Николае огромную роль стала играть канцелярия, причем как на высшем уровне управления, так и на самом низшем. «Собственная Его Величества канцелярия» разрослась до размеров департамента, вобрав в себя четыре отделения. Наибольшую известность получило Третье отделение, которому подчинялась высшая полиция. Всё в стране делалось под надзором этого ведомства, ничего не могло ускользнуть от всевидящего ока жандармов.

Закревский отлично вписывался в военизированную систему управления страной. В этом он был единомышленником государя. Общим был их взгляд на идеальную систему государственного устройства, основанную на максимальной централизации и бюрократизации власти, строгой дисциплине: общество — это армия, живущая по своему уставу, то есть закону Недаром к окончанию царствования Николая I, к 1855 году, в сорока одной из пятидесяти трех губерний генерал-губернаторами были военные. И одним из этих генерал-губернаторов был Закревский, правда, в то время он уже правил не Финляндией, а Москвой.

При принятии кадровых решений Николай I обязательно учитывал поступающие к нему от агентов Третьего отделения сведения. Незадолго до назначения Закревского министром император получил очень интересный для нас документ — «Краткий обзор общественного мнения за 1827 год», из которого мы узнаем, что высшее общество в России делится на две большие группы: «довольные» и «недовольные». К «довольным» относятся те, кто предан государю и существующему строю, среди них называются Кочубей, Сперанский, Пален, Закревский. По мнению составителей обзора, Закревский является одним из тех, кто «распространяет благоприятное правительству мнение, но в силу местных условий влияние их не велико и зависит от индивидуальных свойств и умения действовать каждого из них».

Гораздо более многочисленной является группировка «недовольных», состоящая из двух частей: «русских патриотов» во главе с Мордвиновым и «старых взяточников», собравшихся вокруг князя Куракина. Центр фронды, недовольной принимаемыми государем кадровыми решениями, находится в Москве. Среди видных фрондеров — генералы Ермолов и Раевский. Недовольные главным своим орудием выбрали «ропот на немцев», то есть на иностранцев, назначаемых на высокие посты.

Записка эта ярко и полно освещает дефицит кадрового потенциала, с которым столкнулся Николай I. Людей, на которых император мог бы положиться, было не так много. Поэтому и назначил он Закревского министром внутренних дел империи с сохранением его в должности финляндского генерал-губернатора, осыпав его и другими милостями. Через год после назначения на пост министра, 21 апреля 1829 года, Николай произвел Закревского еще и в полные генералы от инфантерии. А еще через два года Закревский был награжден орденом Святого Александра Невского. Как приятно было читать ему высочайшие рескрипты, излагающие проявление щедрости и волеизволения государя!

Но были и другие послания к Закревскому, по службе. В октябре 1829 года министр получил следующее письмо:

«Его высокопревосходительству господину министру внутренних дел генерал-адъютанту и кавалеру Арсению Андреевичу Закревскому. От студента 14-го класса Николая Гоголь-Яновского.

Прошение

Окончив курс наук в Гимназии высших наук князя Безбородко, получил я аттестат с правом на чин 14-го класса, который при сем имею честь представить. Ныне же имея желание вступить в гражданскую его императорского величества службу, покорнейше прошу Ваше высокопревосходительство повелеть определить меня в оную по управляемому вами министерству внутренних дел.

Студент 14-го класса Николай Гоголь-Яновский»[207].

Арсений Андреевич удовлетворил просьбу студента Гоголя и приказал взять его на службу, о чем свидетельствует следующая собственноручная резолюция министра: «Употребить на испытание в Департаменте государственного хозяйства и публичных зданий, и при первом докладе лично г-ну директору со мной объясняться 15 ноября 1829 г.». Так благодаря Закревскому началась первая петербургская служба Гоголя.

Как удалось выяснить биографам Гоголя, письмо к министру попало в незапечатанном конверте, из чего следует, что Гоголь имел протекцию именно у Закревского. Человеком, просившим за студента, вероятно, был А. А. Трощинский.

Документ, который мы привели, интересен сам по себе, так как он проливает свет на малоизвестный эпизод из биографии писателя. Еще Фаддей Булгарин в «Северной пчеле» за 1854 год (№ 175) имел смелость утверждать, будто Гоголь по приезде в Петербург «явился к одному петербургскому журналисту» (то есть

к самому Булгарину), который, «тронутый его беспомощностью», устроил ему место в канцелярии Третьего отделения. С тех пор эта версия была принята большинством биографов. С опубликованием подлинных прошений Гоголя на имя Закревского служба его именно по Министерству внутренних дел, а не в Третьем отделении, в конце 1829-го — начале 1830-х годов была подтверждена документально[208].

А как радовалась мать Гоголя, Мария Ивановна! В своем письме от 6 апреля 1830 года П. П. Косяровскому она с благодарностью отзывалась о Закревском: «Николай мой служит в министерстве внутренних дел. Арсений Андреевич, по милости своей, поддерживает его там, а я не в состоянии теперь ему послать ничего, тем боле, что дом начали отделывать, и не могу вспомнить без ужасу, что он мне будет стоить».

Вряд ли Закревский предполагал, что письмо это сохранится и попадет в научный оборот не в связи с тем, что написано на его министерское имя, а по причине того, что автор послания — будущий великий русский писатель. Но даже если бы Арсению Андреевичу сказали, чью судьбу он решает, — ни один мускул на его лице не дрогнул бы. Сам Закревский не раз говорил, что Гоголя не читал. Он и на отпевание писателя в феврале 1852 года в храме Святой Татианы при Московском университете приехал не выразить свое уважение, а чтобы предотвратить возможные беспорядки.

Нельзя пройти мимо поразительного факта — Закревский сам находился под колпаком Третьего отделения. Вот какова была система, созданная в николаевской России. Обыкновенный донос от одного из агентов в 1826 году в один момент превратил Закревского в подозреваемого в неблагонадежности политика. В доносе говорилось, что еще во время службы дежурным генералом, то есть до назначения в Финляндию, Закревский посмел называть начальника Главного штаба князя П. М. Волконского «моим братом». В разговорах же с молодыми офицерами он говорил: «Скидайте глупости!» — имея в виду шпаги, а военные учения называл «дурачествами».

Говоря откровенно, Закревский должен был попасть в поле зрения жандармских агентов еще раньше, когда он в своих письмах всячески обличал ненавистного ему Аракчеева, ставшего причиной его финляндской ссылки. Но ведь тогда еще Третьего отделения не существовало! Как бы там ни было, под надзором жандармов Закревский находился почти всю вторую половину 1820-х годов.

В ту пору Министерство внутренних дел отвечало не только за поддержание полицейского порядка, но и за многие другие

области общественной жизни. Государь не зря направил Закревского наводить муштру именно на этот важнейший участок государственного управления. Арсений Андреевич поначалу оправдывал высокое доверие. Он ввел много чего нового, ранее невиданного российскими чиновниками.

Например, он приказал обращаться к губернаторам не иначе как «предписываю Вашему Превосходительству», установил двухнедельный срок для ответов на канцелярские запросы, а в целях скорейшего наведения порядка в бумагах приказал лишать чиновников отпусков и не отпускать в отставку. Министр ввел табельные доски для учета присутствия на рабочем месте чиновников, которые обязаны были вешать свой табельный номерок на доску. О малейшем опоздании чиновников центрального аппарата на работу докладывалось лично министру. Не было ничего такого, что бы Закревский не регламентировал и не задокументировал. Он определил даже форму перьев, коими писали чиновники. Дисциплина в министерстве была железная. При Закревском значительно возрос и штат ведомства.

Закревский безрезультатно боролся все с теми же пороками государства, что живы и поныне, главным из них считал он коррупцию. Так, вернувшись из поездки по Центральной России в 1831 году, он доложил Николаю I о плачевном состоянии губернских администраций и полиции, погрязших в воровстве и взяточничестве. Причинами этого министр считал низкий уровень материального обеспечения чиновников. Но даже после увеличения государственных расходов на содержание управленческого аппарата коррупция не только не была побеждена, а расцвела еще больше. Об этом ежегодно сообщало своему государю Третье отделение, но мало что менялось в российской бюрократической системе.

Благодаря неутомимым труженикам из Третьего отделения мы узнаем, каким министром был Закревский. Колоритный портрет Арсения Андреевича нарисован в «Картине общественного мнения за 1829 год», подлинник которой снабжен надписью: «Государь император изволил читать».

Что же прочитал Николай I? Теперь и мы можем это узнать: «Господин Закревский деятелен и враг хищений, но он совершенный невежда. Всю свою славу и свое честолюбие он полагает в чистоте апартаментов, в соблюдении формы, в составлении карточек и в числе входящих и исходящих бумаг. Последние читаются и пишутся, но дело не двигается… Напротив, в целях достижения некоторой популярности и репутации великого государственного деятеля… господин Закревский

полагает свою честь в том, чтобы незаметно оказывать покровительство своим подчиненным. Все сообщаемые ему жандармерией сведения он посылает губернаторам, сообщая им, от кого они исходят; это тормозит деятельность жандармов и навлекает на них придирки и злобу местных властей. Сколько ему не объясняют, что эти сведения сообщаются ему только в порядке частном, — …он не отступает от своей методы.

Состояние провинциальных тюрем в высшей степени плачевно, потому что министр, по странному пониманию справедливости, полагает, что не следует нежить злодеев, не принимая во внимание того, что среди заключенных могут быть люди невинные и несчастные. Полиция в губерниях тоже в плачевном состоянии, везде, даже под стенами Петербурга, кишит беглецами и бродягами. Не принимается никаких мер против опустошающих целые местности эпизоотий, и все заботы администрации ограничиваются перепиской.

Везде недостаток ветеринарных врачей. Немного более заботятся и о людях: целые деревни заражены венерическими болезнями: оспа, корь и другие заразные болезни беспрерывно свирепствуют среди беспомощного населения. Медикаменты в казенных аптеках, даже в Петербурге — скверные. Карантины соблюдаются беспорядочно и с недостаточной строгостью. Вступив в управление министерством, господин Закревский на основании доносов наложил руку на медицинский департамент; он без всякого разбора разогнал старых и опытных в этой сфере управления служащих, заменил их новыми, которые внесли путаницу в дела.

В колониях дела идут плохо — колонистам не оказывают никакого покровительства вследствие странной ненависти министра к иностранцам и непостижимого предубеждения, что колонии в России бесполезны.

Общественные здания в провинции разрушаются, и никто не думает больше об исторических развалинах, которые государь приказал охранять…

Следовало бы сделать очень многое в этом министерстве… если бы только министр был образованным и просвещенным человеком, но господин Закревский создан для формы и предрассудков; он не на месте».

Мы привели лишь отрывок из той части отчета, что была посвящена Закревскому и возглавляемому им министерству. Но и эта цитата убийственна для министра по своей сути. И самое главное, что в выдвинутых против Закревского обвинениях не было ни слова преувеличения. Прошло совсем немного времени, и всё, о чем прочитал государь, обернулось для России сущей

бедой.

Весной 1830 года на юге империи вспыхнула эпидемия холеры. Неудивительно, что распространялась она быстрыми темпами, ведь, как следует из отчета Третьего отделения, медицинское обслуживание в стране оставляло желать лучшего. В начале сентября на Закревского была возложена обязанность по борьбе с холерой в России.

Бороться с эпидемией он стал теми же строевыми методами. Прежде всего, в приказном порядке собрал в холерные губернии экспедицию из врачей, не спрашивая на то их согласия. Затем организовал карантины, проникновение за границу которых приравнивалось к преступлению. Никто не мог проскочить мимо расставленных Закревским караулов и застав. А если что — солдатам разрешалось открывать огонь.

Все это привело к обратному эффекту. Сосредоточение в карантинах большого количества людей и животных приводило не к прекращению холеры, а к еще большему ее распространению. Холера стала появляться там, где ее совсем не ждали. В результате болезнь дошла до Москвы и Петербурга. То тут, то там возникали стихийные холерные бунты, направленные против иностранцев и врачей, которых толпа забивала до смерти. Все потуги Закревского побороть эпидемию оказались тщетными. Надежд императора Арсений Андреевич не оправдал. Более того, государь был вынужден лично успокаивать разбушевавшийся народ во время беспорядков на Сенной площади в Петербурге.

Дело в том, что Закревский предложил в целях пресечения бунта в столице применить войска. Однако народ это не испугало. Лишь смелое и неожиданное появление перед толпой царя, обратившегося к собравшимся с теплыми словами, позволило направить ситуацию в другое русло. Но не мог же император ездить по всем российским губерниям, успокаивая народ. Этим должны были заниматься местная власть и полиция!

На вопрос императора о причинах народных волнений Закревский откровенно ответил, что виновата в этом полиция, злоупотребляющая своими полномочиями, которая тащит в холерные больницы всех подряд, а затем за взятки отпускает.

Закревский понял, что перестарался. Он вновь выехал в нелюбимую Финляндию, губернатором которой пока еще оставался и куда холера тоже пробралась, чтобы проверить слухи о возможных революционных настроениях, вызванных Польским восстанием. Вернувшись в Петербург в октябре 1831 года, он обратился к государю с прошением об отставке, сославшись на нездоровье. Тогда же Николай удовлетворил просьбу Закревского, надписав на высочайшем рескрипте выразительную фразу: «Не

могу не согласиться». Для Закревского это не было большой трагедией, если верить его словам, сказанным вскоре после назначения в министры: «Я не искал быть министром».

А что же говорили об этой отставке в Москве? А. Булгаков в письме своему брату в столицу 19 октября 1831 года писал: «Весь город наполнен известием об увольнении Закревского. Все генерально жалеют, что государь лишается столь верного слуги, а некоторые недоброжелатели говорят, что при отличных своих качествах Закревский был не на своем месте…»[209]

Из этого письма мы узнаем и обстоятельства, предшествовавшие отставке: Закревский представил к награждению девяносто двух чиновников своего министерства «за холеру», но ему было в этом отказано, что оскорбило его. «Можно было не делать огласки, — пишет А. Булгаков. — Другому бы это ничего, но я знаю щекотливость Закревского. Всякий добрый русский пожалеет, что человек, как он, жить будет в бездействии».

Причиной отставки называли следующее обстоятельство, переполнившее чашу терпения императора: якобы Закревский приказал подвергнуть телесному наказанию городского голову какого-то южного города, на что не имел никаких полномочий. Сам же Арсений Андреевич считал, что во всем виноваты завистники.

Но неужели в его деятельности на посту министра не было ни одного светлого деяния? Было, и немало. Например, по его распоряжению во всех губерниях предложено было организовать губернские публичные библиотеки. А для их пополнения Закревский обратился к помощи писателей и журналистов, рассчитывая, что они согласятся предоставить в библиотеки по экземпляру своих сочинений и периодических изданий. Такую просьбу — пожертвовать свои книги для создания одной из первых губернских библиотек в Смоленске в феврале 1831 года — получил и Александр Пушкин, но отказал. Поэт заявил, что условия его договоренностей с книгопродавцами таковы, что он не может удовлетворить просьбу. Хотя на самом деле, ему не понравился тон письма — официальный и с исходящим номером[210].

В ноябре 1831 года, освободив также и кресло генерал-губернатора Великого княжества Финляндского, Закревский оказался совершенно свободен от каких-либо государственных должностей и получил возможность посвятить себя семье. Ему было 48 лет, соответствующих тому периоду жизни, который принято называть расцветом жизненных сил. Силы эти Закревский направил на устройство богатых имений супруги.

Здесь он добился немалых успехов.

«В имениях графа Закревского, — отмечал современник, — были школы и больницы, были хорошие просторные избы и скотные дворы, было полное довольство, выражавшееся в наружном виде крестьян, в здоровом цвете лица и приличной одежде. Все это достигалось тем, что за худо вспаханную мало удобренную землю и за пьянство полагалось строгое взыскание. Кабаков в имении графа не допускалось, и в то же время для варки корчажного пива в деревнях к праздникам Закревский дарил крестьянам от себя хмель и в дни сельских праздников заходил сам к крестьянам пробовать пиво, раздавая при этом крестьянским детям пряники»[211].

В частности, он изменил до неузнаваемости дачу на Студенце, что у Трех гор. Ее стали называть Закревской дачей. Арсений Андреевич подошел к делу опять же по-военному, строго и серьезно. Он разбил прекрасный парк с аллеями, провел каналы, насыпал холмы, поставил памятники своим начальникам — Каменскому, Барклаю, Волконскому. Москвичи, обозревая дачу, отмечали «необыкновенную правильность, напоминающую что-то фронтовое, чистоту, в которой все это было содержимо, как бы заимствовано у аракчеевских военных поселений»[212]. Сравнение дачи Закревского с аракчеевскими военными поселениями весьма примечательно, ведь Аракчеев был главным врагом Закревского. Значит, в чем-то они были похожи!

Однако не только пряники доставались крепостным Закревского, но и кнут. В его подмосковном имении Ивановское в окрестностях Подольска была суконная фабрика, материал для которой привозили из Москвы. За несколько лет Арсений Андреевич в несколько раз увеличил производительность труда на фабрике, поставлявшей сукно для армии. Но каким же тяжелым трудом это было достигнуто — каждый работник должен был изготовить по три с половиной метра сукна в день. За невыполнение плана полагалась порка. Старожилы окрестных деревень по гроб жизни вспоминали, что лучше уж было получить 25 розог от кубанских казаков (Закревский специально держал их в усадьбе для этой цели), чем вкалывать в дневную смену по 14 часов или того хуже — ночь напролет. На фабрике Арсений Андреевич использовал и детский труд — дети работали, начиная с десяти лет, днем и ночью, по 13 часов кряду[212].

Находясь в отставке, граф много ездил по России, жил и за границей.

«В России надо жить долго», — гласит известная истина. К Закревскому она имеет самое прямое отношение. Дожив до 1848 года, он вновь стал необходим императору, а было Арсению

Андреевичу уже 65 лет! Это был уже пожилой человек, вера которого в необходимость применения «строевых» методов в управлении губернией и даже страной не только не поколебалась за 17 лет отставки, но и стала основой его мировоззрения.

Причиной возвращения Закревского на госслужбу стало, как это часто у нас бывает, обострение международной обстановки. В Европе запахло революцией. Сначала рвануло во Франции, в феврале 1848 года. Затем в Австрии, Пруссии, Молдавии, Венгрии…

Николай I забеспокоился и принялся за искоренение заразных либеральных идей в российском обществе. Кроме ужесточения цензуры рассматривалась и такая крутая мера, как упразднение университетов — главных источников либерализма, в том числе и Московского университета. Но этим император не ограничился, он решил укрепить вертикаль власти. Вот тут-то и вспомнили о Закревском, убежденном стороннике крутых и энергичных мер. Поговаривали, что напомнил царю о Закревском его новый родственник, канцлер граф К. В. Нессельроде, за сына которого вышла замуж в 1847 году дочь Арсения Андреевича.

6 мая 1848 года Москва получила нового военного генерал-губернатора. Прилагательное «военный» было не просто словом, а качеством, в котором Закревский должен был предстать перед москвичами. Именно привычными ему строевыми методами он и собирался управлять Москвой. 3 ноября 1848 года государь утвердил Закревского еще и членом Государственного совета, удостоив его и орденом Андрея Первозванного. Однако наибольшей по значимости оценкой Закревского были слова Николая I: «За ним я буду как за каменной стеной».

Закревский должен был привести в чувство вечно недовольную Москву, которую распустил своей мягкостью прежний градоначальник, князь Щербатов. С 1827 года, когда старая столица в отчете Третьего отделения была названа оплотом всех недовольных, мало что изменилось. Николай дал Закревскому карт-бланш, причем и в прямом, и в переносном смысле. «Меня обвиняют в суровости и несправедливости по управлению Москвою, но никто не знает инструкции, которую мне дал император Николай, видевший во всем признаки революции. Он снабдил меня бланками, которые я возвратил в целости. Такое было тогда время и воля императора, и суровым быть мне, по виду, было необходимо», — вспоминал сам Закревский[213].

Новый московский градоначальник был из той породы людей, энтузиазм и рвение которых по выполнению возложенных на них обязанностей по своему напору превосходят силу вышестоящих

указаний. Как и на прежней должности финляндского генерал-губернатора или министра внутренних дел, так и на новой работе Закревского не нужно было специально подгонять и провоцировать на активные действия. Он и сам мог дать фору любому начальнику.

Как только не оценивали генерал-губернатора! Нет, наверное, таких отрицательных эпитетов, которыми не наградили Закревского москвичи. Деспот, самодур, Арсеник I, Чурбан-паша и т. п. Как не вспомнить и об остроте князя А. С. Меншикова, пошутившего в присутствии царя, что Москва после назначения Закревского находится теперь «в досадном положении» и по праву может называться «великомученицей». Мучил Москву, естественно, Закревский.

По словам Б. Н. Чичерина, Закревский «явился в Москву настоящим типом николаевского генерала, олицетворением всей наглости грубой, невежественной и ничем не сдержанной власти. Он хотел, чтобы все перед ним трепетало, и если дворянству он оказывал некоторое уважение, то с купцами он обращался совершенно как с лакеями. Когда нужны были пожертвования, он призывал, приказывал, и все должно было беспрекословно исполняться».

Подобно Городничему из гоголевского «Ревизора», Закревский относился к купеческому сословию с особым подозрением. Немало натерпелись от него торговые люди. А вот и мнение яркого представителя купеческого сословия, имевшего большой зуб на градоначальника. Купец Н. Найденов писал: «Закревский был тип какого-то азиатского хана или китайского наместника. Самодурству и властолюбию его не было меры, он не терпел, если кто-либо ссылался на закон, с которым не согласовывались его распоряжения. «Я — закон» — говорил он в подобных случаях»[214]. Как было не возмущаться, ведь Закревский, в отличие от того же Д. В. Голицына, не уговаривал купцов жертвовать деньги, а заставлял это делать в приказном порядке.

Богатый московский купец Николай Петрович Вешняков вспоминал, что поскольку «Закревский инстанциям не придавал никакого значения, то стоило принести ему жалобу… как он весьма охотно принимал на себя роль судьи. В таких случаях к обвиняемому посылался казак верхом со словесным приказанием явиться к генерал-губернатору»[215]. Причем человеку не объявляли причину, послужившую поводом для вызова. В этом был весь смысл тактики Закревского — запугать человека заранее, «подготовить» его. Закревский принимал не сразу, а выдерживал вызванного в своей приемной битый час. Вот так и

маялись люди. А уже затем отчаявшегося в неведении и ожидании человека запускали к генерал-губернатору, объявлявшему несчастному свой приговор.

«Хорошо было еще, — свидетельствует Вишняков, — если, проморивши в приемной целый день, Закревский ограничится выговором, хотя бы с упоминанием о родителях, и выгонит вон, но могло быть и хуже: Тверской частный дом находится прямо против генерал-губернаторского, и можно было получить там даровую квартиру. Можно было получить и командировку на неопределенное время куда-нибудь в Нижний Новгород или Вологду».

Уже в самом начале своего градоуправления Закревский продемонстрировал свое отношение к купечеству, в ноябре 1848 года «попросив», чтобы Московское купеческое общество пожертвовало дюжину троек с лошадьми и телегами проходящим через Москву полкам. Купцы немедля исполнили «просьбу». Не замечать пожеланий генерал-губернатора было опасно. В этом случае Закревский обычно вызывал к себе городского голову и отчитывал его в нелестных выражениях за «невнимательность». Городского голову купца Кирьякова он прилюдно обозвал дураком за отсутствие рвения в пожертвованиях, в итоге тот вынужден был подать в отставку.

Для Арсения Андреевича не имело значения, где живет купец — в Москве или Петербурге. Так, в дневнике Леонтия Дубельта от 20 марта 1852 года читаем: «Громов и Лавров, петербургские купцы, высланы из Москвы графом Закревским за карточную игру»[216].

Чтобы нагнать страху на купцов, хватило всего лишь одного случая, когда некий купец, вызванный к Закревскому, отдал Богу душу от страха, еще не доехав до Тверской, в экипаже. Боялись Арсения Андреевича больше холеры, боялись упоминать его всуе, даже при прислуге, чтобы не донесла. В каждом топоте копыт мерещилась слабонервным купцам зловещая тень казака с «приглашением» прибыть к генерал-губернатору.

«Дамы ездят по домам, купцов берут за бороды, подчиненным приказывают жертвовать», — писал современник[217]. Среди дам была и Аграфена Закревская, разъезжавшая по богатым домам как глава Благотворительного комитета по сбору пожертвований на Крымскую войну, начавшуюся в 1853 году.

Купцы не очень-то спешили открывать мошну. Апофеозом кампании по сбору «добровольных пожертвований» стал вызов зажиточной купеческой общественности в особняк генерал-губернатора на Тверскую. Канцелярия Закревского была полна приехавшими в тревожном ожидании богатеями. Наконец один из

губернаторских чиновников достал толстую папку и, открыв ее, стал выкликивать купцов. Спрашивая фамилию, он глядел потом в папку, будто сверяясь со своим списком, и провозглашал сумму, которую данный купец обязан был пожертвовать. Далее все зависело от находчивости и храбрости купца. Кто понаглее, пробовал торговаться — кому же охота отдавать свои же денежки, пусть и на войну! Недаром русская пословица гласит: «Кому война, а кому мать родна!» Ну а те, кому не удавалось скостить сумму, уходили от губернатора, тяжело вздыхая, с опущенной головой. Зато потом они получали благодарность за проявленное усердие — бумагу, которую надо было «хранить, вместе с прочими, в устроенном для высочайшей грамоты ковчеге».

Уже в ноябре 1853 года в Москве объявили первый рекрутский набор, установивший следующую меру — в армию забирали по десять человек с каждой тысячи крепостных крестьян, ремесленников, рабочих… Всего, таким образом, Закревский должен был поставить под ружье почти тринадцать с половиной тысяч человек, что было больше на 4 процента всего трудоспособного населения губернии[218]. Естественно, что при таком подходе находилось немало и тех, кто пытался всеми силами избежать призыва. У кого были деньги — откупался, иные — дезертировали. Тех же крепостных, кто добровольно (не будучи призванным) хотел служить и являлся с этой просьбой к Закревскому, граф нередко отправлял обратно к барину.

Похоже, что Арсению Андреевичу было невдомек, что крепостное право настолько изжило себя, что стало причиной отставания уже не в сельском хозяйстве, а в деле обороноспособности страны. Он по-прежнему считал, что все дело решают политическая благонадежность и преданность чиновников.

Даже в прошлую большую войну 1812 года дела по мобилизации московского населения обстояли лучше. Лишь 12 февраля 1855 года был избран начальник Московского дворянского ополчения генерал А. П. Ермолов (но Николай назначил графа С. Г Строганова). И пока войска рядились да собирались, пока шли — война уже закончилась и, к сожалению, не очень выгодным для России миром, лишившим ее права иметь военный флот на Черном море.

По сути, это был плачевный результат всего николаевского царствования, опиравшегося на крепостное право, Третье отделение с его агентами, а еще на таких столпов, как граф Закревский, не сумевший толком даже собрать ополчение. Но позорный мир пришлось заключать уже не Николаю I, скончавшемуся в 1855 году, а его сыну Александру II.

Вот что занимает — если успехами в подготовке к новой войне Москва не могла похвастаться, то пышностью празднования прошлых побед Закревский поразил многих. Особенно запомнилось москвичам празднование сороковой годовщины освобождения Москвы от французов. Шестидесятидевятилетний ветеран Отечественной войны, Закревский не мог пройти мимо этой даты. В 1852 году он собрал у себя в особняке на Тверской на торжественный банкет более тысячи участников войны: «11-го октября минуло 40 лет, как Наполеон оставил Москву. В этот день граф Закревский собрал у себя уцелевших участников войны 1812 года. Их оказалось в Москве: 298 генералов, штаб- и обер-офицеров и 719 унтер-офицеров и рядовых, всего 1017 человек. Граф Закревский угостил их обедом»[219].

Торжественные речи и шампанское лились рекой, застолье длилось до рассвета.

А в самый разгар войны, в период обороны Севастополя, Закревский дал бал в честь столетия Московского университета (он приказал каждый день собирать студентов на построение и шагистику). А через несколько лет в Москве торжественно встретили и самих отважных героев обороны Севастополя.

Арсений Андреевич считал необходимым совать свой губернаторский нос повсюду, даже в семейные дела горожан. Современник писал: «Он нагонял такой страх на москвичей, что никто не смел пикнуть даже и тогда, когда он ввязывался в такие обстоятельства семейной жизни, до которых ему не было никакого дела и на которые закон вовсе не давал ему никакого права»[220]. Если, например, Закревскому жена жаловалась на беспутного мужа-купца, то он требовал от купеческого сословия немедленно исключить его из своих рядов. Но купеческое общество не могло выполнить желание его сиятельства, поскольку не имело права исключать купцов второй гильдии. А когда муж жаловался на жену, то Закревский, наоборот, обращался в купеческое общество с предложением наказать жену, хотя таких полномочий общество не имело.

Так, однажды осерчал Закревский на либерального литератора Н. Ф. Павлова, в конце 1840-х годов сочинившего на него острую эпиграмму, быстро ставшую популярной в Москве. И когда появилась возможность Павлова урезонить, Арсений Андреевич не преминул этим воспользоваться. Зная, как Закревский любит вмешиваться во внутрисемейные дела, жена и тесть Павлова обратились к графу с жалобой на него. Дескать, Павлов своей неудержимой страстью к карточной игре совсем разорил семью, да к тому же содержит на деньги супруги многочисленных любовниц.

Несчастного Павлова арестовали и привели к Закревскому, который его лично допрашивал. Но этим дело не кончилось. Закревский велел провести у арестованного тщательный обыск, в результате которого в доме Павлова обнаружились антиправительственные рукописи, письма Белинского и еще «кой-какие стихи». Были все основания передать дело в Третье отделение, что Закревский немедля и сделал. Следствие велось чрезвычайно строго. Суровым был и приговор — за картежную игру и хранение запрещенных цензурой книг Павлова со службы уволить (он был смотрителем 3-го московского уездного училища) и сослать в Пермь под строжайший надзор, что и случилось в апреле 1853 года. И хотя, благодаря заступничеству друзей, к концу года Павлова простили и вернули в Москву, приехал он надломленным и одиноким. Вот что значит — писать сатиру на Закревского[221]…

С другой стороны, Павлову повезло — ведь Закревский мог вписать его имя в тот самый пустой бланк, данный ему государем. И тогда литератор мог отправиться в Сибирь надолго, если не навсегда.

Если Ростопчин (которого Закревский очень уважал и считал идеалом государственного деятеля) полагал, что рассадником заразных идей являются масоны, то Арсений Андреевич питал подозрительность к славянофилам. Досталось от него Аксаковым, раздражавшим Закревского своими бородами — главным признаком неблагонадежности. Сам Закревский, как и положено было государственным чиновникам, брился каждый день. Этого же он потребовал и от Сергея и Константина Аксаковых, заставив их в 1849 году немедленно сбрить бороды.

Напомним, что на дворе стояла середина XIX века, а не первая четверть XVIII, когда насильное подстригание бород было в моде. Но спорить с Закревским законопослушные славянофилы не стали и побрились.

Истинной причиной очередного самодурства Закревского была, конечно, не борода, а давнишняя неприязнь к Аксакову, еще в 1832 году по распоряжению Николая I отправленному в отставку с должности цензора Московского цензурного комитета. Не скрывал Аксаков своего отрицательного отношения к крепостному праву, которое Закревский полагал священной коровой самодержавия.

Борясь с либеральными веяниями, Закревский усмотрел в невинных славянофилах революционную партию и в 1852 году доносил Николаю I, «что с некоторого времени образовалось в Москве Общество славянофилов. <…> Как общество это, под

руководством людей неблагонамеренных, легко может получить вредное политическое направление, и как члены оного большею частию литераторы, — то он, граф Закревский, признавал совершенно необходимым, кроме личного за ними надзора, обратить особенное внимание цензуры на их сочинения»[222].

Еще одного славянофила — Хомякова Закревский как-то вызвал к себе, чтобы сообщить ему высочайшее повеление не только не печатать стихи, но даже не читать их никому. Этот эпизод П. И. Бартенев описывает в ироническом ключе: «Ну, а матушке можно?» — поинтересовался Хомяков. «Можно, только с осторожностью», — улыбаясь, сказал Закревский, знавший Хомякова еще с Петербурга, когда тот служил в конной гвардии и бывал у его матери[223].

Сам же Петр Иванович Бартенев, историк и один из первых пушкинистов, также был удостоен чести побывать на приеме у генерал-губернатора. Как-то раз неожиданно его затребовали к Закревскому, причем не объясняя причины. Едва только Бартенев вошел к генерал-губернатору, тот стал распекать его по полной программе за отвратительную выходку в Дворянском собрании. И чего только не пришлось Бартеневу выслушать в тот день, жаль, что все это относилось не к нему, а к его однофамильцу. Но сказать об этом Закревскому он не мог — граф даже слова не давал вставить. Лишь в конце обличительной тирады Закревский понял, что слова его звучат не по адресу. Но перед Бартеневым он так и не извинился. А находчивый историк попросил Закревского поведать об Аустерлицком сражении, что тот и сделал с удовольствием, сравнимым с тем, что он испытывал за пять минут до этого, отчитывая Бартенева.

Немало подозрительных Закревскому личностей было в Московском университете (особенно среди преподавателей философии), о чем генерал-губернатор докладывал управляющему Третьим отделением Собственной Его Императорского Величества канцелярии Леонтию Дубельту:

«Генерал-адъютант граф Закревский уведомил, что выпущенный из Московского университета, со степенью кандидата, уроженец Западных губерний Александр Зенович, не желая вступить в службу, потому будто бы, что имеет исключительную страсть к наукам и намерен при первой возможности отправиться за границу, живет в Москве довольно богато и, чуждаясь общества русских, собирал в своем доме Поляков, рассуждал с ними о политике и, при всяком удобном случае, провозглашал свою ненависть к русским.

Г<осподин> военный министр докладывал о сем Государю Наследнику Цесаревичу, и Его Императорское Высочество,

согласно мнению графа Закревского, повелеть изволил: выслать Зеновича в одну из отдаленных губерний, под строжайший надзор полиции.

Об исполнении сего сообщено министру внутренних дел и Московскому военному генерал-губернатору.

Он же, граф Закревский, известил, что до него доходили сведения о вольнодумстве служащего в ведомстве Московского опекунского совета, сенатского регистратора Степанова; что сначала учреждено было над этим чиновником наблюдение, а потом он арестован, со всеми бумагами: ибо вследствие наблюдения донесено, что Степанов один раз в разговоре о политических делах Европы уверял своих знакомых, что если у нас вспыхнет революция, то он первый поднимет красное знамя, и присовокуплял, что наступило время, когда русские поняли, что такое республика. При обыске же в бумагах Степанова найден рисунок построения баррикад, разные карикатуры и статьи в сатирическом роде.

По рассмотрении бумаг Степанова, доставленных из Москвы, оказалось, что рисунок баррикад не изображает действительного построения баррикад, но имеет весь характер насмешки над баррикадами, как объясняет сам Степанов, так, что тут не видно никакой злоумышленной цели; равным образом другие карикатуры и статьи относятся не до правительства, а до слабостей и недостатков чиновников и разных лиц; сверх того найден отрывок статьи, в которой Степанов, рассуждая о поклонении иконам, дозволил себе некоторые мысли, несовершенно согласные с православием.

Г<осподин> военный министр, не находя в настоящем деле особенной политической важности, тем не менее полагал, что Степанова по нынешним обстоятельствам следует выслать в одну из отдаленных губерний, под строжайший надзор местного начальства.

Государь Наследник Цесаревич изволил утвердить означенное мнение генерал-адъютанта князя Чернышева (военный министр. — *А. В.),* и об исполнении этого сообщено как министру внутренних дел, так и графу Закревскому»[224].

Засели революционеры и в Малом театре, который, как известно, считался «вторым университетом». Арсений Андреевич жаловался в Третье отделение на артиста Михаила Щепкина, который «протаскивал», по его мнению, на сцену Малого театра сочинения Александра Герцена.

И Щепкина, и Павлова, и Аксакова Закревский взял на карандаш и включил в специальный «Список подозрительных лиц в Москве», составив который, он в самом конце своего

градоначальства отправил его в Петербург, министру внутренних дел В. А. Долгорукову. Министр, по замыслу Закревского, тоже когда-то занимавшего эту должность, не мог пройти мимо сего документа и должен был принять срочные меры к перечисленным в списке.

Но Долгоруков оказался более здравомыслящим человеком, ведь, по Закревскому, получалось, что почти все лучшие представители московской общественности являются политически неблагонадежными. Арсений Андреевич собрал в кучу всех — и славянофилов, и западников, и купцов, и преподавателей, и студентов Московского университета, и книгоиздателей, и цензоров. Если бы всех их выслали, то кто же тогда остался бы в Москве?

Возникает вопрос: при таких методах управления, наверное, у Закревского было немало врагов, нажитых им в период градоначальства? Неужели не жаловались на него? Жаловаться на Арсения Андреевича было опасно — ведь жалоба возвращалась к нему же. Закревский замордовал даже дипломатический корпус:

«Французский консул в Москве просил графа Закревского о дозволении праздновать именины Императора Наполеона и украсить в тот день католическую церковь трехцветными флагами. Граф Закревский отклонил это желание, но выразился при этом довольно резко и приказал окружить церковь жандармами и никого в оную не впускать! Консул вошел по этому предмету с жалобой к своему правительству»[225].

Не хотелось бы рисовать портрет Закревского исключительно черной краской. Неужели за 11 лет своего градоначальства он не сделал для Москвы ничего полезного, а только мучил и строил горожан во фрунт? Нет, в деятельности Закревского есть светлые моменты.

При Закревском в Москве случилось важнейшее событие общероссийского масштаба — открытие в 1851 году Петербургского вокзала, первого вокзала Москвы, связанной с Петербургом открытой тогда же между двумя столицами железной дорогой. 19 августа 1851 года в три часа утра первый поезд с государем и свитой выехал из Петербурга. В Москву приехали в 11 часов вечера. После смерти Николая его сын Александр II переименовал вокзал в Николаевский.

Вскоре Закревский объявил москвичам, что «с первого числа ноября месяца начнется движение по С.-Петербургско-Московской железной дороге, и на первое время будет ходить в день по одному поезду. Пассажиры приезжают за час, а багаж за 2 часа. Доезжают за 22 часа»[226].

Железная дорога преобразила Москву и страну, послужив

своеобразным рычагом, потянувшим за собой и промышленность, и земледелие. Темпы, с которыми Москва стала превращаться во всероссийский промышленный центр, значительно ускорились.

Интересно, что московские власти намеренно не хотели строить вокзал в центре города, опасаясь возможного возгорания от огня и искр, вырывавшихся из топок паровозов, и производимого ими «адского шума». Поэтому и выбрали пустырь у Каланчевского поля.

Закревский заботился об улучшении экологической и противопожарной обстановки в Москве. По его предложению в июне 1849 года был принят закон, запрещавший строительство в Москве и Московском уезде «бумагопрядилен, шерстопрядилен, чугунолитейных, стеариновых, сальных, лаковарных и вообще таких заводов, которые производят горючие химические продукты». Градоначальник одновременно получил право разрешать открытие промышленных предприятий. Подспорьем в этом деле ему стал комитет по надзору за фабриками и заводами.

Одним из тех, кому пришлось отвечать перед Закревским, стал купец Михаил Яковлевич Рябушинский, основатель знаменитой династии. Градоначальнику доложили, что Рябушинский в нарушении всех правил устроил в своем доме фабрику. Все могло бы кончиться закрытием оной. Но Закревский решил по-другому, он позволил Рябушинскому работать и дальше, но с условием, что вместо дров для отопления фабрики будет использоваться торф. Так выразилась забота генерал-губернатора о сохранении подмосковных лесов, вырубка которых всё увеличивалась с ростом московской промышленности.

При Закревском инфраструктура Москвы продолжала модернизироваться. Строилось водоподъемное здание при Бабьегородской плотине, велись работы по водоснабжению Арбата и Тверской площади. В 1858 году началась прокладка телеграфных линий до Нижнего Новгорода и Харькова.

Еще одним важным событием стало восстановление после пожара Большого театра в 1856 году. Загорелся театр также при Закревском, в 1853 году. Это был второй в истории пожар Большого. И надо отдать должное генерал-губернатору, он сделал все возможное для скорейшего начала восстановительных работ, приуроченных к коронации Александра II. По сравнению с первым пожаром на Петровской (ныне Театральной площади), случившимся в 1805 году, последствия второго пожара устранены были гораздо быстрее — театр открылся уже через три года. А тогда пришлось ждать почти 20 лет.

Такая скорость, возможно, была вызвана особой любовью Закревского к театральным действам. Недаром в 1851 году он

обратился к директору императорских театров А. Гедеонову со следующим посланием:

«Понятия московской и петербургской публики о звании военного генерал-губернатора совершенно различны. В Москве военный генерал-губернатор есть представитель власти, в Петербурге много властей выше его. Ложа-бенуар в Большом театре, отчисляемая ныне к императорским ложам, состояла всегда в распоряжении московских военных генерал-губернаторов. Ею пользовались и предместники мои, и я по настоящее время. Всегда принадлежавшее военным генерал-губернаторам право располагать этою ложею составляет в мнении жителей Москвы одно из преимуществ, сопряженных со званием генерал-губернатора. Дать генерал-губернатору ложу в бельэтаже или бенуар наряду с прочей публикой значит оскорбить и унизить в глазах Москвы звание главного начальника столицы и дать праздным людям, которых здесь более нежели где-либо, повод к невыгодным толкам. Прошу Вас, Милостивый Государь, довести до сведения его светлости министра Императорского Двора, что по вышеизложенным причинам я нахожу несовместимым с достоинством московского военного генерал-губернатора иметь ложу в здешнем Большом театре в ряду обыкновенных лож и бенуаров. Собственно для меня не нужно никакой ложи, но меня огорчает то, что в лице моем оскорбляется звание московского военного генерал-губернатора»[227].

Мы специально привели текст письма в таком объеме, чтобы продемонстрировать своеобразие стиля и языка Закревского. Почти в каждом предложении упоминается его должность — военный генерал-губернатор. От этих частых упоминаний рябит в глазах. Но он пишет так, будто речь идет не о нем, а о совершенно постороннем человеке. Малоубедительно и утверждение о том, что Закревский не за себя радеет, а за должность генерал-губернатора вообще. Это даже вызывает улыбку.

Если смотреть глубже, то в этом письме Гедеонову сформулировано отношение Закревского к Москве: он в ней не управляет, а царствует, причем как ему вздумается. И никто ему не указ. Казалось бы, что может прибавить к этому авторитарному полновластию с сверх широкими полномочиями царская ложа? Оказывается, может. Она не только тешит самолюбие Закревского, показывая и всем остальным, кто сидит в ложе вместо императора и как вследствие этого надо к нему относиться. В итоге Закревский получил право занимать царскую ложу, как и все последующие начальники Москвы.

В 1853 году в Москве открылась выставка мануфактурных изделий, а через два года школа шелководства при Московском обществе сельского хозяйства. Закревский наконец-то воплотил в жизнь и проект прежнего градоначальника князя Щербатова о взимании денежных сборов с владельцев тех домов, что стоят вдоль прокладываемых в городе дорог.

Более удачной в 1848 и 1854 годах была и борьба Закревского с холерой, вероятно, из-за меньшего ее распространения, а также и потому, что градоначальник учел свой прежний печальный опыт. В 1848 году после окончания эпидемии в Москве провели перепись оставшегося податного населения.

Вел Закревский и борьбу с трудовыми мигрантами, желая ограничить приток в Москву работных людей и приехавших на заработки деревенских жителей. Как и в наше время, полтора века назад Москва испытывала схожие проблемы. Закревский считал, что превышение объема рабочей силы над потребностями города ведет к трудностям с расселением приехавших, к росту цен на продовольствие и дрова, а также к злоупотреблениям со стороны работодателей.

Начало градоуправления Закревского ознаменовалось ощутимой встряской, которую губернатор устроил фабричным рабочим. В 1848 году за нарушение введенных Закревским полицейских правил наказанию было подвергнуто более полутора тысяч рабочих. Чем же они провинились? Они позволяли себе уходить с фабричного двора позже назначенного часа, оставляли на ночлег родственников, не ходили в церковь по праздникам и воскресеньям (штраф за такую провинность составлял пять копеек) и т. д.

Закревский проявлял и заботу о рабочем сословии, требуя, чтобы в билете, выдаваемом при уходе на заработки в Москву, указывался получатель заработной платы, им мог быть не только работник, но и члены его семьи. Вникнув в суть вопроса, Закревский делал довольно логичные выводы: «Я нахожу, что поводы к недоплатам и притеснению рабочих подрядчиками заключаются преимущественно в сущности самих контрактов и относить это исключительно к лени и нерадению рабочих нельзя»[228].

Закревский требовал от работодателей выдавать заработную плату деньгами, а не произведенной продукцией. Все эти меры, как вполне справедливо считал градоначальник, способствовали уменьшению вероятности возникновения недовольства среди низших слоев населения, что в условиях революционной обстановки в Европе приобретало известную актуальность.

В своем особняке на Тверской Закревский давал роскошные балы, частым гостем которых в годы своей бурной молодости был Лев Николаевич Толстой, бывший в родстве с женой генерал-губернатора, приходившейся будущему писателю двоюродной теткой.

А вот маскарады Закревский не любил. Действительно, зачем нашему человеку скрывать свое лицо под маской? А потому в 1851 году он написал по этому поводу письмо в столицу о «неблагопристойностях», допускавшихся, по его мнению, Московской конторой императорских театров в даваемых ею театральных маскарадах. Закревский обвинил дирекцию в том, что она не предпринимала мер «к усмирению буйных и к удержанию тех, которые противятся требованиям правил порядка и благопристойности».

Письмо Закревского наделало много шума и даже привело к расследованию, результатом которого стали выговор управлявшему Московской конторой императорских театров и утверждение новых правил организации маскарадов, в соответствии с которыми указано было в театрах «в нижние буфеты и отдельные комнаты при них женщинам вход воспретить совершенно». Полиции дано было право следить «за туалетом посетителей театральных маскарадов»[229].

В 1852–1853 годах под редакцией Закревского был издан «Атлас столичного города Москвы», остающийся по сей день одним из самых подробных планов города — в масштабе 1:3360. На нем были изображены не только дома, церкви и другое, но даже полицейские будки.

Когда в 1858 году исполнилось десять лет со дня пребывания Закревского на посту генерал-губернатора, его чиновники собрали по подписке капитал, на проценты с которого содержался инвалид в Измайловской военной богадельне — он так и назывался — «пансионер графа Закревского», градоначальник мог сам решить, кто именно должен был содержаться на эти деньги. Но не прошло и года, как Арсений Андреевич был отправлен в отставку. Случилось это 16 апреля 1859 года. К этому времени претензий к Закревскому накопилось немало. Нужен был лишь повод.

Интересно, что основанием для отстранения Закревского (как и назначения его на этот пост) стало опять же замужество его дочери, которую он не просто любил больше всех на этой грешной земле, а даже обожал. Бывало, лишь для нее одной устраивал он домашние спектакли и концерты в генерал-губернаторском особняке на Тверской. Стремился удовлетворять все ее желания и растущие с каждым годом потребности. Так

вышло и на этот раз.

Лидия Арсеньевна Нессельроде решила выйти замуж вторично, и это при живом-то муже! Куда смотрел муж, спросите вы. С мужем они жили в разъезде. Дочь Аграфены Закревской унаследовала не только ее гены, но и образ поведения. «У графини Закревской без ведома графа делаются вечера: мать и дочь, сиречь графиня Нессельроде, приглашают к себе несколько дам и столько же кавалеров, запирают комнату, тушат свечи, и в потемках которая из этих барынь достанется которому из молодых баринов, с тою он имеет дело. Так, на одном вечере молодая графиня Нессельроде досталась молодому Му-ханову. Он, хотя и в потемках, узнал ее и желал на другой день сделать с нею то же, но она дала ему пощечину…» — писал Дубельт.

Новым избранником Лидии оказался бывший чиновник канцелярии Закревского князь Дмитрий Друцкий-Соколинский. Отец не смел прекословить дочери и сам организовал незаконное венчание, вручив сомневающемуся священнику полторы тысячи рублей и пообещав, в случае чего, отправить его в Сибирь. После венчания молодых Закревский выдал им паспорт для отъезда за границу. Император узнал об этом последним. Участь Закревского была решена. Этот случай говорит о том, что для Арсения Андреевича закон был, что дышло.

Эта история получила большой резонанс в Москве. Какой-то доброхот написал даже лубочную книжку «Граф Закревский и его дочь». Но где теперь эта книга? Фольклорист Евгений Баранов, в конце XIX — начале XX века собиравший рассказы московских старожилов, передает ее содержание, изложенное очень своеобразным народным языком. Это интереснейший документ эпохи:

«Все через родную дочку произошло, через этот ее развод. Вертела она отцом, как хотела. И захотелось ей замуж… Отец и благословил, а если бы не благословил, она бы глаза ему выцарапала: язва была порядочная. И как вышла замуж, муж оказался нехорош… А нехорош вот отчего: он хотел, чтобы было как нельзя лучше, а она хотела — чтобы было как нельзя хуже. Она думала, что на то и замуж вышла, чтобы по машкерадам шататься: с утра зальется и нет ее до поздней ночи, а за хозяйством кто хочет, смотри, хоть татарина шурум-бурум зови. Видит муж — непорядок. Раз сказал, два сказал… Р-раз! По-военному: за косы и сею-вею… Ну, завизжала, заорала, стала ругаться: «Ах, ты, говорит, обормотина проклятый! Давай развод!»

А он говорит: «Не могу: мы еще три года вместе не прожили». А тогда такой закон был: развод только через три года можно

было дать, да и то надо хлопотать у митрополита и сунуть кому следует тысчонку-другую… Ну, конечно, эти разводы для богачей и дворянства, а для нашего брата какой развод? Только мать сыра земля и разводила. Это теперь хоть каждый день разводись, а раньше и в помине не было, чтобы мужика с бабой развели…

Ну, не вышло, охать и ахать не стала, полетела к папаше в Москву: «Муж, говорит, подлецом оказался, бьет меня. Дай нам развод». А он (Закревский. — *А. В.)* говорит: «Как это возможно? Я ведь не митрополит». Ну, ей ничего, что не митрополит, ей развод подай!

«Ты, говорит, в Москве повыше митрополита, ты царь и бог! Кто смеет с тебя спросить?»

Он и забрал в голову, что это правда, взял да и написал, что, дескать, «полковник не живет с моей дочерью на законном основании, бьет и терзает ее, а потому жить им врозь». Подписал и казенную печать приложил. Она прилетела с этой разводной к мужу: «Посмотри-ка, говорит, чертова образина: вот разводная!»

Он видит — фальшивая разводная. Ему-то, собственно, жену пусть хоть черти возьмут, а досада его берет, что всю вину на него свалили. Вот он и подал жалобу царю: «В Москве, говорит, два митрополита: один настоящий, из духовенства, другой фальшивый, из генерал-губернаторов». — И описал, как женился, как жена шаталась по балам…

Прочитал царь и говорит: «Правда тут или неправда, не знаю». И приказал это дело хорошенько разузнать. Стали докапываться… Видят — тут одна правда, полковниково дело правое, он правду написал. Царь рассердился и написал Закревскому:

«Какой, говорит, ты митрополит, ежели кадило не умеешь держать по-настоящему? Ты самозванец, а мне самозванцев не надо, потому что от них одна только подлость идет».

Ну, значит, Закревского в шею со службы. Вот он прочитал эту царскую бумагу и говорит сам себе: «Тебе, старому дураку, так и надо, чтобы не слушал свою беспутную дочь». И написал он про себя такой стишок:

За дочь беспутную страдаю,
За беззаконный ее брак,
И навсегда себя ругаю,
Что стал на старость я дурак!

Он был и взаправду старый: семьдесят два года имел. И было ему большое огорчение, что выгнали его со службы. Жалование наплевать: у него самого три миллиона в банке лежали, да еще

дом стоил мильон, а важны ему были почет и уважение.

А в Москве уже в трубы протрубили и в колокола прозвонили, что дали ему по шапке со службы за этот фальшивый развод. Вот он и сидел в комнате, как сыч в дупле, глаза на улицу боялся показать»[230].

Остроумный рассказ московского старожила, быть может, не во всем правдоподобен. Но сколько в нем колорита, непередаваемой атмосферы старой Москвы!

В Москве, правда, поговаривали и о другой причине отставки Арсеник-паши. Купцы приписывали себе в заслугу падение ненавистного им генерал-губернатора, более десяти лет наводившего на них страх и ужас. Якобы Закревский в привычной для него манере выгнал купцов из Манежа, где должен был состояться обед в честь военных, да еще и с участием молодого императора. Узнав об этом, Александр II и решил задвинуть Арсения Андреевича. Купцы расценили это как проявление защиты и заботы со стороны царя. Так это или нет, но в тот день, когда стало известно об отстранении Закревского от должности, во многих купеческих домах был праздник.

Истинной причиной отставки Закревского было другое, более глубокое обстоятельство. Граф давно уже пересидел свой срок. И суть была не в его возрасте, а во взглядах. Его Россия, которую он, несомненно, любил, отошла в прошлое вместе с императором Николаем I. Закревский должен был бы уйти в отставку году этак в 1855-м.

Граф не то что не хотел думать по-другому — он попросту не мог мыслить иначе. В этом его взгляды очень схожи с образом мыслей Ростопчина, не разделявшего самодержавие и крепостничество. Хотя Ростопчин все-таки был гражданским человеком по складу ума.

Приход к власти в 1855 году нового императора Александра II вызвал большие перемены в России. Закревскому они были не по душе. Противоречили его убеждениям либеральные послабления, предпринятые государем: амнистия декабристам и другим политическим заключенным, закрытие Высшего цензурного комитета, прекращение полицейского надзора над инакомыслящими, отмена телесных наказаний и пр.

Одно только слово «реформа» было для Закревского как красная тряпка для быка. А отмена крепостного права и вовсе казалась немыслимой. Он всячески сопротивлялся освобождению крестьян, ставил палки в колеса тем московским дворянам, кто по своей инициативе хотел бы отпустить на волю своих крепостных. А в это время в других губерниях империи, не в пример Москве, эти процессы уже активно шли.

Арсений Андреевич управлял Москвой как помещик своей усадьбой, кого хотел наказывал или миловал. Он сам себе был и суд, и прокурор. А потому так противился учреждению в Москве губернского комитета по крестьянскому делу. Это про него сообщалось в «Политическом обозрении» за 1858 год, подготовленном Третьим отделением для государя:

«Большая часть помещиков смотрит на это дело, как на несправедливое отнятие у них собственности и как на будущее их разорение… При таком взгляде… только настояние местного начальства и содействие немногих избранных помещиков побудили дворян литовских, а за ними С.-петербургских и нижегородских просить об учреждении губернских комитетов… Москва медлила подражать данному примеру; а прочие губернии ждали, что скажет древняя столица? У многих таилась и доселе еще таится мысль, что само правительство… может быть, ее отменит»[231].

Но правительство и государь ничего отменять не собирались. Александр II проявил по отношению к Закревскому удивительное долготерпение. В январе 1858 года он посылает в Москву свой рескрипт, которым указывает на необходимость в течение полугода закончить подготовку к проведению в губернии реформы по отмене крепостного права. Но воз и ныне там.

В августе того же года государь сам приезжает к Закревскому и держит речь перед дворянами: «Вы помните, когда я два года тому назад… говорил вам, что рано или поздно надобно приступить к изменению крепостного права и что надобно, чтобы оно началось лучше сверху, чем снизу. Я дал вам начала и от них никак не отступлю».

Однако московские помещики с большей охотой слушали не своего государя, а московского генерал-губернатора. Они вновь проигнорировали призыв Александра II и, собравшись в ноябре 1858 года на заседание комитета по крестьянскому делу, так и не решили вопрос с выкупом земли крестьянами. Закревский играл в этом пассивном сопротивлении, сравнимом с саботажем, первую скрипку. Странно, что он не был отправлен в отставку раньше 1859 года, когда репутация его как ретрограда и крепостника, давно проспавшего свою эпоху, стала незыблемой.

Реакция просвещенного населения на отставку московского генерал-губернатора была однозначной. Ее можно выразить словами Александра Герцена, вынесенными им в название статьи в «Колоколе»: «Прощайте, Арсений Андреевич!». Ненавистник Закревского, князь Меншиков выразился более грубо: «В день Георгия Победоносца всегда выгоняют скотину», дело в том, что день отставки графа совпал с этим церковным праздником.

На момент отставки графу было 75 лет — возраст солидный, но помехой для него не являвшийся. Кажется, что будь Арсений Андреевич посговорчивее, он просидел бы в генерал-губернаторском особняке еще какое-то время. Ведь заменили его графом Сергеем Григорьевичем Строгановым, который был ненамного младше — всего на 11 лет.

Отстранение от должности, теперь уже последней, Закревский перенес спокойно. Ведь до назначения в Москву он целых 17 лет вел жизнь отставника. Но если в 1831 году Закревский энергично занялся устройством семейных владений, то в этот раз никаких новых усилий предпринимать не стал — сил и здоровья уже не было. Граф стал все чаще болеть. Летом 1864 года он поехал на лечение за границу, на воды в Теплиц.

Затем он переехал в Италию, во Флоренцию, где жил в семье дочери. В начале 1865 года, 11 января, Закревский скоропостижно скончался. На родине решили, что его смертельно поразил отказ в аудиенции у цесаревича Николая Александровича, которому Закревский захотел выразить свое почтение. Великий князь, приехавший в Италию, не захотел видеть старого графа. Это так поразило последнего, что тот, не вынеся позора, вскоре скончался. Похоронили Закревского в имении Галочетто, недалеко от тосканского городка Прато.

В Москве Закревскому решили поставить памятник.

Однако даже после смерти бывшему генерал-губернатору многого не простили. Сохранились две эпиграммы неизвестного автора:

Позор и чести и уму,
Кому пришла охота
Поставить памятник тому,
Кто стоит эшафота.

И еще одна:

Куда тебя несет, нелепый генерал,
Зачем забрался ты на этот пьедестал?
Иль хочешь доказать, что ты не умирал?
Что век дубиной был, теперь болваном стал?

Подводя итог жизнеописанию Арсения Закревского, нельзя не признать, что он при всей его прямолинейности обладал известной харизмой, что привело к появлению народного

фольклора о генерал-губернаторе. И как только его не прикладывали: «И ракетою конгревской на уснувший город пал пресловутый граф Закревский», «Ты не молод и не глуп, и ты не без души» и т. п.

Наверное, ни один другой московский градоначальник не дал столько пищи для московских острословов, сочинявших про него всяческие забавные истории, якобы были, якобы небылицы. Знаменитая история с филипповской булкой, в которой генерал-губернатор нашел таракана, превратившегося затем в изюм, тоже имеет отношение к Закревскому. Ведь этим суровым градоначальником был Арсений Андреевич.

А вот эпизод, после которого за Закревским надолго закрепилось прозвище Варшавский: как-то вечером семья Закревских проезжала по Мясницкой, вдруг им навстречу выскочила толпа пьяных офицеров. Оказалось, что они только что побывали в «кофейном доме» под названием «Варшавский». Квартальному, который на вопрос графа, что это за дом такой, ответил при дамах: «Бордель, ваше сиятельство!» — Закревский дал пощечину.

Уже на следующий день заведение прикрыли, обстоятельства и причины закрытия быстро разошлись по Москве, а генерал-губернатора стали звать Варшавским. А Михаил Щепкин заметил по этому поводу: «Один раз сказал квартальный правду, да и тут поколотили!»

Недруги Закревского распространяли характеристику, якобы данную ему царем: «Это чурбан, способен только сидеть и писать»[232]. Но говорил ли так государь на самом деле — неизвестно. Те же, кто хотел в это верить, — верили.

Арсений Андреевич говорил трем царям то, что думал. Упрям был до невозможности. В этом же признавался и сам в 1823 году: «Льстить не умею, но всегда лишняя правда моя не нравится… я иначе не умею и обманывать не имею духу… Я своих правил ни для кого не переменю»[233].

Он твердо верил, что все, что он делает, — идет во благо Москве и России. Причина такой самоуверенности — в недостатке образования, полученного еще в молодости. Его можно отнести к той категории государственных деятелей, про которых говорят: «Хотел как лучше, а получилось, как всегда!»

Почти всем, кого он считал себе не ровней, говорил он «ты», а уж купцам и подавно, считая их проходимцами. Подчиненные его генерал-губернаторской канцелярии на резкость и грубость начальника не обижались. И даже, по-своему, любили. Одного подчиненного за его происхождение он в глаза называл «армяшкой», другого за его лысину — «плешандосом».

Любил Арсений Андреевич шутку. Однажды он увидел, как чиновник его канцелярии В. А. Фигнер в очередной раз рисует на него карикатуру, и проворчал: «Опять, поди, карикатуры рисуешь…» С ленивым интересом наблюдал он и за князем Абамалеком, изображавшим мимику и поведение своего сурового генерал-губернатора. А когда свободные от работы чиновники, собравшиеся в буфетной в его особняке на Тверской, чересчур шумели, веселясь и шутя, проходивший мимо Закревский стучал ногой в дверь, чтобы те приумолкли.

В то же время лишь близким друзьям Закревского (Ермолов, Киселев, братья Булгаковы, Воронцов) удавалось заметить в нем выдающиеся способности, безукоризненную честность, отзывчивое сердце и даже добрую душу. «Для успехов у него было нечто гораздо лучше высокого ума и чьей-либо протекции: в нем были осторожность, сметливость и какая-то искусная вкрадчивость, не допускающая подозрения в подлости», — отмечал Ф. Вигель.

В заслугу Закревскому можно поставить то, что, не имея знатного происхождения и высшего образования, он достиг довольно больших высот в карьере. Этим во многом он был обязан самому себе, не раз говорил он о своем «прямом пути» и о «чистоте своих намерений»[234].

Интересной представляется характеристика, данная Закревскому через полвека после его смерти: «Резкость и недоступность сближали его самого с этим ненавистным временщиком (Аракчеевым. — *А. В.),* и он мало кем был любим, хотя сам этого не замечал. В Москве, куда он явился уже на закате своих дней, Закревский уверял, что ему «нужно было быть суровым по виду», и был серьезно убежден, что править столицей надо только «патриархально», в ее духе, являясь защитником правых и грозой для всякого зла; однако, благодаря тяжелой опеке над обывателями, административному произволу и системе шпионства, для большинства Закревский являлся капризным и подозрительным деспотом, ставившим свою волю вне закона, притом еще доступным стороннему влиянию, начиная с легкомысленной его дочери и кончая его камердинером, знаменитым Матвеем».

Хочется закончить главу о Закревском словами его друга Дениса Давыдова: «Сердце твое русское, твердость английская, а аккуратность немецкая». Если бы к этим качествам добавить образованность Голицына и литературный дар Ростопчина — идеальный получился бы генерал-губернатор!

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ А. А. ЗАКРЕВСКОГО

1783, 13 сентября — в родовом селе Берниково Зубцовского уезда Тверской губернии родился Арсений Андреевич Закревский.

1795 — определен на учебу в Шкловский кадетский корпус, где ему предстояло получать образование в течение семи лет.

1802, 19 ноября — выпущен прапорщиком в Архангелогородский мушкетерский полк под командованием Н. М. Каменского.

1804, 5 августа — произведен в подпоручики.

1805, ноябрь — совершил первый боевой подвиг в сражении под Аустерлицем, спас командира от смерти; за проявленную храбрость удостоился ордена Святой Анны 3-й степени.

1806 — произведен в поручики, назначен полковым адъютантом при генерале Н. М. Каменском.

1807 — назначен бригадным адъютантом, отличился в битве под Прейсиш-Эйлау.

1808 — участвует в русско-шведской войне, произведен в штабс-капитаны, затем в капитаны.

1810 — участник Русско-турецкой войны, при штурме Рущука ранен, награжден орденом Святого Георгия 4-го класса, произведен в майоры.

1811 — после неожиданной смерти своего покровителя и командира Каменского переведен в Санкт-Петербург, назначен адъютантом к военному министру М. Б. Барклаю де Толли.

1812 — произведен в подполковники, затем в полковники, назначен директором Особенной канцелярии военного министра, отвечавшей за военную разведку и контрразведку. Отрицательно отнесся к назначению М. И. Кутузова на должность главнокомандующего. Участник Бородинского сражения.

1813–1814 — находился в Заграничном походе русской армии в качестве флигель-адъютанта Е. И. В., участник взятия Парижа.

1815–1823 — дежурный генерал Главного штаба Е. И. В., во главе инспекторского и аудиторского департамента, а также военной типографии. Примкнул к так называемой «русской партии», боровшейся с другой придворной группировкой (Аракчеев и др.) за влияние на государя. Генерал-лейтенант (с 1821 года).

1823, 30 августа — удален от двора, с подачи взявшего верх

Аракчеева государь назначил Закревского генерал-губернатором Великого княжества Финляндского и командиром Отдельного Финляндского корпуса.

1828, 19 апреля — назначен министром внутренних дел Российской империи.

1829, 21 апреля — получил чин генерала от инфантерии.

1830, 2 августа — возведен в графское достоинство Великого княжества Финляндского, в «знак монаршего благоволения тем с большим удовольствием, что оный согласуется с желанием, изъявленным финляндским Сенатом».

1831, 19 ноября — после безуспешной борьбы с эпидемией холеры отправлен в отставку со всех постов, до 1848 года занимался (в том числе) устройством богатых имений своей супруги, Аграфены Закревской.

1848, 6 мая — назначен военным генерал-губернатором Москвы и генерал-адъютантом, а также членом Государственного совета (с 3 ноября). Считал своей главной задачей поддержание в Москве строгого порядка и дисциплины. Запомнился москвичам как «деспот», «самодур», «Арсеник I», «Чурбан-паша» и т. п.

1849 — награжден орденом Святого Андрея Первозванного.

1859, 16 апреля — отправлен в отставку по состоянию здоровья, впоследствии выехал на Запад на лечение.

1865, 11 января — скончался во Флоренции, похоронен в местечке Галочетто, недалеко от тосканского городка Прато.

БИБЛИОГРАФИЯ

Автографы Императорской Публичной библиотеки. 1872. Вып. 1. *Балязин В. Н.* Московские градоначальники. М., 1997.

Бородкин М. М. История Финляндии: Время императора Александра I. СПб., 1909.

Братья Булгаковы: Письма. Т. 3. М., 2010.

Бумаги графа Арсения Андреевича Закревского. Т. II // Сборник Русского исторического общества. 1891. Т. 78.

Васькин А. А. Чемодан — вокзал — Москва. Чего мы не знаем о девяти московских вокзалах? М., 2010.

Вишняков Н. П. «Сведения о купеческом роде Вишняковых». М., 1903–1911.

Гоголь Н. В. Полное собрание сочинений: [В 14 т.]. [М.; Л.]: Изд-во АН СССР, [1937–1952]. Т. 10. 1940. Письма, 1820–1835. С. 382.

Долгоруков П. В. Петербургские очерки. Памфлеты эмигранта. 1860–1867. М., 1992.

Друцкий-Соколинский Д. В. Биографическая заметка о жизни графа Арсения Андреевича Закревского… // Сборник РИО. Т. 73. СПб., 1890. С. VIII.

Ключевский В. О. Русская история. М., 2006.

Московский архив: Альманах. Вып. 2. М., 2001.

Московские легенды, записанные Евгением Барановым. М., 1993.

Найденов Н. Воспоминания о виденном, слышанном и испытанном. М., 1903. Т. 1.

Российский архив: История Отечества в свидетельствах и документах XVIII–XX вв.: Альманах. М.: Российский архив, 2003. Т. XII.

Русские портреты XVIII и XIX столетий. СПб., 1905–1909.

Фигнер А. В. Воспоминания о графе А. А. Закревском // Исторический вестник. 1885. Т. 20. № 6. С. 664.

Иерейский Л. А. Пушкин и его окружение. Л., 1989.

Энциклопедический словарь Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона. СПб.: Брокгауз — Ефрон, 1890–1907.

ВЛАДИМИР ДОЛГОРУКОВ: ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН МОСКВЫ

Его называли «князюшкой», «московским красным солнышком».

Князь Владимир Андреевич Долгоруков — единственный московский генерал-губернатор, удостоенный чести быть почетным гражданином Москвы. Случилось это знаменательное событие в 1875 году, через десять лет после назначения Долгорукова московским градоначальником. А всего он управлял Москвой четверть века — с 1865 по 1890 год, больше таких примеров Москва пока не знает. В чем же состоит значительность всего сделанного Долгоруковым для Москвы и что это был за человек?

Происхождения он был самого наизнатнейшего. Долгоруков относится к тем историческим персонажам, которые с полным основанием могли бы про себя сказать: «Рюриковичи мы!» По мужской линии род его ведется от самого Рюрика, а также святого князя Владимира и князя Михаила Черниговского. Достаточно посмотреть на княжеский герб Долгоруковых, чтобы убедиться в том, что представители этого славного рода на протяжении столетий были опорой и защитой России. Недаром есть на этом гербе и черный двуглавый орел с золотым венцом на голове (герб Черниговского княжества), и ангел с серебряным мечом с золотым щитом в руках (герб Киевского княжества).

В роду Долгоруковых было семь бояр, пять окольничих, восемнадцать воевод, генерал-фельдмаршал, не говоря уже о генералах. Значились среди представителей рода и генерал-губернаторы Москвы. Это Василий Михайлович Долгоруков-Крымский (он управлял Москвой при Екатерине II) и Юрий Владимирович Долгоруков, московский градоначальник в павловское царствование. Для нас важно и то, что Владимир Андреевич Долгоруков — дальний потомок основателя Москвы Юрия Долгорукого, на личной печати которого был изображен Георгий Победоносец, ставший ангелом-хранителем древней русской столицы. Неслучайно сегодня мы видим этого святого на гербе Москвы.

Родоначальником всех Долгоруковых считается князь Иван Андреевич Оболенский, живший в первой половине XV века и прозванный Долгоруким. Его четыре внука стали основателями

четырех ветвей рода. Наш герой относится к пятой линии третьей ветви Долгоруковых.

Родился В. А. Долгоруков 3 июля 1810 года в Москве. У его родителей — статского советника Андрея Николаевича Долгорукова и Елизаветы Николаевны Салтыковой было десять детей: шесть сыновей и четыре дочери. Владимир стал седьмым и самым младшим сыном.

Получив домашнее образование, в 1827 году Владимир Долгоруков поступил в Школу гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров в Санкт-Петербурге. Будущие офицеры по окончании двухгодичного курса обучения получали прекрасный и так необходимый для дальнейшей службы багаж знаний. Их учили не только военному делу, преподавали в школе и географию, историю, математику.

14 апреля 1829 года Долгорукова произвели в корнеты, а вскоре ему суждено было применить полученные в школе военные познания на поле боя. Молодого офицера отправили в поход на подавление Польского восстания 1830–1831 годов. Отличившись в сражении под Жолтками, Долгоруков был откомандирован в ординарцы к генерал-адъютанту Нейдгардту.

25—26 августа 1831 года Владимир Долгоруков в составе лейб-гвардейского кавалерийского полка из отряда великого князя Михаила Павловича участвовал в штурме Варшавы. По итогам польского похода Долгоруков собрал урожай наград: польский знак отличия за военное достоинство 4-й степени, серебряную медаль за взятие Варшавы и, наконец, орден Святой Анны 3-й степени с бантом «в воздаяние отличного мужества и храбрости, оказанных при штурме варшавских укреплений»[235].

Долгорукова заметили — и 28 января 1833 года, произведя в поручики, его назначили адъютантом военного министра А. И. Чернышева с оставлением в своем полку. В течение почти что трех лет ему предстояло заниматься вопросами, требующими знаний скорее в хозяйственной сфере, чем в военной. Долгоруков выезжает в командировки с целью проведения ревизий различных гарнизонов и военных частей министерства. Он знакомится со многими новыми для него понятиями в экономической и правовой областях. Опыт, полученный им в этот период, в дальнейшем очень пригодится ему в управлении Москвой.

Хорошим ли ревизором был Владимир Долгоруков? Ответ на этот вопрос дают награды, им полученные, — орден Святого Станислава 4-й степени в 1834 году и орден Святого Владимира 4-й степени в 1836 году В мае того же года Долгоруков вновь отправляется в поход, теперь уже против восставших горцев. В составе отряда генерал-лейтенанта А. А. Вельяминова он

участвует в военной экспедиции за реку Кубань. За отличие и храбрость в сражениях Долгорукову присваивают внеочередное воинское звание штабс-ротмистра.

Вскоре после возвращения с Кавказа Долгорукова по высочайшему повелению отправляют в новую командировку, на этот раз за границу — в Мюнхен. Ему доверяется почетная миссия: продемонстрировать королю Баварии Людвигу I образцы русского оружия, как огнестрельного, так и холодного. Король, видимо, остался доволен как русским оружием, так и самим Долгоруковым, а потому наградил молодого офицера орденом Баварской короны.

В последующие годы род занятий Долгорукова все больше переходит из сугубо военной плоскости в экономическую. В марте 1841 года его производят в ротмистры и отправляют в командировку в ряд крупнейших губерний для сбора информации об урожаях и осмотра интендантских учреждений. Князь побывал в Тамбовской, Пензенской, Симбирской, Казанской, Нижегородской и Ярославской губерниях. В этих многочисленных поездках Долгоруков набирается необходимого ему опыта, который пригодится в будущей работе в Военном ведомстве.

Спокойно и постепенно развивается карьера Владимира Андреевича. В декабре 1844 года за отличие по службе его производят в полковники с назначением для особых поручений к военному министру. Особое поручение Долгоруков выполняет уже в следующем году — его отправляют в Казань и назначают во временную комиссию для проведения торгов на поставку 170 тысяч кулей муки и 17 тысяч четвертей овса для «санкт-петербургских и попутных магазинов» на 1846 год[236].

Растет авторитет полковника в глазах императора. Долгоруков воспринимается как весьма умелый администратор и компетентный организатор в интендантском деле, а главное — честный человек. В январе 1847 года ему доверяют должность вице-директора Провиантского департамента Военного министерства, а через несколько месяцев, в апреле, Долгоруков пожалован во флигель-адъютанты к Его Императорскому Величеству.

Довольно скоро, уже в следующем, 1848 году Долгорукову присваивают чин генерал-майора свиты Е. И. В. и назначают на одну из высших воинских должностей в Российской императорской армии — генерал-провиантмейстера, главой Провиантского департамента, отвечавшего за обеспечение войск продовольствием и фуражом. В этой должности ему предстояло прослужить до 1865 года. Владимир Андреевич Долгоруков за те годы, что руководил работой департамента, значительно повысил

его эффективность. Большое внимание он уделял контролю за созданием и расходованием запасов продовольствия и фуража. Ведь не секрет, что армейские поставки нередко служили источником различных злоупотреблений и хищений для тех, кто снабжал войска хлебом, сахаром, мясом. Необходимо было следить и за соблюдением годности продуктов, которыми кормили солдат. В конце концов, от этого зависели и военные успехи. Так что должность у Долгорукова была стратегическая.

Вскоре после назначения на должность генерал-провиантмейстера Долгоруков приступил к решению насущной задачи — снабжению провиантом и фуражом русской армии, отправившейся в очередной поход, на этот раз в Венгерское королевство, где в 1848 году произошла демократическая революция. Войска генерал-фельдмаршала И. Ф. Паскевича вместе с союзной армией Австрийской империи успешно справились с поставленной задачей.

Император Николай I высоко оценил заслуги Долгорукова. 11 апреля 1848 года «в награду постоянно ревностной службы и оказываемой по исполнению многотрудных обязанностей неутомимой деятельности»[237] он пожаловал князю бриллиантовый перстень со своим императорским вензелем. А 6 октября 1849 года мундир князя украсил орден Святого Станислава 1-й степени.

И наконец, 8 апреля 1851 года Долгорукова наградили орденом Святой Анны 1-й степени «в награду ревностного служения деятельности и благоразумных распоряжений по всем предметам введенного ему обширного управления, а также неусыпной заботливости его о соблюдении выгод казны с пользою для государственной хлебной промышленности»[238]. Столь витиевато изложенная причина награждения князя свидетельствует о том, что орден Святой Анны по своему статуту присуждался «в награду подвигов, совершаемых на поприще государственной службы». А за беспорочную 25-летнюю службу в офицерских чинах Долгоруков получил еще и орден Святого Георгия 4-й степени (за выслугу лет этим орденом награждали до 1855 года и лишь затем его стали вручать «за особенное мужество и храбрость»).

Несмотря на неблагоприятное для России течение и окончание Крымской войны 1853–1856 годов, усилия Долгорукова в деле подготовки его департамента к этой войне были признаны Николаем I вполне соответствовавшими требованиям военного времени, за что князю было изъявлено особое монаршее благоволение. Император отметил четкость работы и в снабжении войск, и в вооружении, и в формировании

резервов, входивших в компетенцию Долгорукова. Кстати, военным министром в эти годы был один из его старших братьев — Василий Андреевич Долгоруков (1804–1868).

Новый император Александр II также выказал Долгорукову свое благоволение. 17 апреля 1855 года он повысил его до генерал-адъютанта, а в ноябре того же года в память пребывания князя в свите покойного императора даровал ему серебряную медаль. А 15 апреля 1856 года государь за усердную службу Долгорукова наградил его бриллиантовой табакеркой с собственным портретом.

26 августа следующего года император назначает Долгорукова членом военного совета, а 17 апреля 1857 года «за отлично-ревностное служение во время управления провиантским департаментом и за существенную пользу, приносимую при разрешении важных вопросов, на обсуждение военного совета вносимых» князь был пожалован орденом Белого орла. 30 августа государь повышает его в чине до генерал-лейтенанта. Последней наградой Долгорукова за интендантскую службу стал орден Святого Александра Невского, который он получил 19 апреля 1864 года.

30 августа 1865 года Александр II назначил Владимира Андреевича Долгорукова генерал-губернатором Москвы. Князь пришел на место генерала от инфантерии Михаила Александровича Офросимова, руководившего Москвой чуть более года. Отставку Офросимова связывали с тем, что он якобы вольно или невольно покровительствовал московской дворянской фронде, которая, как мы знаем из прошлых глав, зачастую смела иметь свое особое мнение по важнейшим политическим вопросам. В данном случае императору не понравилось слишком активное «продавливание» московскими дворянами вопроса о необходимости для России конституции.

Таким образом, новый генерал-губернатор Долгоруков, щедро осыпанный царскими милостями, явился в Москву как человек из Северной столицы. Но было бы неверно думать, что князь должен был сосредоточиться на решении исключительно хозяйственных вопросов. В это время в Российской империи шла Земская реформа — очень значительный шаг на пути к демократизации жизни общества, введению самоуправления на муниципальном уровне. Дело было новое и для властей, и для народа.

Император надеялся, что Долгоруков сможет с большей эффективностью реализовать все пункты Положения о губернских и уездных земских учреждениях, утвержденного 1 января 1864 года, чем его столичный коллега граф Н. В. Левашов, который не

нашел общего языка со столичными земцами, итогом чего стало закрытие земского собрания в столице «за возбуждение недоверия к правительству». За тем, как будет проведена Земская реформа в Москве, внимательно следила и вся дворянская Россия, уже пережившая отмену крепостного права и ожидавшая новых перемен от царя-реформатора.

Владимир Андреевич не заставил москвичей долго ждать и явился в Первопрестольную уже через неделю после назначения — 9 сентября 1865 года. Но поскольку к приезду нового хозяина особняк на Тверской улице отделывали заново, несколько дней в новой должности князь прожил в гостинице Шевалье в Камергерском переулке (в этой гостинице, например, не раз останавливался Лев Толстой).

А уже 12 сентября состоялся большой прием всей московской верхушки в особняке генерал-губернатора на Тверской. Долгоруков познакомился с представителями городских сословий, чиновниками своей канцелярии и московских учреждений, а также офицерами Московского военного округа. Все участники встречи остались довольны друг другом. Назначение нового градоначальника основной частью московской общественности было встречено положительно.

Между тем генерал-губернаторство Долгорукова началось не с приема, а с открытия московского земского собрания 3 октября 1865 года. Историческое событие состоялось в Благородном собрании. Градоначальник обратился к земцам со следующими словами: «Дарованные вам Всемилостивейшим Государем права и доверие сословий, избравших вас своими представителями, налагают на вас важные обязанности и заботы. Оправдать вашими действиями доверие Монарха и всех сословий — вот прекрасная цель, вот дорогая для вас награда, которая предстоит вам»[239].

Среди собравшихся в тот день послушать генерал-губернатора земцев были в основном представители богатых сословий — крупные землевладельцы-дворяне, купцы, фабриканты, владельцы московской недвижимости, а также сельские старосты и зажиточные крестьяне-кулаки. Долгоруков не пытался давить на земцев, уже то, что после открытия собрания он уехал, произвело большое впечатление на оставшихся, расценивших это как проявление доверия градоначальника. Так было на протяжении всего периода градоначальства князя. Долгоруков понимал, что Россия уже давно созрела для введения земского самоуправления, и потому всячески способствовал его работе.

Хотя земство и не входило в систему органов государственного управления, к его компетенции относился

огромный круг вопросов местного значения: попечительство над школами и больницами, организация почтового дела, содержание тюрем, устройство и ремонт почтовых трактов и дорог, ведение статистики и пр. Например, благодаря земству в Московской губернии появились одни из первых учительских семинарий — учебных заведений для подготовки учителей начальных школ. Долгоруков как градоначальник утверждал постановления о земских сметах на расходы, разделении дорог на губернские и уездные, проведении местных выставок и многое другое.

Следующей реформой, с успехом осуществленной Долгоруковым в Москве, стали преобразования в области городского самоуправления, начало которому было положено еще в 1785 году после принятия «Жалованной грамоты городам».

Основными этапами создания системы органов городского самоуправления являются три городских устава Москвы: Положение об общественном управлении Москвы от 20 марта 1862 года (разработанное по образцу действовавшего в Петербурге Положения 1846 года), Городовое положение от 16 июня 1870 года и аналогичное Положение от 11 июля 1892 года. Таким образом, московское городское самоуправление сложилось именно под влиянием Долгорукова и при его непосредственном участии, основанном на искреннем желании видеть Москву современным европейским городом, удобным для жизни ее обитателей.

Московская городская дума работала с 1863 года и при Долгорукове стала вполне самостоятельной и получила ощутимые права для управления московским хозяйством. Формировалась дума по сословному принципу, уравнивая представителей всех сословий требованием равного имущественного ценза. К управлению Москвой пришли как представители научной общественности (профессора Московского университета В. И. Герье, С. А. Муромцев), так и делегаты от деловых кругов (С. Т Морозов, С. И. Мамонтов, братья Бахрушины).

Неслучайно, что именно на долгоруковское время приходится бурный расцвет развития Москвы как экономического и промышленного центра Российской империи. Это результат слаженного сотрудничества генерал-губернатора с Московской городской думой, в которой были представлены лучшие деловые люди Москвы, не раз отмечавшие конструктивный подход князя Долгорукова к решению самых разных вопросов городской жизни.

Уже через пять лет после назначения Владимира Андреевича в Москву, в 1870 году был принят городской устав, согласно которому создавалась всесословная дума, объединившая гласных

разной сословной принадлежности по имущественному признаку. Право стать избирателями имели только плательщики налогов. Это делалось в целях сложения частных интересов ради достижения одной, но главной цели — процветания Москвы.

Как и все учреждения губернии, органы городского самоуправления подчинялись генерал-губернатору и губернатору. Для надзора за их деятельностью было создано Губернское по городским делам присутствие, состоявшее из семи членов: губернатора, вице-губернатора, председателя Казенной палаты, губернского прокурора, городского головы, председателя Губернской земской управы и председателя мирового съезда[240].

Дума как распорядительный орган занималась вопросами городского хозяйства, благоустройства, народного образования, призрения бедных, развития местной промышленности, выделения средств на расходы общегосударственного значения (содержание полиции, пожарных команд, тюрем и других учреждений). А городская управа представляла исполнительную власть. Возглавлял же эти две ветви власти городской голова. Избирательная система базировалась на принципе: кто платит, тот и получает избирательное право. А потому избиратели делились на три курии: крупные, средние и мелкие плательщики, каждая из которых выбирала по 60 своих представителей — гласных. Гласные, в свою очередь, принимали участие в назначении членов городской управы. Губернатор и члены губернского правления в выборах участия не принимали. Важно отметить, что члены городского управления не считались государственными служащими[241]. Первые выборы гласных городской думы по новому уставу прошли в декабре 1872 года.

Между Долгоруковым и думой был следующий порядок отношений: дума в рамках своей компетенции издавала постановления, обязательные для всех москвичей (аналогичным правом обладал и московский генерал-губернатор). Затем проект постановления поступал на согласование московскому обер-полицмейстеру, который считался правой рукой генерал-губернатора. И лишь потом, в случае достижения согласия между всеми заинтересованными сторонами, текст постановления поступал к Долгорукову, который распоряжался о публикации его в «Ведомостях московской городской полиции». В силу постановление вступало по истечении двух недель после публикации.

Еще одним значимым событием в создании властной вертикали Москвы стало утверждение Положения о московской городской полиции 1881 года, изменившее административно-территориальное деление и систему полицейского управления

города.

Порядок в городе целиком и полностью зависел от генерал-Тубернатора, в подчинении которого находилась полиция. А если в самой полиции беспорядок, то как же она может бороться сама с собой? Долгоруков обратил свое внимание на искоренение взяточничества и мздоимства среди стражей порядка. Особенно распустились младшие чины. Частные приставы и городовые смотрели на всё сквозь пальцы, квартальные спали на посту, ночных обходов не делали.

Ведь по большей части в полиции оставались кадры, набранные туда еще при крепостном праве. А потому и методы их работы носили отпечаток старого, уже давно отжившего времени. «Полиции на улицах было немного… Внешним уличным порядком она мало занималась. Зато внутренний порядок был всецело в руках полиции, пред которой обыватель — ремесленник, мещанин, торговец и купец… — беспрекословно преклонялся». Тяжело было переделать полицейских чиновников, привыкших еще с дореформенных времен к такой работе: «Запьянствовавшие или иным способом провинившиеся кучера, повара и лакеи из крепостных отсылались их господами при записке в полицию, и там их секли»[242]. Многих нерадивых чиновников из полиции уволили, набрали новых. Подтянули дисциплину.

Распоясались и извозчики — ездили в рваных зипунах и на сломанных экипажах, как бог на душу положит, а не по правой стороне. За лошадьми не смотрели. А как вели они себя с пассажирами — в бойких местах, особенно на вокзалах, собирались кучками, бросая свои транспортные средства (нередко посреди мостовых), и как только показывался желающий ехать, бросались на него, чуть ли не разрывая на части. И каждый спешил оттянуть пассажира к себе.

Этих приструнили быстро — за рваный зипун ввели штраф один рубль, за сломанный экипаж — еще три рубля и т. д. Строго спрашивали за нарушение правил движения по московским дорогам.

А что уж говорить о московских обывателях — вместо того, чтобы вывозить нечистоты и мусор, закапывали отходы жизнедеятельности прямо во дворе, значительно ухудшая санитарно-эпидемиологическую обстановку. Здесь тремя рублями не обошлось, самый большой штраф установили в 500 рублей, а крайняя мера для тех, кто не понял, была определена в три месяца ареста.

Что творилось на мостовых, особенно в некотором отдалении от центральных улиц и площадей! Пешеходы буквально утопали в

грязи. Особенно плохо было дело весной и осенью. Навоза на улицах было столько, что прохожие нередко оставляли в нем свои галоши, еле успевая вытащить ноги. Иной раз нанимали извозчика, чтобы переправиться на другую сторону улицы. А уж московские лужи и вовсе стали притчей во языцех. Тут уж без сходней было никак не обойтись…

Неудивительно, что при таких антисанитарных условиях смертность в Москве к середине 1860-х годов достигала 33 человека на тысячу жителей — цифра убийственная для большого города. Высокие показатели общей и детской смертности во многом были вызваны дефицитом больничных коек и родильных домов в Москве (в 1861 году более 95 процентов родов в городе происходили на дому). А этот дефицит, в свою очередь, осложнялся неуклонным ростом работоспособного населения, требуя совершенно иного подхода к организации городского здравоохранения.

Ощущалась и насущная необходимость улучшения условий жизни рабочих, проживавших в скученности и грязи, что служило причиной эпидемических вспышек холеры, тифа, дизентерии. Пропасть между «дорогим врачеванием богатых и дешевым лечением бедных» в Москве, по оценке «Московского врачебного журнала», не отличала ее от «крупнейших и культурнейших столиц Европы»[243].

В 1866 году на общественных началах был создан Московский комитет охранения народного здравия, пришедший к неутешительному выводу, что все московские больницы не могут вместить больных эпидемиологическими заболеваниями. И потому одновременно с наведением чистоты в городе Долгоруков больше внимание уделил развитию медицины и увеличению числа больниц в Москве.

При Долгорукове в разных районах открылись новые больницы: на Большой Калужской улице — Щербатовская и Медведниковская, 1-я городская детская больница в Сокольниках, Софийская на Садовой-Кудринской и Бахрушинская на Стромынке (это были больницы для бедных). А Басманная, Мясницкая и Яузская больницы лечили чернорабочих за счет средств Московской городской думы. В итоге почти за четверть века с 1866 по 1889 год число москвичей, получивших медицинскую помощь, увеличилось в семь раз — с 6 до 42 тысяч человек[244]. Хотя в условиях увеличивающейся численности городского населения и этого было уже мало.

В 1865 году на Арбате открылась амбулатория, бесплатно лечившая московскую бедноту. Ежегодно эту лечебницу посещали до двадцати пяти тысяч человек.

И вновь основным подспорьем в решении медицинских проблем Москвы явились меценаты (начиная с 1868 года в общей сложности на строительство и нужды московских больниц было пожертвовано более шести миллионов рублей), без которых вряд ли были бы построены клиники медицинского факультета Московского университета на Девичьем поле, связанные с именами Н. В. Склифосовского, В. Ф. Снегирева и Ф. Ф. Эрисмана. Эти клиники считались лучшими в Европе.

Подвижническая деятельность университетских профессоров способствовала развитию здравоохранения города, благодаря чему вторую половину XIX века назвали «золотым веком русской медицины». При медицинском факультете Московского университета в числе первых в Европе были созданы научно-исследовательские институты: гигиенический с санитарной станцией (1890 году), патолого-анатомический (1891 году), бактериологический и др. В Москве открылось 12 родильных домов[245].

С расширением числа аптек в городе, открываемых не без ведома Долгорукова, возникала и потребность в контроле за лекарствами. Лишь после проверки лечебных свойств медицинских препаратов соответствующим факультетом Московского университета разрешалось публиковать в газетах объявления о продаже того или иного препарата.

Как и в современной Москве, в то время не менее актуальной была проблема некачественных продуктов питания. По указанию Долгорукова при медицинском факультете Московского университета была создана специальная бактериологическая станция для контроля качества продуктов. Учредили и комиссии по надзору за процессом производства.

А как попадали на столы к москвичам продукты питания? Конечно, через розничную торговлю. Приняв на себя управление Москвой, большое внимание Долгоруков уделил наведению порядка в московской торговле. На Тверской улице, Кузнецком Мосту, Петровке и Неглинной видавшие виды деревянные лавки постепенно уступали место современным магазинам и пассажам, своим внешним видом конкурировавшим с лучшими европейскими образцами.

В 1886 году сломали старый и ветхий Гостиный Двор. На его месте началось строительство Верхних торговых рядов, известных ныне как ГУМ. Как вспоминал купец Иван Слонов, несмотря на внешнее изящество и красоту для торговли Верхние торговые ряды оказались мало приспособлены: «магазины в первом этаже вышли с низкими потолками и сжатые со всех сторон колоссальными каменными столбами, в магазинах мало воздуха и

света и еще меньше удобства. Зато магазины во втором этаже, где покупателей никогда не бывает, сделаны вышиной двенадцать аршин. Покупатели во второй этаж не ходят, потому что винтовые чугунные лестницы внутри магазинов настолько узки и неудобны, что по ним не каждый может ходить».

Купцы, что имели лавки в старом Гостином Дворе, никак не хотели освобождать насиженные места. Тогда им предложили переехать во временные железные балаганы у кремлевских стен на Красной площади. Но они всё откладывали переезд. Тогда с разрешения Долгорукова в один прекрасный день полиция явилась в Гостиный Двор и перекрыла все выходы, дабы прекратить торговлю. Двери и проходы между рядами были немедля заколочены. Купцы бросились было к градоначальнику — да куда там!.. Им вежливо объяснили, что предупреждения делались не один раз.

Принятые меры позволили за сутки переселить купцов из сносимого Гостиного Двора. Правда, случилось и трагическое событие: так, купец Солодовников, признав себя разоренным вследствие переезда, покончил с собой прямо в Архангельском соборе.

Долгоруков осознавал, что развитие Москвы как крупного финансово-промышленного центра России немыслимо без создания новых путей сообщения не только с российскими территориями, но и с Западом. Кипучее развитие экономики России, рост промышленности не только в центре страны, но и в отдаленных от столиц губерниях заставили Долгорукова приложить максимальные усилия для приумножения возможностей Москвы как крупнейшего транспортного узла. Потенциал Москвы как связующего звена между российской глубинкой и Западом должен был существенно увеличиться.

Важнейшим событием в этом направлении стало строительство Смоленского вокзала, известного нам сегодня как Белорусский. Это был вокзал Московско-Смоленской дороги, поскольку поначалу проходила она до Смоленска. Строительству вокзала предшествовала прокладка железнодорожных путей. Изыскания местности для прокладки пути «Государь Император дозволил Смоленскому земству провести на свой счет»[246]. Смоленские промышленники, заинтересованные в соединении с Москвой, охотно давали деньги на будущую железную дорогу, москвичи тоже понимали ее выгодность.

В апреле 1867 года Московская городская дума приняла решение уступить железной дороге «бесплатно участки городской пустопорожней земли, которые ей могут понадобиться под Московскую станцию и под самую дорогу, как в черте города, так

и вообще в городских владениях…». 23 апреля 1868 года император Александр II разрешил «приступить к работам по предполагаемой железной дороге от Смоленска до Москвы и утвердить в общем виде направление этой дороги».

Прокладка железнодорожных путей началась от Тверской Заставы Москвы. Местность эта была вполне выгодной во многих отношениях. Расположение вокзала именно здесь позволяло проложить от новой дороги до Николаевской железной дороги соединительную ветку. К тому же этот выбор был продиктован и экономическими соображениями: большая часть земель, предназначаемых под станцию и пути, не приносила городу никакого дохода, так что издержки города на отчуждение частных земель и снос построек составили всего-навсего 50 тысяч рублей.

Единственными, кто пострадал от нововведения, стали коннозаводчики. Дело в том, что новая железная дорога проходила через ипподром. Коннозаводчики обратились к Долгорукову, рассчитывая, что он как президент «Императорского Московского Скакового общества» сможет оказать содействие, «дабы линию означенной дороги отклонить от ипподромов, насколько окажется возможным». Но князь решил, что государственные интересы выше частных, оставив просьбу коннозаводчиков без внимания.

Строительство вокзала началось в апреле 1869 года. Ответственным за возведение зданий и всех построек, согласно контракту, был крупный предприниматель, владелец кирпичных заводов статский советник Немчинов (сегодня о нем напоминает название станции Немчиновка, устроенной по просьбе братьев Немчиновых, основавших в пригороде Москвы дачный поселок).

Однопутная Московско-Смоленская железная дорога строилась одновременно из Смоленска и из Москвы. 9 августа 1870 года от Смоленска до Гжатска (ныне город Гагарин) прошли первые составы. На московском участке путь до станции Бородино был уже готов, и рельсы спешно укладывались до Гжатска: 25 августа ожидалась комиссия по приемке линии. На дорогу стал поступать подвижной состав, заказанный в Европе.

К сроку готов был и Смоленский вокзал, двухэтажный, из красного кирпича, покрытого штукатуркой. Если сравнивать здание вокзала с современными его аналогами, то, конечно, примечательным его не назовешь, но для того времени это было новым словом в архитектуре.

Торжественное открытие Московско-Смоленской железной дороги состоялось 19 сентября 1870 года. О новом вокзале московская пресса писала: «Станция представляет собой довольно красивое здание. С открытием движения по Смоленской дороге

вся местность, прилегающая к Тверской заставе и четырем Ямским улицам, сильно оживится: уже теперь цены на дома и пустопорожние земли здесь возвысились довольно значительно».

Новая дорога с начала эксплуатации принадлежала акционерному обществу Московско-Брестской железной дороги (образовано при слиянии Московско-Смоленской и Смоленско-Брестской железных дорог), а в 1896 году была выкуплена казной и находилась в ведении МПС.

С увеличением протяженности железной дороги на запад Российской империи число городов, до которых можно было по ней доехать, непрерывно росло. Когда дорога дошла до Бреста, вокзал стал называться соответственно — Брестский. Именно так он стал именоваться в московских путеводителях с ноября 1871 года. Железная дорога Москва — Брест стала самой протяженной в России — 1100 километров!

В дальнейшем, уже после смерти Долгорукова, в 1896 году в связи с предстоящей коронацией Николая II архитектору Л. Кекушеву было поручено срочно построить для встречи царской семьи на Брестском вокзале Императорский павильон. До нашего времени он не сохранился. В настоящее время на этом месте находится вестибюль станции метро «Белорусская-радиальная». В феврале 1912 года состоялось открытие нового здания вокзала.

Немногие знают сегодня, что при Долгорукове в Москве строился еще один вокзал — Нижегородский, который стоял за Покровской Заставой (ныне Абельмановская Застава). Фотографии здания Нижегородского вокзала не сохранились, но, судя по документам, оно было небольшим, деревянным. Это был единственный из московских вокзалов, который расположился за городской чертой, за Камер-Коллежским валом. Этот вал с начала XIX века был официальной городской чертой, отделявшей Москву от уезда.

Место для вокзала было выбрано не случайно: во-первых, земли здесь стоили дешевле; во-вторых, уездное земство меньше, чем город, облагало земли и предприятия налогами; в-третьих, оно меньше обременяло заводчиков, предпринимателей обязательными постановлениями по части санитарии и охраны труда.

Положение Нижегородского вокзала с самого начала было нестабильным — в документах вокзал долгие годы именовался временным. Его учредители пытались добиться от властей выделения места ближе к центру города. На постройку временного вокзала выделяли очень небольшие средства. Вместе с тем с началом движения уже в 1865 году появилась

необходимость расширения этого скромного вокзала, пришлось его даже увеличивать двумя пристройками.

А тем временем росла протяженность железной дороги Курского направления. Открылась в ноябре 1866 года дорога до Серпухова, затем она потянулась дальше — к Туле, Орлу, Курску. Рассматривались разные варианты более удобного расположения Нижегородского вокзала. В частности, предлагался вариант объединить его с Николаевским, проложив ветку от Николаевской дороги — через пути Ярославской — до станции Кусково и далее уже прямо на Нижний Новгород. Но у частного владельца дороги, коим было Главное общество российских железных дорог, средств недоставало, и Государственный совет предложил МПС России отложить нужды Нижегородской «до времени».

Окончательно же проблема с Нижегородским вокзалом была решена следующим образом: после выкупа этой и ряда других дорог царским правительством в казну Нижегородский вокзал решено было убрать с прежнего места и объединить его с Курским, новым вокзалом, что уже строился на Садовом кольце. С 1 января 1894 года начала действовать «Московско-Курская, Нижегородская и Муромская железная дорога», она-то и вела к Курскому вокзалу.

С 1870 года с Северного вокзала столицы можно было доехать на поезде уже до Ярославля, затем дорога пролегла и до Архангельска. Теперь этот вокзал мы знаем как Ярославский.

Модернизация транспортной инфраструктуры Москвы была бы невозможной без внедрения новых видов городского транспорта. Но как быть с давно устаревшими средствами передвижения — кабриолетами, или, как называли их в народе, «калибрами», появившимися в Москве еще при генерал-губернаторе Дмитрии Голицыне?

Владимир Андреевич предпринял такой ход: с владельцев московских фабрик взяли подписку, что они не будут более делать новые кабриолеты и чинить старые. Подписка оказалась весьма действенной. Уже через три года ни одного кабриолета в Москве не осталось. Ни к чему они были в новой Москве.

Вместо кабриолетов Долгоруков пустил в Москве конку — конно-железную дорогу, новый вид транспорта, получивший в 1880-х годах широкое распространение в крупных городах России.

В Первопрестольной первая линия конки была открыта в 1872 году по случаю Политехнической выставки. Недаром она так и называлась — Долгоруковская линия и вела от Страстной площади до Петровского парка. В Москве рельсы конки

протянулись по Бульварному и Садовому кольцу, а также из центра города на окраины.

Москвичи были очень благодарны Долгорукову за конку. Известный наш москвовед Владимир Гиляровский не раз пользовался новым видом транспорта. Заберется он, бывало, по винтовой лестнице на империал и «тащится из Петровского парка к Страстному монастырю» (империал — открытый второй этаж вагона конки, который обычно везли две лошади). Правда, не все могли залезть на империал по крутой лестнице, тем более женщины. Поэтому крутые лестницы постепенно заменили более пологими, а цену за проезд на империале установили в три копейки, в то время как на первом этаже плата за проезд была пятачок.

Правил лошадьми вагоновожатый, а продавал билеты, давал сигналы остановок и отправления кондуктор. Был и еще один начальник — на станции, через которую следовали экипажи. Первая станция находилась на Страстной площади. В 1889 году Долгоруковскую линию электрифицировали первой в Москве. Неслучайно уже в последующие годы именно по ней прошел и первый московский трамвай.

Сегодня в Москве активно осуществляется идея развития велосипедного транспорта. А первым московским градоначальником, официально разрешившим езду на велосипеде в городе, был Владимир Андреевич Долгоруков. В 1888 году он позволил членам Московского общества велосипедистов-любителей и другим лицам колесить на велосипедах по бульварам с темного времени суток до восьми часов утра, а за городом — в течение всех двадцати четырех часов.

Трудно себе представить, насколько повальным был интерес к велосипеду как новому виду транспорта в 1880-х годах. Это двухколесное (а иногда и трех) изобретение привлекло к себе людей самых разных возрастов. Даже Лев Толстой обучился езде на велосипеде, регулярно приходя для этой цели в Манеж. В 1884 году было создано Московское общество велосипедистов-любителей, затем Московский клуб велосипедистов, а в последующие годы — Всеобщий и Германский союзы велосипедистов и Московский кружок любителей велосипедной езды. Долгоруков всячески способствовал расширению интереса горожан к велосипеду. К сожалению, мы не знаем, садился ли сам князь на железного коня, но то, что именно благодаря градоначальнику многие москвичи освоили велосипед, — факт непреложный.

Велосипедистов стало так много, что в мае 1890 года московский обер-полицмейстер Е. К. Юровский обратился к

Долгорукову с просьбой о запрещении езды на велосипедах в вечерние часы в Сокольниках и Петровском парке. Оказывается, «вечерняя езда на велосипедах представляется в дозволенных местах неудобною в отношении гуляющей публики, а именно: в Петровском парке… велосипедисты, проезжая по всем направлениям с фонарями, пугают лошадей, по городским же бульварам катание на велосипедах в вечернее время до крайности стесняет и тревожит гуляющую публику», — жаловался обер-полицмейстер в рапорте.

В то же время к Долгорукову стали поступать и другие письма от велосипедистов-энтузиастов. Автор одного из таких писем пытался убедить генерал-губернатора, что «велосипед — не есть игрушка, это есть гигиенически-лечебно-воспитательное средство… Теперь при воспрещении кататься на велосипедах куда денутся тысячи молодых людей вечером и в праздники? Конечно, пойдут в загородные трактиры, где нет недостатка в соблазнительности, а это очень понравится молодежи, и она погибнет».

Долгоруков оказался меж двух огней: с одной стороны, массовое общественное увлечение, с другой — необходимость соблюдения правил дорожного движения. Как человеку ближе ему были просьбы велосипедистов, но как градоначальник он обязан был прореагировать на рапорт обер-полицмейстера. В итоге возможность ездить на велосипеде по Москве существенно ограничили, но московские велосипедисты, несмотря на это, добрым словом вспоминали своего генерал-губернатора.

Электрификация Москвы тоже началась при Долгорукове. Ведь как раньше освещалась Москва? В лучшем случае — газовыми и керосиновыми фонарями, да и то только в центре. А в переулках и по окраинам горели масляные фонари, ставшие к 1870-м годам анахронизмом. К тому же нередко конопляное масло попадало не туда, куда ему положено, а в кашу. Неудивительно, что по вечерам большая часть Москвы погружалась в тьму: «Освещение было примитивное… причем тускло горевшие фонари… стояли на большом друг от друга расстоянии. В Москве по ночам было решительно темно, площади же с вечера окутывались непроницаемым мраком»[247].

Электрический свет в Москву пришел в 1883 году, когда на Берсеневской набережной была открыта первая электростанция. Несмотря на то, что мощности ее хватило лишь на освещение Кремля, храма Христа Спасителя и Большого Каменного моста, это стало переломной вехой в истории Москвы. Через пять лет дала ток электростанция на Большой Дмитровке, позволившая электрифицировать городской центр. А в 1886 году была пущена

в строй электростанция на Софийской набережной, дошедшая до нашего времени (МОГЭС). Вряд ли нужно пояснять, какой заряд для своего дальнейшего подъема получила московская промышленность, перед которой открылись невиданные ранее экономические перспективы.

Долгорукова называли «князюшкой», «московским красным солнышком», «хозяином» или «барином», говорили, что Москвою он правит «по-отцовски». Все верно, и естественно, как хороший хозяин он любил побаловать москвичей. Градоначальник часто устраивал в Москве праздники, пышно отмечал их, так, чтобы это было радостью для всех городских сословий. Он сам имел привычку появляться среди горожан в праздничные дни. Таким и остался в памяти современников. «Его можно было встретить прогуливавшимся по Тверской в белой фуражке конногвардейского полка, форму которого он носил. На Масленице, на Вербе и на Пасхе он выезжал в экипаже на устраивавшиеся тогда народные гуляния и показывал себя широкой московской публике, сочувственно и приветливо к нему относившейся. Он отличался широким гостеприимством: кроме обязательного официального раута или бала 2 января, на который приглашалось все московское общество, все должностные лица, он давал еще в течение сезона несколько балов более частного характера для своего круга. Конечно, очень обширного. Он принимал у себя царей Александра II и Александра III во время их приезда в Москву, угощал и увеселял приезжавших в Москву молодых великих князей и иностранных принцев. Такое широкое представительство обходилось дорого, превышало его жалованье, и он был, как и всякий добрый барин старого времени, в больших долгах», — вспоминал академик М. М. Богословский[248].

Роскошь долгоруковских балов затмила славу празднеств при прежних генерал-губернаторах — Закревском и Голицыне.

Однажды к Долгорукову пришел Лев Николаевич Толстой. Это было еще в то время, когда писатель не имел собственной усадьбы в Хамовниках. Разговор с генерал-губернатором вызвал у Толстого восторг, зашел разговор и о бале: «Князь сказал ему, что, когда Таня (которой было в то время лет семь-восемь) вырастет, он устроит для нее бал… И странно то, что Долгоруков свое слово действительно сдержал и Таня была у него на балу, но это было уже в то время, когда отец пережил свой духовный переворот и от светской жизни и балов ушел безвозвратно»[249].

Проведение пышных балов, впрочем, требовало больших трат, а потому «широкое гостеприимство» князя, о котором свидетельствует академик Богословский, иногда обходилось

Долгорукову действительно слишком дорого. Если верить Владимиру Гиляровскому, на торжественных приемах и блестящих балах в генерал-губернаторском особняке на Тверской улице появлялись не только должностные лица.

Светское общество, состоящее из усыпанных бриллиантами великосветских дам и их мужей в блестящих мундирах, разбавлялось (в немалой степени) замоскворецкими миллионерами, банкирами, ростовщиками и даже скупщиками краденого и содержателями разбойничьих притонов. Это были своего рода новые русские того времени, причем всех мастей.

Они приходили на балы в мундирах благотворительных обществ, купленных за пожертвования, а некоторые — при чинах и званиях. «Подъезжает в день бала к подъезду генерал-губернаторского дворца какой-нибудь Ванька Кулаков в белых штанах и расшитом «благотворительном» мундире «штатского генерала», входит в вестибюль, сбрасывает на руки швейцару соболью шубу и, отсалютовав с вельможной важностью треуголкой дежурящему в вестибюле участковому приставу, поднимается по лестнице в толпе дам и почетных гостей. А пристав, бывший гвардейский офицер, принужден ему ответить, взяв под козырек, как гостю генерал-губернатора и казначею благотворительного общества, состоящего под высочайшим покровительством… Ну как же после этого пристав может составить протокол на содержателя разбойничьего притона «Каторга», трактира на Хитровом рынке?!

Вот тут-то, на этих балах, и завязывались нужные знакомства и обделывались разные делишки, а благодушный «хозяин столицы», как тогда звали Долгорукова, окруженный стеной чиновников, скрывавших от него то, что ему не нужно было видеть, рассыпался в любезностях красивым дамам.

Сам князь, старый холостяк, жил царьком, любил всякие торжества, на которых представительствовал. В известные дни принимал у себя просителей и жалобщиков, которые, конечно, профильтровывались чиновниками, заблаговременно докладывавшими князю, кто и зачем пришел, и характеризовавшими по-своему личность просителя. Впрочем, люди, знакомые князю, имели доступ к нему в кабинет, где он и выслушивал их один и отдавал приказания чиновникам, как поступить, но скоро все забывал, и не всегда его приказания исполнялись», — пишет Гиляровский.

Приведенная цитата из книги «Москва и москвичи» рисует нам всего лишь несколько ярких штрихов к портрету Долгорукова, но насколько же они меняют идеальный, вылизанный биографами портрет князя. Вот и история о том, как

знаменитый аферист Шпейер, вхожий на балы к генерал-губернатору под видом богатого помещика, продал особняк на Тверской английскому лорду:

«Шпейер… при первом же знакомстве очаровал старика своей любезностью, а потом бывал у него на приеме, в кабинете, и однажды попросил разрешения показать генерал-губернаторский дом своему знакомому, приехавшему в Москву английскому лорду. Князь разрешил, и на другой день Шпейер привез лорда, показал, в сопровождении дежурного чиновника, весь дом, двор и даже конюшни и лошадей. Чиновник молчаливо присутствовал, так как ничего не понимал по-английски. Дня через два, когда Долгоруков отсутствовал, у подъезда дома остановилась подвода с сундуками и чемоданами, следом за ней в карете приехал лорд со своим секретарем-англичанином и приказал вносить вещи прямо в кабинет князя…

Англичанин скандалил и доказывал, что это его собственный дом, что он купил его у владельца, дворянина Шпейера, за 100 тысяч рублей со всем инвентарем и приехал в нем жить. В доказательство представил купчую крепость, заверенную у нотариуса, по которой и деньги уплатил сполна. Это мошенничество Шпейера не разбиралось в суде, о нем умолчали, и как разделались с англичанином — осталось неизвестным. Выяснилось, что на 2-й Ямской улице была устроена на один день фальшивая контора нотариуса, где и произошла продажа дома»[250].

Долгоруков был поражен ловкостью Шпейера, оказавшегося, к его удивлению, не богатым помещиком, а атаманом промышлявшей в Москве в 1870-х годах шайки «червонных валетов». После этого неприятного случая бандитов поймали, но главарь ушел безнаказанным. Удар по репутации «хозяина» Москвы был таким сильным, что Долгоруков взял слово с фельетониста Пастухова, как-то пронюхавшего об этой истории, держать язык за зубами. Зубы у Пастухова оказались не такими крепкими.

Гиляровский объясняет факт неподкупности Долгорукова тем, что деньги ему не нужны были вовсе. Ведь в отличие от одного из своих предшественников, графа Закревского, красавицы-жены, как и необходимости удовлетворять запросы ее любовников, Долгоруков не имел. В карты князь тоже не играл. Все что нужно — благоволение двора и уважение москвичей — было у него в достатке.

А в том, что главными приводными ремнями к концу градоначальства старого князя стали начальник секретного отделения его канцелярии П. М. Хотинский (через которого

«можно было умелому и денежному человеку сделать все») и бессменный камердинер Григорий Иванович Вельтищев, не было ничего странного. У Закревского тоже, как мы помним, был всесильный камердинер. Зато у князя сложились очень теплые отношения с представителями самого богатого сословия Москвы — торгового.

Одним из тех московских богатеев, дружбой с которым Гиляровский попрекает Долгорукова, был банкир Лазарь Поляков — видная фигура в московских деловых кругах. Он являлся не только главой ряда российских банков и крупных предприятий, но и финансистом строительства российских железных дорог, а также и благотворителем, жертвовавшим деньги на Румянцевский музей и Музей изящных искусств. Поляков был частым гостем на балах в доме генерал-губернатора на Тверской, благодаря чему долгое время и после смерти Долгорукова его злопыхатели говорили, что князь был чуть ли не на содержании у банкира. Дескать, откуда Долгорукову было взять столько средств на шикарные балы, если сам он денег не считал, а потому и привлек Полякова.

И вот что интересно: уже много лет спустя Александр Солженицын также обвинял Долгорукова в нечистоплотности по причине его благосклонного отношения к Полякову, «с которым князь Долгоруков вел дружбу и который, как утверждали злые языки, открыл ему в своем земельном банке текущий счет на любую сумму», а потому на банкира «сыпались из года в год всякие почести и отличия»[251].

Солженицын пишет, что Долгоруков был чуть ли не прикормлен Поляковым, так как «он отдал всё свое состояние зятю, между тем любил и пожить широко, да и благотворить щедрой рукой». Влияние Полякова якобы проявлялось в том, что в Московской губернии Долгоруковым для него была создана благоприятная среда. Владея Московским земельным банком, в условиях отсутствия конкурентов он получал максимальную выгоду от того, что «не было дворянина-земледельца, который бы не закладывал свое имение», в итоге эти дворяне становились в «некоторую зависимость от банка». И на все это московский генерал-губернатор смотрел сквозь пальцы.

В итоге Солженицын делает такой вывод: «В. А. Долгоруков <…> был весьма покровительствен к приезду и экономической деятельности евреев в Москве. Ключом к тому, очевидно, был ведущий банкир Москвы Лазарь Соломонович Поляков».

Трудно согласиться с таким радикальным выводом писателя, ведь Долгоруков был ревностным православным верующим, с особым почитанием относился к представителям Русской

православной церкви. К тому же градоначальник был открыт представителям всех конфессий Москвы. И потому свои поздравления князю на юбилеи присылали не только члены Еврейского общества, но и Магометанского общества, а также католики и протестанты Москвы.

Вот, например, текст из поздравительного адреса В. А. Долгорукову к 25-летию его генерал-губернаторства от приюта Евангелического попечительства о бедных женщинах и детях, открытого в 1868 году и находившегося с 1888 года в Гороховском переулке:

«Ваше Сиятельство Князь Владимир Андреевич! Позвольте и нам, представителям Евангелического Попечительства о бедных женщинах и детях, принести свою лепту благодарности и любви по случаю торжественного дня… Это период времени, знаменательный для Москвы, период процветания вверенной Вам столицы во всех отношениях, особенно же в деле благотворительности, находившего всегда в Вашем Сиятельстве ревностного покровителя и могучего защитника. В ряду благотворительных учреждений, которыми изобилует Москва, наше Попечительство занимает весьма лишь скромное место. Тем не менее, оно удостоилось неоднократно благосклонного внимания Вашего Сиятельства. Присутствием своим при освящении нового здания детского приюта нашего доказали Вы, Сиятельнейший Князь, сочувствие Ваше нашему делу.

Мы позволили себе поэтому украсить поздравительный адрес наш изображением приюта и испрашиваем милостивое согласие Ваше на содержание в приюте Попечительства на память нынешнего юбилея девицы-сироты по назначению Вашего Сиятельства под названием «Сирота князя Владимира Андреевича Долгорукова», дабы сохранялось и в сем заведении, дорогое всем нам, как всей Москве, имя Вашего Сиятельства»[252].

Приведенное поздравление — не дань юбилейным условностям, а искреннее выражение признательности Долгорукову. Ведь приюты были вполне обычным явлением за рубежом, в странах Европы. Эту традицию московские немцы привнесли и в свою жизнь. Основой благотворительности в немецкой общине Москвы была Евангелическо-лютеранская церковь, ставшая главной хранительницей ее национальной культуры и самобытных традиций.

Как следует из приведенного выше адреса, Долгоруков не только разрешил открыть приют, но и присутствовал на его освящении. Хотя никто не осудил бы его за менее активное внимание к интересам немногочисленной конфессии. Но князь считал своим долгом всячески способствовать благотворительной

и гуманитарной деятельности в Москве.

Что же касается утверждений того же академика Богословского об отсутствии у князя средств, из-за чего он был в большом долгу у того же Полякова, то уже после смерти Долгорукова выяснилось, что он был вполне платежеспособен. Более того, если он и просил пожертвований, то не для себя, а для московского простого люда, не имевшего возможности лечиться в больницах.

Достаточно лишь перечислить названия богаделен и больниц, на которые Владимир Андреевич потратил свои личные сбережения, чтобы убедиться в широте его души, в искренности его порывов: приют при Московском совете детских приютов, бесплатная лечебница при Комитете «Христианская Помощь» Российского общества Красного Креста, убежище для увечных воинов в селе Всесвятском, ремесленное училище при Мясницком отделении больницы для чернорабочих в Москве, Вяземский приют при Вяземском (Смоленской губернии) благотворительном комитете, мастерская для бесприютных в Москве…

Мы перечислили лишь те учреждения, что носили имя Долгорукова. Но ведь были и другие! Долгоруков подобно одному из его предшественников, князю Дмитрию Голицыну, своим примером показывал многоимущим москвичам, куда и как надо тратить сбережения.

Влас Дорошевич чрезвычайно удачно сформулировал способность Долгорукова пробудить в том или ином толстосуме щедрость: «И щелкнуть, но и обласкать умеет!» Был такой случай с ресторатором Лопашовым. Как-то в очередной раз, когда надо было пожертвовать энную сумму денег на благотворительную лотерею, он заартачился: «Надоело платить! Сколько можно!» Прознавший об этом Долгоруков вызвал Лопашова на прием, к девяти часам вечера. Лопашов не прийти не мог, а потому, отправившись к князю, захватил с собой на всякий случай несколько тысяч рублей. И вот сидит он в приемной у генерал-губернатора один час, другой, третий. А князь его все не принимает. И уже под ложечкой сосет — Лопашов даже не поужинал перед выездом, и спать хочется. Любые бы деньги отдал, лишь бы домой отпустили. А князь все не принимает. Лишь в два часа ночи двери начальственного кабинета распахнулись: «Князь вас ждет!»

Заходит ресторатор к Долгорукову и сразу с поклоном деньги вынимает: «Примите, Ваше сиятельство! Я не подписался на лотерею потому, что хотел иметь честь передать лично…»

А князь — сама любезность — улыбается, благодарит и руку жмет: «От всей души вас благодарю! От всей души! Я так и был

уверен, что тут недоразумение. Я всегда знал, что вы человек добрый и отзывчивый! А теперь… Не доставите ли мне удовольствие со мной откушать? Мы, старики, не спим по ночам. Ужинаю поздно. Милости прошу. Чем Бог послал!»[253]

Ужинали они до четырех часов утра, о чем Лопашов потом еще долго всей Москве рассказывал. Как не вспомнить тут другого генерал-губернатора, Арсения Закревского, который вот также мог вызвать к себе под вечер иного купца, но ужинать он никому не предлагал!

Владимир Гиляровский, судя по его рассказам, не очень любил Долгорукова. Вот, например, его рассказ о невинных шутках в корректорской газеты «Русские ведомости»: «Я не любил работать в редакции — уж очень чинно и холодно среди застегнутых черных сюртуков, всех этих прекрасных людей, больших людей, но скучных. То ли дело в типографии! Наборщики — это моя любовь. Влетаешь с известием, и сразу все смотрят: что-нибудь новое привез!.. Как же не обрадовать эту молчаливую рать тружеников! И бросишь иногда шутку или экспромт, который тут же наберут потихоньку, и заходит он по рукам. Рады каждой шутке…

— Что новенького, Владимир Алексеевич? — И смотрят в глаза. Делаешь серьезную физиономию, показываешь бумажку:

— Генерал-губернатор князь Долгоруков сегодня… ощенился!

И еще серьезнее делаешь лицо. Все оторопели на миг… кое-кто переглядывается в недоумении.

— То есть как это? — кто-то робко спрашивает.

— Да вот так, взял да и ощенился! Вот, глядите, — показываю готовую заметку.

— Да что он, сука, что ли? — спрашивает какой-нибудь скептик.

— На четырех лапках, хвостик закорючкой! — острит кто-то под общий хохот.

— Четыре беленьких, один рыжий с подпалинкой!

— Еще слепые, поди! — И общий хохот.

А я поднимаю руку и начинаю читать заметку. По мере чтения лица делаются серьезными, а потом и злыми. Читаю: «Московский генерал-губернатор ввиду приближения 19 февраля строжайше воспрещает не только писать сочувственные статьи, но даже упоминать об акте освобождения крестьян». Так боялась тогда администрация всякого напоминания о всякой свободе! Слово «ощенился» вошло в обиход, и, получая статьи нелюбимых авторов, наборщики говорили: «Этот еще чем ощенился?»[254].

Ну что здесь скажешь? При Закревском, как мы помним, фамилию генерал-губернатора даже всуе, при прислуге, было

страшно называть. А над Долгоруковым можно было и пошутить, причем не опасаясь, что донесут и вызовут на «прием» к генерал-губернатору. Причем шутки иногда были за гранью, а Долгоруков снисходительно смотрел на это. Ему помогало врожденное чувство юмора.

Но вернемся к праздникам. Каждый год на шестой неделе Великого поста, в субботу на Красной площади устраивали вербный базар и гулянье. Вдоль кремлевских стен ставили ряды из палаток и лавок, в которых продавали детские игрушки, сладости и всякие безделушки. Торговали здесь и иноземными лакомствами — греческие купцы привозили рахат-лукум, а французы пекли свои вафли. Особенно рад был этому простой народ.

Кульминацией праздника становились вербные катанья с участием генерал-губернатора. «Хозяин Москвы» при полном параде выезжал верхом на породистом скакуне, в окружении свиты. Особое впечатление это производило на тех, кто становился свидетелем зрелища впервые. Москвичи встречали этот торжественный разъезд, выстроившись вдоль Тверской улицы.

А на Рождество Долгоруков разрешал в Москве кулачные бои: «На третий день Рождества, такой порядок, от старины; бромлейцы, заводские с чугунного завода Бромлея, с Серединки, неподалеку от нас, на той же Калужской улице, «стенкой» пойдут на наших, в кулачный бой, и большое побоище бывает; сам генерал-губернатор князь Долгоруков будто дозволяет, и будошники не разгоняют: с морозу людям погреться тоже надо…»[255]

Торжественно отмечала Москва 900-летие Крещения Руси. Государь Александр III повелел, чтобы 15 июля 1888 года все военные части имели выходной. Такое распоряжение дали и чиновникам других ведомств. Даже фабрикантам и заводчикам было предписано не препятствовать освобождению рабочих от своих занятий в этот день. Вся Россия получила возможность принять участие в празднике.

Для Москвы это имело особое значение, ведь Крещение Руси (и это подчеркивалось в документах) было осуществлено святым равноапостольным князем Владимиром, тезкой которого был московский генерал-губернатор.

15 июля 1888 года в половине седьмого утра со всех московских колоколен полился праздничный благовест и колокольный звон к литургии. Все московские храмы наполнились народом, начались литургии. В 11 часов от храма Христа Спасителя отправился крестный ход к Успенскому собору

Кремля. Крестный ход двигался по Волхонке, по пути его следования были выстроены пехотные полки. Десятки тысяч москвичей пришли в Кремль, заняли все прилегающие улицы.

С 12 часов в Успенском соборе проходила литургия. После литургии начал шествие главный крестный ход — на Москву-реку. Впереди несли святыни — ковчег с Ризой Господней и часть мощей святого князя Владимира. За святынями следовали духовенство и все московское руководство во главе с Долгоруковым.

Когда процессия приблизилась к Москве-реке, митрополит совершил чин освящения. Закончилось все на Соборной площади провозглашением многолетия их императорским величествам, всему царствующему дому и губернатору. Зрелище было красочным и грандиозным. Играли духовые военные оркестры, палили пушки. Затем Долгоруков, митрополит и духовенство проследовали в Мироварную палату на торжественное заседание, закончившееся трапезой в митрополичьих покоях Чудова монастыря[256].

Тщанием Владимира Андреевича необычайно оживилась и культурная жизнь Москвы, важнейшим событием которой стало проведение первого Пушкинского праздника и открытие памятника поэту в 1880 году. Эпопея с установкой памятника началась еще в начале 1860-х, когда бывшие лицеисты обратились к императору Александру II с ходатайством о разрешении соорудить монумент Александру Пушкину. Государь разрешил открыть подписку на сбор средств, а памятник повелел установить в Царском Селе, в бывшем лицейском саду.

Прошло почти десять лет, но дело едва сдвинулось с места: на памятник сумели собрать чуть более 13 тысяч рублей, причем власти Санкт-Петербурга не только не приняли участие в подписке, но и даже не нашли место для монумента. И тогда Долгоруков предложил установить памятник в Москве, на родине поэта.

После проведения трех этапов конкурса победителем в престижном творческом соревновании был признан скульптор А. М. Опекушин. Серьезных сомнений, где устанавливать памятник, не было — конечно, на Тверском бульваре, так любимом Пушкиным. Открытие памятника в Москве превратилось в событие всероссийского масштаба. В Первопрестольную съехались делегации со всей страны, чтобы принять участие в Пушкинском празднике.

6 июня при огромном стечении народа состоялось торжественное открытие памятника. Людей собралось около ста тысяч, несмотря на дождливую погоду.

Началось все с заупокойной литургии по Пушкину, которую отслужили в Страстном монастыре. Затем дети поэта — дочери Мария и Наталья, сыновья Александр и Григорий прошли к главной трибуне. За ними следовали Достоевский, Тургенев, Островский, А. Майков, Плещеев, Григорович, Полонский, Иван Аксаков, Островский, Фет, Мельников-Печерский…

Не смогли быть по причине недомогания Гончаров и Салтыков-Щедрин, а вот Лев Толстой не приехал по принципиальным соображениям и удостоился от москвичей остроты: «Мол, более всех блистает здесь все-таки Лев Толстой… своим отсутствием». В собравшейся у подножия памятника толпе рассказывали, будто Тургенев специально ездил за Львом Николаевичем в Ясную Поляну, но ее затворник заявил, что литература служит приятным времяпрепровождением для сытых, а народу решительно все равно, существовал ли Пушкин или нет[257]. Но даже если бы писатель приехал, памятник ему все равно бы не понравился, недаром он охарактеризует его следующим образом: «Кушать подано!»

Когда зазвонили колокола и вступил хор под руководством Николая Рубинштейна, под звуки гимна России медленно сползло покрывало, скрывавшее памятник. И перед восхищенными взорами москвичей предстала задумчивая фигура поэта, будто бы приостановившаяся во время прогулки по Тверскому бульвару. Скульптору Опекушину удалось создать выразительный образ Пушкина.

Многие писатели, художники, музыканты, артисты добрым словом вспоминали в эти дни московского генерал-губернатора Долгорукова, сделавшего все возможное для того, чтобы первый памятник великому поэту появился именно на его исторической родине — в Москве.

В течение трех дней после открытия памятника проходили в Москве вечера памяти поэта, на которых читали его стихи, звучала музыка, выступали известные литераторы и историки.

8 сентября 1880 года в большой аудитории Московского университета состоялось торжественное заседание московской общественности. Один из участников тех памятных дней вспоминал: «Это было 8 июня 1880 года, во время торжества по поводу открытия в Москве памятника Пушкину, на заседании московского Общества любителей российской словесности, прославленном речью Достоевского. Из всех речей и вообще публичных выступлений, которые мне пришлось когда-либо слышать и видеть, ничто не произвело на меня такого сильного впечатления, как эта вдохновенная речь.

…Громадная зала, уставленная бесконечными рядами

стульев, представляла собою редкое зрелище: все места были заняты блестящею и нарядною публикою; стояли даже в проходах; а вокруг залы, точно живая волнующаяся кайма, целое море голов преимущественно учащейся молодежи, занимавшее все пространство между колоннами, а также обширные хоры. Вход был по розданным даровым билетам; в самую же залу, по особо разосланным приглашениям, стекались приехавшие на торжества почетные гости, представители литературы, науки, искусства и всё, что было в Москве выдающегося, заметного, так называемая «вся Москва».

В первом ряду, на первом плане — семья Пушкина. Старший сын Александр Александрович, командир Нарвского гусарского полка, только что пожалованный флигель-адъютантом, в военном мундире, с седой бородой, в очках; второй сын — Григорий Александрович, служивший по судебному ведомству, моложавый, во фраке; две дочери: одна — постоянно жившая в Москве, вдова генерала Гартунга <…> и другая — графиня Меренберг — морганатическая супруга герцога Гессен-Нассауского, необыкновенно красивая, похожая на свою мать. <…>

Рядом с Пушкиными сидел, представляя собою как бы целую эпоху старой патриархальной Москвы, московский генерал-губернатор князь Владимир Андреевич Долгоруков. Он правил Москвою свыше двадцати пяти лет… С дворянством сидело именитое купечество московское: братья Третьяковы — городской голова Сергей Михайлович, «брат галереи», и Павел Михайлович — «сама галерея», как звали в Москве создателя знаменитого Московского музея; тут же сидели владетели сказочных мануфактур»[258].

Трудно найти такую область жизни Москвы, которая была бы обойдена вниманием Владимира Андреевича. И потому важно отметить его заслуги в развитии образования в Москве, как начального, так и высшего, причем в самых разных областях.

В сентябре 1866 года открылась Московская консерватория. Это первое высшее музыкальное учебное заведение в городе было основано при непосредственной поддержке Долгорукова и благодаря самоотверженным усилиям и организаторскому таланту Н. Г. Рубинштейна. Сегодня трудно поверить, что консерватория создавалась в тяжелой обстановке непонимания и противоборства с теми влиятельными кругами, кто всячески противился консерваторскому образованию в России. К этому прибавлялось отсутствие материальных средств и «систематического музыкального образования в тогдашнем московском обществе»[259]. Лучшие представители российской культуры воодушевились идеей создания консерватории в

Москве, среди них был, например, и Лев Толстой.

Трудно было бы без поддержки московских властей получить и высочайшее соизволение на открытие Высшего музыкального училища — так называлась консерватория до 1873 года. Первоначально консерватория находилась на Воздвиженке, затем с 1871 года — на Большой Никитской, где уже в 1894–1901 годах было возведено новое здание, существующее и поныне.

В 1872 году в Москве открылись Высшие женские курсы, что стало событием исторического масштаба. Ведь до середины XIX века вопрос о высшем женском образовании в России вообще не ставился. Лишь в 1860-х годах, с изменением социально-общественной обстановки, возможность получить высшее образование перестала быть привилегией дворянства, женщины стали бороться за право доступа в университеты. Ведь университетский устав 1863 года лишал женщин права поступления в высшие учебные заведения. Лишь в конце 1860-х Министерство народного просвещения в лице графа Д. А. Толстого пошло на уступки, и в 1872 году в Москве начали работу педагогические курсы при Обществе воспитательниц и учительниц.

Наконец, тщанием Долгорукова в ноябре 1872 года на Волхонке в здании 1-й мужской гимназии торжественно открылись Московские женские курсы (или курсы профессора В. И. Герье), положившие начало высшему образованию в России. Курсы стали первыми высшими не только в Москве, но и в России. Вот почему учиться в Москву отправлялись женщины со всей страны. Несмотря на высокую плату за обучение (сначала 50 рублей, а затем 100 рублей за год), отсутствие общежитий и дефицит помещений для занятий, доля слушательниц из провинции в итоге составила более половины от общего числа курсисток.

В 1868 году на базе Московского ремесленного учебного заведения открылось Императорское техническое училище, готовившее механиков-строителей, инженеров-механиков и инженеров-технологов по уникальной системе образования. Обучение будущих инженеров состояло из педагогической и технологической части и явилось существенным прорывом в мировой образовательной практике.

В 1865 году в Москве открыла двери для желающих получить образование в сельском хозяйстве Петровская земледельческая и лесная академия. Символично, что открытие этого учебного заведения произошло 3 декабря, через несколько месяцев после назначения Долгорукова. Вопрос об основании земледельческого института в подмосковном имении Петровско-Разумовское

поднимался еще в 1857 году на заседаниях Московского общества сельского хозяйства. Но лишь при Долгорукове развитие академии обрело реальные перспективы. Вспомним, что и другой московский градоначальник — Дмитрий Владимирович Голицын также уделял большое внимание развитию аграрной науки.

Согласно уставу Петровская земледельческая и лесная академия была очень демократичным для того времени учебным заведением, где мечту об образовании могли реализовать представители самых разных слоев общества. Первое время академия обучала студентов и слушателей лишь по двум отделениям: сельскохозяйственному и лесному.

Почти 400 человек занимались в академии, изучая сельское хозяйство, общее и частное скотоводство, ветеринарию, сельское строительное и инженерное искусство, лесоводство, технологию сельскохозяйственную и лесных производств, практическую механику, геодезию и, конечно, такие необходимые предметы, как химию, физику, ботанику, зоологию, минералогию и политическую экономию.

Процесс повышения качества образования в академии выразился в том, что с 1872 года прием абитуриентов стал проводиться по новым правилам — на основании экзаменов. Поступающие должны были закончить гимназию или реальное училище. Срок обучения составлял четыре года. В 1873 году по второму уставу Петровская земледельческая и лесная академия стала «высшим учебным заведением, имеющим целью дать молодым людям научное образование по сельскому хозяйству и лесоводству».

Долгоруков являлся также попечителем Московской практической академии коммерческих наук и многое сделал для развития торгового сословия Москвы.

Академия была образована еще в 1810 году и с тех пор завоевала авторитет не только в Москве, но и в России как одно из лучших учебных заведений для подготовки коммерсантов и деловых людей. Находилась академия на Покровке и в соответствии с уставом 1851 года относилась к разряду высших реальных и специальных училищ, состоящих в ведении Министерства финансов Российской империи.

Высококвалифицированные профессора преподавали здесь торговое дело, финансы, бухгалтерский учет и другие дисциплины, без знания которых вряд ли можно было с успехом вести свое дело. Лучшие купеческие семьи Москвы отправляли сюда учиться своих сыновей. Здесь, например, получил образование Павел Рябушинский.

Но в академию могли поступать не только дети купцов, но

также дети почетных граждан, мещан и иностранцев купеческого сословия. Окончив с отличием академию, выпускники становились кандидатами коммерции.

Помимо попечительства над академией, московский генерал-губернатор занимал пост президента Общества любителей коммерческих знаний при академии. Общество было основано для финансовой поддержки деятельности академии и состояло не только из купцов, но министерских чиновников и дворян. Все доходы общества поступали в кассу академии и использовались исключительно на ее содержание и развитие.

Общество, кроме своего президента, секретаря и казначея, состояло из членов: действительных, в которые принимались желающие способствовать успеху общества; купцы, как русские, так и иностранные, проживавшие в России, и почетные, в которые избирались люди, известные учеными трудами или особыми заслугами[260].

Когда в 1882 году академию планировали передать из ведения Министерства финансов под крыло Министерства народного просвещения (что грозило ухудшением качества образования деловых людей), именно Долгоруков предпринял все от него зависящее, ходатайствуя перед Александром III, чтобы не допустить этого.

Покровитель искусств, Владимир Андреевич лично знал многих московских художников, не раз приезжал и в Московское училище живописи, ваяния и зодчества на Мясницкой, ставшее таковым в год назначения князя в Москву в 1865 году после присоединения к нему Архитектурного училища при Московской дворцовой конторе.

В один из своих приездов Долгоруков заметил и оценил работы молодого художника Исаака Левитана, что сыграло важнейшую роль в дальнейшей судьбе живописца.

«Однажды к подъезду на Мясницкой на паре серых в яблоках подъехал московский генерал-губернатор князь Владимир Андреевич Долгоруков. Гость был редкий, и ученики бросились к окнам. Приезд высшего начальства чаще всего приносил одни неприятности, и профессора отнеслись к любопытству учащихся недоброжелательно.

— Продолжайте работу! — резко сказал Перов и пошел навстречу Долгорукову.

Генерал-губернатор пробыл долго, обошел все мастерские. Он был в хорошем настроении, шутил, смеялся, рассыпал похвалы направо и налево, видел всюду таланты — сановнику нравились даже те работы, которых стыдились сами авторы.

В мастерскую Саврасова, минуты за три до появления

знатной особы, быстро вошел профессор Прянишников, подозрительно оглядел Алексея Кондратьевича и о чем-то пошептался с ним. Саврасов был навеселе, с туманными глазами, с багровыми пятнами на лбу.

— Я его знаю, — громко сказал пейзажист и небрежно махнул своей большой и красной рукой. — Мы занимаемся… и все в порядке…

Левитан встал и вытянулся, когда к его мольберту приблизился Долгоруков.

— Весенний мотив, — объяснил Саврасов содержание левитановского этюда. — Последний снег в лощинах. Реки прошли… Птицы летят с юга… Лесок… Место тяги вальдшнепов…

Алексей Кондратьевич говорил каким-то не своим голосом, отвертываясь в сторону, словно боялся дохнуть на генерал-губернатора.

— Ах, как это хорошо! — воскликнул с удивлением Долгоруков. — Очень, очень поэтично! Вы уже научили мальчика, господин Саврасов, чувствовать природу. Честь вам и слава…

— Покорно благодарю, — перебил Алексей Кондратьевич»[261].

Трудно представить, насколько радостной стала для Левитана скорая весть о том, что отныне он — стипендиат именной стипендии князя В. А. Долгорукова. Деньги молодому художнику были ох как нужны, ведь его исключали из училища именно по причине неплатежеспособности.

В следующий раз Долгоруков приехал на ученическую выставку и вновь восхитился работой Левитана. На эти выставки ходила вся Москва, газеты наперебой зазывали читателя на вернисаж. Генерал-губернатор прибыл не один, а вместе с московским митрополитом и свитой чиновников. Многие сановные посетители с подачи Долгорукова отметили одну из лучших картин выставки — левитановский «Осенний день. Сокольники».

Многие московские живописцы сами дарили Долгорукову свои произведения, как, например, упомянутый выше Василий Перов. Генерал-губернатор имел в своем домашнем собрании картины и зарубежных художников — итальянских, французских, голландских. Особым интересом князя было собирание картин, сюжет которых так или иначе был связан с историей его рода. И потому в коллекции Владимира Андреевича были такие картины, как «Князь Долгоруков-Роща защищает Троицкую лавру от поляков в 1608–1610 гг.», «Царский обед в шатре», «Петр I в обществе играющих в карты» и др. Вообще же, задайся князь целью собрать картины, иллюстрирующие служение его предков России, то из них можно было бы составить неплохую картинную галерею, так как Долгоруковы служили всем русским царям, получая за верную службу ордена и звания, земли и крепостных и прочие свидетельства монаршей милости.

За годы градоначальства Долгорукова значительно вырос и общий образовательный и культурный уровень москвичей. Причиной сего стало повсеместное распространение начального и профессионального школьного образования. Так, за 20 лет начиная с 1872 года число детских учебных заведений увеличилось более чем в семь раз, а количество учащихся выросло в шесть раз и достигло двенадцати тысяч человек.

Стали выходить и новые газеты и журналы: «Московский листок», «Русский курьер», «Московская иллюстрированная газета», «Русская мысль» и др. Средства массовой информации — важнейший инструмент создания необходимого имиджа власти. Князь это понимал и всячески поддерживал московских журналистов. Нередко в борьбе цензуры и газетчиков князь принимал сторону последних.

Однажды министр внутренних дел Д. А. Толстой, прочитав статью в «Русских ведомостях», настолько возмутился

написанным, что потребовал от главного редактора газеты немедленно сообщить ему имя автора. Не получив ответа, он вооружился уже против самого редактора В. М. Соболевского, настаивая на его высылке из Москвы, равносильной закрытию газеты. И тогда Долгоруков заступился за газету. Это был поступок.

Благодаря Долгорукову в 1880-е годы «Русские ведомости» расцвели: на их страницах публиковались Н. Г. Чернышевский, М. Е. Салтыков-Щедрин, Глеб Успенский, Н. Н. Златовратский, А. П. Чехов, Д. Н. Мамин-Сибиряк, К. М. Станюкович, А. Н. Плещеев, Л. Н. Толстой, В. И. Немирович-Данченко[262].

Но не стоит думать, что Долгоруков был либеральнее столичных чиновников, дело в другом: в своем городе он был хозяином полновластным и сам решал, кого миловать, а кого закрывать. Был такой случай с газетой «Московский листок» и ее издателем Николаем Пастуховым. По воспоминаниям архитектора И. Е. Бондаренко, более вульгарную фигуру, чем Пастухов, трудно было найти в Первопрестольной: с искривленной физиономией, вывалившимся глазом. Только уродливые типы Леонардо да Винчи могли быть прототипами образа Пастухова, а его «Листок» был органом московских дворников и мелких торговцев. Выдвинулся Пастухов и хорошо заработал на публикации своего романа «Разбойник Чуркин»[263]. Не отличаясь особыми литературными достоинствами, роман между тем имел огромную популярность у читателей.

Но как бы там ни было, тираж у «Московского листка» был немалый, читал его и Долгоруков. Читал до тех пор, пока не возмутился — сколько же можно рекламировать в довольно массовой московской газете такой неблаговидный образ, как разбойник Чуркин, да еще и в образе народного героя-избавителя. Мало того что «подвиги» Чуркина сочинялись Пастуховым во всех подробностях, так он еще и снабжал свои рассказы соответствующими иллюстрациями: картинами краж и грабежей. Но ему-то от этого только лучше: тираж не только удвоился, а даже утроился.

И вот как-то раз вызывает Долгоруков Пастухова к себе и говорит:

«— Вы что там у меня воров и разбойников разводите своим Чуркиным? Прекратить его немедленно, а то газету закрою!

Струсил Н. И. Пастухов. Начал что-то бормотать в защиту, что неудобно сразу, надо к концу подвести.

— Разрешаю завтра последний фельетон!

— Да как же! Ведь Чуркин!

— Удави Чуркина или утопи его! — рассердился князь и

повернулся спиной к ошалевшему Н. И. Пастухову.

— Ваше сиятельство… Ваше сиятельство…

В. А. Долгоруков вопросительно обернулся.

— Завтра кончу-с! То есть так его расказню, что останетесь довольны!

И расказнил! На другой день появился последний фельетон: конец Чуркина, в котором свои же разбойники в лесу наклонили вершины двух берез, привязали к ним Чуркина и разорвали его пополам»[264].

Как-то молодой корреспондент «Листка» Володя Гиляровский написал заметку о пожаре на подмосковной фабрике в Орехово-Зуеве, сопровождавшемся большими жертвами среди рабочих. Эта статья вызвала большой резонанс и настроила против газеты владельцев фабрики купцов Тимофея и Викулы Морозовых-Ореховских. Они пожаловались губернатору, что рабочие, прочитав статью, чуть ли не бунтуют и мутят воду. И тогда накрученный фабрикантами генерал-губернатор вызвал на ковер хозяина «Московского листка» Николая Пастухова, рассказавшего следующее:

«Прихожу я к подъезду, к дежурному, — князь завтракает. Я скорей на задний двор, вхожу к начальнику секретного отделения П. М. Хотинскому, — человек, конечно, он свой, приятель, наш сотрудник. Спрашиваю его: «Павел Михайлович, зачем меня его сиятельство требует? Очень сердит?»

«Вчера Морозовы ореховские приезжали оба, и Викула и Тимофей, говорят, ваша газета бунт на фабрике сделала, обе фабрики шумят. Ваш ‘Листок’ читают, по трактирам собираясь толпами… Князь рассердился: корреспондента, говорит, арестовать и выслать».

Ну, я ему: «Что же делать, Павел Михайлович, в долгу не останусь, научите!»

«А вот что: князь будет кричать и топать, а вы ему только одно: виноват, ваше сиятельство. А потом спросит, кто такой корреспондент. А теперь я уже спрашиваю: кто вам писал? А я ему говорю: «Хороший сотрудник, за правду ручаюсь». — «Ну вот, говорит, это и скверно, что все правда. Неправда, так ничего бы и не было. Написал опровержение — и шабаш. Ну, да все равно, корреспондента-то мы пожалеем! Когда князь спросит, кто писал, скажите, что вы сами слышали на бирже разговоры о пожаре, о том, что люди сгорели, а тут в редакцию двое молодых людей пришли с фабрики, вы им поверили и напечатали. Он ведь этих фабрикантов сам не любит. Ну, идите».

Иду. Зовет к себе в кабинет. Вхожу. Владимир Андреевич встает с кресла в шелковом халате, идет ко мне и сердито

показывает отмеченную красным карандашом корреспонденцию:

«Как вы смеете? Ваша газета рабочих взбунтовала!»

«Виноват, ваше сиятельство, — кланяюсь ему, — виноват, виноват!»

«Что мне в вашей вине, я верю, что вас тоже подвели. Кто писал? Нигилист какой-нибудь?»

Я рассказал ему, как меня научил П. М. Хотинский. Князь улыбнулся:

«Написано все верно, прощаю вас на этот раз, только если такие корреспонденции будут поступать, так вы посылайте их на просмотр к Хотинскому… Я еще не знаю, чем дело на фабрике кончится, может быть, беспорядками. Главное, насчет штрафов огорчило купцов. Ступайте!».

В итоге никого не арестовали, а «Московский листок», став еще более популярным, сразу увеличил тираж.

Упоминаемый Гиляровским Хотинский был фигурой влиятельной в канцелярии Долгорукова, начальник секретного отделения. Пытаясь выслужиться перед князем, он писал статьи и даже по своей инициативе выполнял обязанности корреспондента в газете «Русские ведомости», прославляя в своих публикациях Долгорукова. Однажды газетчики его проучили. Во время одной из поездок Долгорукова по близлежащим губерниям Хотинский из каждого города телеграфировал во все газеты о торжественных встречах, устраиваемых «хозяину столицы». Информация сопровождалась всяческими подробностями, свидетельствующими о том неописуемом восторге, с которым встречали московского генерал-губернатора.

Далее дадим слово очевидцу событий: «Однажды во всех московских газетах появляется большая телеграмма из Тулы о торжественной встрече. Тут и «ура», и народ «шпалерами», и «шапки вверх». Во всех газетах совершенно одинаково, а в «Русских ведомостях» оказалась напечатанной лишняя строка: «о чем, по приказанию его сиятельства, честь имею вам сообщить. Хотинский». В телеграммах в другие газеты эта строка была предусмотрительно вычеркнута. «Русские ведомости» и секретное отделение с Хотинским во главе сделались врагами. Хотинский более уже не сотрудничал в газете»[265].

Благоволил Долгоруков и к театрам. В начале октября 1881 года к нему пожаловал сам Александр Николаевич Островский, озабоченный творческим упадком Малого театра. Драматург замыслил создать новый театр. Но где взять деньги на такое весьма затратное предприятие? По мнению Островского, привлечь средства мог бы Долгоруков. Гость начал с места в карьер:

«Князь, — обратился он к Долгорукову, — столько лет вы состоите всесильным хозяином Москвы, а до сих пор не поставите себе памятника.

— Какого памятника? — удивился генерал-губернатор.

— Должен быть построен театр вашего имени.

Долгоруков улыбнулся и мягко заметил:

— Я знаю, меня в шутку называют удельным князем, но, к сожалению, у этого удельного князя нет таких капиталов, которые он мог бы широко тратить.

— Я приехал к вам, князь, искать не ваших денег. Скажите одно слово — и московское именитое купечество составит компанию и явится театр»[266].

Долгоруков инициативу Островского одобрил и помог найти мецената, которым оказался представитель семьи железнодорожных магнатов С. П. Губонин, без промедления принявшийся за составление акционерного общества. А уже в ноябре Долгоруков отправил ходатайство о создании народного театра в Министерство внутренних дел. Но оно не понадобилось, так как настало время частных театров.

Островский очень ценил поддержку Долгорукова, недаром в своей речи по случаю десятилетия Общества русских драматических писателей и оперных композиторов 21 октября 1884 года Александр Николаевич посчитал нужным отметить: «Мы должны с глубокой благодарностью, в нынешний день нашей десятилетней годовщины, произнести имя московского генерал-губернатора князя Владимира Андреевича Долгорукова, который с свойственным ему просвещенным вниманием и благожеланием отнесся к нововозникающему Обществу, содействуя к утверждению его Устава как в первоначальном, так впоследствии и в измененном виде. Постоянное расположение досточтимого начальника столицы, в которой возникло и существует наше Общество, многократно способствовало успехам нашей деятельности»[267].

Иногда Долгорукову приходилось даже защищать деятелей театра от кредиторов. В 1882 году в саду «Эрмитаж» давал представления театр М. Н. Лентовского, прозванного за свои организаторские способности «московским магом и чародеем». Спектакли пользовались огромным успехом. Москвичи валом валили на спектакли этого театра. Разве мог не прийти к Лентовскому Долгоруков?

Но была у Лентовского одна проблема — ростовщики не давали покоя, забирая себе день за днем кассовые сборы театра. Однажды перед спектаклем антрепренер повздорил с

ростовщиком, причем стычка проходила у пруда, что был в театре «Эрмитаж». Лентовский толкнул ростовщика и тот полетел вверх ногами в пруд. Недолго думая, ростовщик вылез из затянутого тиной пруда (можно представить, в каком виде) и, зная о том, что в театре нынче Долгоруков, кинулся в ложу к генерал-губернатору жаловаться. Долгоруков обомлел:

«Это что такое? Ростовщик? И жаловаться! В каком вы виде! Пристав, отправьте его просушиться!» Приказ был немедля исполнен. Ростовщика до утра продержали в застенке участка и, просохшего, утром отпустили домой[268].

Важнейшие события, произошедшие в истории России за четверть века генерал-губернаторской службы Долгорукова, не могли не коснуться Москвы. Одним из таковых стала очередная русско-турецкая война, разразившаяся в 1877 году. Россия, считая своим долгом прийти на помощь братскому болгарскому народу, поднявшему восстание против турецкого владычества, в апреле 1877 года объявила Турции войну.

Чем ответила Москва? Прежде всего огромным патриотическим подъемом и значительными денежными пожертвованиями. Московских купцов не нужно было заставлять сдавать деньги на нужды раненых русских солдат, сражавшихся за независимость славянских народов, что не идет ни в какое сравнение с тем, как собирались деньги на другую русско-турецкую войну, при прежнем градоначальнике — Арсении Закревском.

Московское общество попечения о раненых и больных воинах (позже известное как Общество Красного Креста), председателем которого был Долгоруков, собрало почти 1,5 миллиона рублей на нужды раненых. В Москве и уездах Московской губернии было создано 19 комитетов Общества Красного Креста, организовано 20 госпиталей на 2414 коек. Один из госпиталей, находившийся за Тверской Заставой, официально назывался «госпиталь имени князя Владимира Андреевича Долгорукова» и принимал раненых с декабря 1877-го по март 1879 года.

В отчете о деятельности общества говорилось: «1877 год, трудный для России по количеству жертв, понесенных ею ради святого дела освобождения христиан Балканского полуострова, ознаменовался особенно широкою деятельностью Красного Креста, впервые в таких размерах являвшеюся в пределах нашего Отечества… Отовсюду стекались пожертвования, всюду кипела горячая деятельность… Немало госпиталей возникло и в Москве, и к числу последних должен быть отнесен госпиталь имени князя В. А. Долгорукова»[269]. Госпиталь был хорошо оснащен, имел прекрасные условия для лечения раненых русских солдат —

высокие потолки, светлые палаты на три-четыре человека. Помимо госпиталей, Москва снарядила и два санитарных поезда на 170 человек каждый, один из которых также получил название «Долгоруковского» по имени главного жертвователя. За войну поезда перевезли 12 658 раненых. Кроме того, был подготовлен медицинский персонал, стараниями которого многие воины были вновь возвращены в строй.

«Искренне благодарю жителей Москвы за поздравления с одержанной победой… Прошу передать мою признательность городской думе за новое по сему случаю пожертвование в пользу раненых воинов» — так ответил император на поздравление Долгорукова от имени жителей Москвы в связи с победой под Плевной в ноябре 1877 года. Московская городская дума постановила выплачивать пожизненную пенсию пятидесяти раненым участникам боев под Плевной[270].

Как напоминание о ста тысячах погибших русских воинах стоит сегодня в Москве памятник-часовня гренадерам — героям Плевны у Ильинских Ворот. Идея увековечить сей подвиг была горячо поддержана Долгоруковым. Часовню, сооруженную по проекту В. О. Шервуда, открыли в 1887 году. И по сей день этот памятник остается выразительным символом братства и взаимопомощи славянских народов.

В марте 1878 года Владимир Андреевич принял председательство в Московском комитете по сбору пожертвований для приобретения морских судов Добровольного флота. А инициатором создания флота и председателем главного комитета в Санкт-Петербурге был великий князь Александр Александрович — будущий император Александр III, придерживавшийся формулы, что главными союзниками России являются армия и флот. Великий князь сам попросил Долгорукова возглавить подобный комитет в Москве.

Предполагалось, что флот будет создан на частные средства, а его имущество и суда в военное время могут быть переданы в собственность или распоряжение армии. Корабли Добровольного флота должны были принять участие в вероятной войне с Великобританией.

Создание такого флота зиждилось исключительно на большой общественной поддержке и явилось следствием Русско-турецкой войны: «Враг наш силен на море. И числом и громадностью средств его морские силы далеко превосходят наши… Последняя война покрыла славой русских моряков, сражавшихся на деревянных скорлупах с грозными броненосцами и выходивших победителями из борьбы столь неравной. Дайте им настоящие морские суда, пошлите их в океаны на ловлю

вражеского флота, и враг наш раскается в своей самонадеянности. Но время не терпит. Надо действовать быстро. Дети земли русской, вы, вставшие как один человек каждый раз, когда опасность угрожала святой матери нашей — России, — вы и на этот раз единодушно откликнитесь на ее призыв и всем миром создадите Добровольный флот». Этот призыв комитета был услышан москвичами.

Пример был подан членами комитета — крупнейшими русскими предпринимателями. Деньги на благое дело дали московский городской голова С. М. Третьяков, председатель Биржевого комитета Н. А. Найденов, старшина Московского купеческого сословия С. В. Алексеев, а также такие известные меценаты, как К. Т. Солдатенков, С. С. Поляков, П. И. Губонин, Г. И. Хлудов, а также многие другие представители богатейших московских семейств — Боткины, Морозовы, Абрикосовы, Мамонтовы…

Наследник престола в своем письме высоко оценил заслуги Долгорукова: «Князь Владимир Андреевич! Из представленных вами сведений я с удовольствием усматриваю, что сумма сбора на устройство добровольного флота в Московском главном комитете достигла с излишком 1 150 000 рублей, которые и переведены уже из Москвы в распоряжение состоящего под председательством моим комитета. Успех этого сбора свидетельствует о том сочувствии, которым встречена была всеми сословиями патриотическая мысль, возникшая в Москве при деятельном вашем участии. Радуюсь от души этому успеху, прошу вас передать жертвователям сердечную Мою признательность за усердие к столь полезному для Отечества делу. Цесаревич Александр. Красное Село. 13 июля 1878 г.».

Всего же под руководством Долгорукова Москва собрала на создание Добровольного флота 2 миллиона 224 тысячи 712 рублей. На эти деньги были куплены крейсеры «Россия», «Петербург», «Москва», «Ярославль», «Владивосток».

Благое дело по созданию в России Добровольного флота, поддержанное тщанием московского градоначальника Долгорукова, оказало свое влияние и на развитие русского торгового мореходства. К 1914 году просторы Мирового океана бороздили 40 пароходов Добровольного флота, представительства которого открылись в крупнейших торговых портах мира.

Учитывая перечисленные здесь заслуги Долгорукова, неудивительно, что уже через десять лет после назначения его генерал-губернатором он был удостоен звания почетного гражданина Москвы, присвоенного ему Московской городской

думой в 1875 году. Кроме этого, князь был почетным гражданином и многих подмосковных городов: Вереи, Звенигорода, Дмитрова, Бронниц, Коломны, Волоколамска, Подольска, Павловского Посада.

Через два года, в декабре 1877 года, по просьбе жителей Новослободской улицы Москвы, ее переименовали в Долгоруковскую. Несмотря на то, что до очередного юбилея градоначальника оставалось еще несколько лет, Московская городская дума утвердила ходатайство. Ведь причиной, побудившей москвичей обратиться с подобной просьбой, были недавние события — Русско-турецкая война и заслуги Долгорукова по организации помощи раненым. По торжественному случаю переименования митрополитом Московским и Коломенским Иннокентием был отслужен молебен в Никольской церкви.

На службе присутствовал и сам градоначальник. Владимир Андреевич, к его чести, отказался от обеда, приуроченного к сему событию, предложив отдать собранные по подписке на обед деньги на лечение раненых. Но завтрак всё же устроили.

Из сохранившегося меню мы узнаем, чем угощали гостей и жителей вновь названной улицы, главным сюрпризом было пирожное «Праздник Долгоруковской улицы», а еще кулебяка с зернистой икрой, консоме в чашках, провансаль из рябчиков, разварные осетры, жареная дичь и каплуны и… чай. В советское время эта улица называлась Каляевской (в честь революционера Каляева), ныне улице по праву вновь возвращено имя Долгорукова.

Свидетельством уважения москвичей к своему градоначальнику являются и многочисленные подарки, преподнесенные ему на юбилеи и в праздники. Наверное, не было в истории Москвы генерал-губернатора, каждая круглая дата пребывания которого на посту так торжественно отмечалась.

Из даров и приношений градоначальнику можно собрать целую выставку, главным украшением которой могут быть и диплом на звание почетного гражданина города Москвы, и письменный прибор в виде модели дома, в котором родился Долгоруков, подаренный ему в 1879 году, и конная статуэтка, изображающая Долгорукова в юности, исполненная по модели самого Евгения Лансере, и редкая Библия XVI века, подарок от Московской еврейской общины, и письменный прибор с бюстами императоров Александра II и Александра III и самого князя В. А. Долгорукова, и памятные адреса с рисунками В. О. Шервуда и Ф. О. Шехтеля. А еще иконы, подносные блюда, богато оформленные альбомы, сотни адресов от московских обществ и

организаций. Все это князь завещал Румянцевскому музею, в котором был создан памятный «Долгоруковский зал».

В настоящее время это собрание хранится в Историческом музее. Правда, есть, по крайней мере, один подарок, который на выставке нельзя представить — к одному из юбилеев Долгорукова ему подарили родовое имение, специально выкупленное для него.

Долгоруков исповедовал принцип открытости: как его дом на Тверской был свободен для желающих посетить князя, так и Москва демонстрировала всему миру свои возможности. Это при Долгорукове в Москве прошла череда интереснейших выставок — Этнографическая в 1867 году, Политехническая в 1872-м, Антропологическая в 1879-м, Художественно-промышленная в 1882-м, Ремесленная в 1885-м, Рыболовная в 1887-м, Археологическая в 1890 году, три выставки по конезаводству и др.…

Целью Этнографической выставки было изображение повседневного быта всех народов России с помощью фигур из папье-маше, одетых в настоящие костюмы. Сооружались декорации, а костюмы были настоящими, глаза для фигур привезли из-за границы — их нужно было слишком много. Изготовленные фигуры несли в Манеж на носилках, поэтому нередко москвичи принимали их за покойников и при этом крестились.

Выставку в Манеже посетил Александр III, но пробыл там недолго — назвав изображенных в папье-маше людей уродами, быстро удалился.

Политехническая выставка, проходившая в Москве в течение всего лета 1872 года, неслучайно послужила прорывом в области пропаганды промышленных, сельскохозяйственных, военных, научно-технических и культурных достижений Российской империи. Ведь приурочена она была к двухсотлетию Петра I, русского царя, прорубившего окно в Европу.

За три летних месяца выставку посетило около 750 тысяч человек. Для того чтобы осмотреть экспозицию, многие ее посетители приезжали не только из других городов, но и из-за границы. А смотреть было на что — в работе двадцати пяти отделов выставки участвовало более двенадцати тысяч экспонентов (из них две тысячи — иностранные). Для размещения всех не хватило даже Манежа, а потому временные павильоны построили в Александровском саду, на Кремлевской набережной и Варварской площади.

Правда, Долгорукова критиковали за вырубку Александровского сада. Купец второй гильдии Н. П. Вишняков сетовал, что ради Политехнической выставки «было вырублено

много старых деревьев и кустарников; только часть вырубленного была посажена вновь, и не особенно толково. Так, гора второго сада, которая теперь представляет из себя безотрадную лысину, была прежде обсажена деревьями и составляла славный уютный уголок. Тут можно было присесть, подышать вечерним воздухом и полюбоваться на перспективу зелени садов к Манежу, на Пашков дом…».

Но были и такие достижения, которые не могли вместиться не в одно из зданий. Самыми большими экспонатами стали паровозы (их поставили на набережной) и пароходы (они пришвартовались на Москве-реке). Вскоре после закрытия выставки многие ее уникальные экспонаты заняли свое место в Политехническом и Историческом музеях, также созданных при Долгорукове.

Одной из целей грандиозного смотра была не только демонстрация того, на что способна Российская империя, но и создание будущего музея прикладных знаний, известного нам сегодня как Политехнический музей. В экспозицию музея вошли многие технические новинки с выставки. На открытии музея 30 ноября 1872 года Владимир Андреевич огласил следующее повеление императора: «Для устройства в Москве музея прикладных знаний и заведования оным учредить особый Комитет на основаниях, изложенных в положении комитета гг. министров…» Поначалу экспозиция размещалась во временном здании, пока на Лубянской площади строилось специальное здание для музея.

Что же касается экспонатов исторического отдела выставки, показывавшего посетителям портреты деятелей Петровской эпохи во главе с самим царем-реформатором, а также изделия и предметы искусства того времени, то в дальнейшем они явились основой собрания другого — Исторического музея. Почетным президентом музея в январе 1873 года согласился стать наследник престола, будущий император Александр III. Одним из инициаторов создания музея стал граф А. С. Уваров.

Интересно, что в 1874 году Москва пожертвовала для создания музея то место на Красной площади, которое раньше было куплено у казны для строительства здания Московской городской думы, выступившей одним из первых жертвователей, — в мае следующего года в музей были переданы принадлежавшие Москве библиотечные собрания Черткова и Голицына. В августе того же года в присутствии государя императора состоялась закладка здания музея, авторами проекта которого стали архитектор В. О. Шервуд и инженер А. А. Семенов. В 1881 году музею было дано название «Императорский

Российский Исторический музей», а в 1883 году закончилась его отделка. Долгоруков не раз приезжал на строительство, благо что ехать было недалеко.

Уже в мае 1883 года генерал-губернатор сопровождал в музей августейшую чету, осмотревшую его экспозиции, вслед за этим и остальные москвичи получили возможность познакомиться с богатейшим собранием. Через несколько дней Исторический музей в присутствии его председателя великого князя Сергея Александровича (с 1881 года) и князя Долгорукова был освящен.

В 1884 году товарищем (заместителем) председателя музея, а фактически руководителем, стал выдающийся русский историк Иван Егорович Забелин. Долгоруков же получил звание почетного члена музея. В 1890 году именно Забелин преподнес Долгорукову поздравительный адрес, в котором отметил его заслуги перед Москвой: «Минувшее двадцатипятилетие в истории Москвы составит замечательную, славную эпоху в устройстве древнего Царского и Царствующего города… Древняя столица совсем изменила свой облик и приобрела не только внешнюю, так сказать, строительную красоту, но и новое, лучшее устройство внутренней жизни.

Всем нам, москвичам, хорошо известно, какое живейшее, в высокой степени заботливое и попечительное, и вместе с тем и дальновидное участие Вы, Досточтимый начальник Москвы, принимали в установлении и направлении новых учреждений, столько способствовавших процветанию городского быта во всех видах и отношениях.

Деяния Вашего сиятельства принадлежат истории, и потому Исторический музей как учреждение, которому Высочайше предназначено быть выразителем Русской народности в последовательном ходе исторических эпох, с особою заботливостью должен в своих стенах изобразить и славный период в истории Москвы, свидетельствующий о неутомимой попечительности Вашего Сиятельства на пользу всестороннего устройства древней столицы»[271].

К сожалению, последнее предложение Забелина не было осуществлено — и по сей день в музее нет отдельной экспозиции, посвященной князю.

14 апреля 1879 года в день пятидесятилетия службы в офицерских чинах Долгоруков получил поздравительные телеграммы от императора, императрицы и великих князей. Александр II писал:

«Поздравляю тебя с пятидесятилетним твоим служебным юбилеем и посылаю тебе рескрипт, из которого ты усмотришь, что я умею ценить твое усердие и твою преданность. Да хранит

тебя Бог!» В рескрипте государь отдавал должное московскому градоначальнику:

«В 1865 г. вы были избраны Мною для занятия высокого поста генерал-губернатора первопрестольной нашей столицы. В течение тринадцати лет вы исполняете возложенные на вас обязанности с неизменным рвением, полным понимания интересов государственных и неусыпной заботливостью о нуждах всех классов московского населения. Приобретенное вами доверие и уважение со стороны этого населения сделали вас не только представителем власти и порядка, но и достойным выразителем верноподданнических и патриотических чувств московских жителей. За таковые государственные труды и доблестное полувековое служение ваше Престолу и Отечеству я считаю истинным удовольствием изъявить вам в нынешний знаменательный для вас день искреннюю Мою признательность. Вместе с тем приказом, сего числа данным, я повелел зачислить вас в лейб-гвардии конный полк. Да напоминает вам мундир этого славного полка дни ваших первых шагов на поприще государственного служения.

Пребываю к вам неизменно благосклонный искренно вас любящий и благодарный АЛЕКСАНДР»[272].

Мундир конного полка Долгоруков носил часто, как мы уже узнали из воспоминаний его современников. А когда Александр II назначил Долгорукова членом Государственного совета, то отправил ему следующую телеграмму: «Рад, что мог дать тебе новое доказательство, сколько я умею ценить твою усердную и преданную службу».

Через несколько лет не меньшую преданность и усердие князь выказал новому государю — Александру III.

Открытие Исторического музея и освящение храма Христа Спасителя стали яркими событиями торжеств по случаю коронации императора Александра III в мае 1883 года. А какой незабываемой иллюминацией встретила императора древняя столица! Это был момент настоящего триумфа Долгорукова, продолжившего верную службу на благо Москвы. Но время диктовало новые задачи.

После мученической смерти Александра II, последовавшей после покушения народовольцев 1 марта 1881 года, борьба с терроризмом стала наипервейшей задачей для вступившего на престол его сына и нового самодержца Александра III. Тот назначил Долгорукова наместником двенадцати губерний Центральной России, в новые обязанности князя входила координация деятельности по борьбе с терроризмом.

Подспорьем Долгорукову послужило Положение о мерах к

охранению государственного порядка и общественного спокойствия от 14 августа 1881 года, в соответствии с которым чрезвычайное положение могло быть введено в тех случаях, «когда проявления преступной деятельности лиц, злоумышляющих против общественного порядка и общественной безопасности, принимают… столь угрожающий характер, что вызывают необходимость особых мероприятий, направленных к прекращению сих проявлений», «когда такими посягательствами население будет приведено в тревожное состояние, вызывающее необходимость принятия исключительных мер для безотлагательного восстановления нарушенного порядка»[273].

Москва наряду с Санкт-Петербургом, Одессой и другими большими городами империи как раз и была местом, где время от времени возникало «тревожное состояние».

Долгоруков получил широчайшие полномочия:

1. Издавать обязательные постановления по предметам, относящимся к предупреждению нарушения порядка и безопасности, устанавливать нарушения и накладывать взыскания (арест до трех месяцев и штраф до 300 рублей) в административном (внесудебном) порядке.

2. Воспрещать всякие народные, общественные и частные собрания.

3. Делать распоряжения о закрытии торговых и промышленных заведений.

4. Воспрещать отдельным личностям пребывание в объявленных на положении об усиленной охране местностям (имелась в виду административная высылка на срок от года до пяти лет), до момента высылки наказуемый мог содержаться под арестом.

5. Передавать на рассмотрение военных судов дела, подсудные обычным судам, в видах ограждения общественного порядка и спокойствия; а также давать распоряжения о рассмотрении дел судами при закрытых дверях, во избежание возбуждения умов и нарушения порядка.

6. Право налагать секвестр на недвижимые и арест на движимые имущества, если доходы с них употреблялись на преступные цели.

7. Подвергать заключению в крепости, тюрьме или аресту на срок до трех месяцев или штрафу до трех тысяч рублей в административном порядке как за нарушение обязательных постановлений, так и за проступки, изъятые из ведения судов.

8. Устранять от должности на время действия положения чиновников всех ведомств (кроме лиц первых трех классов), а также служащих по выборам в сословных, земских и городских

учреждениях.

9. Право приостанавливать и закрывать собрания сословных, земских и городских учреждений.

10. Приостанавливать периодические издания на время действия положения.

11. Закрывать учебные заведения на срок не более одного месяца.

Ужесточение внутренней политики проходило и по другим направлениям.

В октябре 1883 года Долгоруков был вынужден запретить выступление Льва Толстого в Обществе любителей российской словесности в память о И. С. Тургеневе.

Председатель общества С. А. Юрьев обратился к писателю с просьбой выступить на заседании общества. Как вспоминал Толстой, «когда Тургенев умер, я хотел прочесть о нем лекцию. Мне хотелось, особенно ввиду бывших между нами недоразумений, вспомнить и рассказать все то хорошее, чего в нем было так много и что я любил в нем. Лекция эта не состоялась. Ее не разрешил Долгоруков»[274].

Причиной запрета стало указание из столицы. Главное управление по делам печати и Министерство внутренних дел слишком опасались выступления Толстого. Начальник Главного управления по делам печати Е. М. Феоктистов писал министру внутренних дел Д. А. Толстому: «Толстой — человек сумасшедший, от него следует всего ожидать; он может наговорить невероятные вещи — и скандал будет значительный». В итоге министр «предупредил» московского генерал-губернатора о необходимости цензурного контроля над всеми выступлениями на этом заседании[275].

Вряд ли это поручение было для Долгорукова приятным, он постарался максимально деликатно решить этот вопрос, велев «под благовидным предлогом» объявить заседание «отложенным на неопределенное время»[276].

Но не только Лев Толстой почувствовал изменение либеральной политики прежнего императора и ее крутой поворот на 180 градусов при Александре III. Долгоруков вынужден был корректировать свое прежде терпимое отношение к проявлению излишней свободы со стороны некоторых слоев общества. Как следствие этого — ужесточение цензуры, введенное «Временными правилами о печати» 27 августа 1882 года.

Одним из очагов вольнодумства во все времена был Московский университет, за него и взялись в первую очередь. Как генерал-губернатор Долгоруков просто обязан был отреагировать на открытое сопротивление научной и студенческой

общественности, с полным одобрением внимавшей московскому городскому голове Б. Н. Чичерину, позволившему в своем выступлении на торжественном обеде в университете 12 января 1883 года высказаться о необходимости сохранения его независимости. А упоминания о либеральной эпохе Александра II и вовсе легли на душу собравшимся. В ответ на это князь официально осудил и Чичерина, и говорунов из Московской городской думы, размечтавшихся о реформах.

В 1884 году университетский устав 1863 года был отменен, лишив университеты автономии и отдав их под полный контроль попечителей учебного округа и Министерства народного просвещения. Запретили любые студенческие объединения и студенческий суд. Контрреформы коснулись и среднего образования, ограничив доступ к образованию представителей низших сословий, и это внушило уверенность властям в снижении общественной активности хотя бы на некоторое время.

Свернули и демократию на местах, пересмотрев законы о земствах и городском самоуправлении. Их права серьезно ограничили, лишив части полномочий, которые были переданы генерал-губернатором к губернаторам с целью усиления их власти.

Таким образом, под лозунгом борьбы с терроризмом Александр III последовательно проводил в жизнь наставление своего учителя Константина Победоносцева: «С ослаблением самодержавной власти слабеет и распускается порядок и вся земля». И надо отметить, что на какое-то время террор действительно удалось погасить. Но лишь на время… По крайней мере, при Долгорукове криминальная обстановка в Москве значительно улучшилась.

Тут следует заметить, что самому Владимиру Андреевичу образ мыслей нового царя, вероятно, претил. Возьмем хотя бы веротерпимость московского генерал-губернатора. Как она, например, могла сочетаться с ужесточением политики в отношении «иноверных вероисповеданий», проводимых Александром III, утверждавшим: «Только православная церковь считается истинной русской и только русский может быть православным»?

Неслучайно, что сразу же после отставки Долгорукова его сменщик на этом посту великий князь Сергей Александрович в 1891 году выслал из Москвы 17 тысяч ремесленников-евреев. Могло ли это произойти при Долгорукове? Вряд ли, так как старый князь, как человек дальновидный, понимал, к чему может привести высылка из огромного города такого большого числа ремесленников — к ухудшению жизни остальных. Кто тогда будет

шить платья, тачать сапоги и др.? Именно так в итоге и вышло.

23 апреля 1883 года Долгоруков стал верховным маршалом при проведении коронации императора и императрицы. Именно на князя легли все хлопоты по организации и проведению торжественных мероприятий. Всех гостей (в том числе и иностранных) нужно было принять, разместить и накормить на должном уровне. Не говоря уже о членах царствующего дома.

В знак признания заслуг Долгорукова Александр III пожаловал ему в день коронации украшенный бриллиантами собственный портрет, как указано было в рескрипте, «за долговременную службу вашу, так в особенности за неусыпное попечение ваше о благоденствии душевно любимой Мною первопрестольной столицы русской». После этого награждения среди москвичей быстро распространилось мнение, что император потому наградил Долгорукова своим портретом, что все другие знаки отличия у князя уже имелись, и что поскольку вешать ордена уже некуда, то единственным свободным местом осталась шея, на которой и следовало носить новую награду.

Торжества прошли на образцовом уровне. В самый ответственный момент, во время прочувственной речи московского митрополита на крыльце Успенского собора, обращенной к августейшей чете, Александр III, как и положено, прослезился. Организованно прошел и праздник на Ходынском поле — более полумиллиона человек получили в подарок гостинцы от московского градоначальника. Кто знает, доживи Долгоруков до следующей коронации в 1896 году, быть может, и не случилось бы той смертельной давки, что ознаменовала собой начало царствования последнего русского самодержца Николая II.

16 мая 1883 года состоялось освящение храма Христа Спасителя, которое по праву может считаться событием исторического масштаба, учитывая, сколько времени потребовалось на воплощение замысла. Ведь «Высочайший манифест о построении в Москве церкви во имя Спасителя Христа» был подписан еще Александром I аж 25 декабря 1812 года!

В соответствии с царским манифестом храму суждено было стать главным памятником Отечественной войне 1812 года: «Спасение России от врагов, столь же многочисленных силами сколь злых и свирепых… есть благость Божия. В сохранение вечной памяти того беспримерного усердия, верности и любви к Вере и Отечеству… вознамерились мы в Первопрестольном граде Нашем Москве создать церковь во имя Спасителя Христа»[277].

После драматических попыток возвести храм на Воробьевых горах, окончившихся осуждением в 1835 году архитектора

А. Витберга, вторичная попытка построить храм была предпринята на Волхонке в 1839-м по проекту уже другого зодчего, К. Тона, которая и увенчалась успехом.

К 1865 году, когда Долгоруков взял в свои руки управление Москвой, основные работы были закончены, строительные леса сняли с храма в 1858 году.

Владимир Андреевич внес большой вклад в дело завершения создания храма. Как генерал-губернатор он занимал еще и должность председателя комиссии по возведению храма, искренне относясь к выполнению своих обязанностей.

Долгоруков неоднократно приезжал осматривать роспись и отделку внутреннего убранства храма Христа Спасителя. Разговаривал подолгу со скульпторами и художниками, представлявшими весь цвет российского изобразительного искусства. Принимать участие в создании храмов всегда считалось почетным среди творцов кисти и резца.

Снаружи храм украсили двойным рядом мраморных горельефов работы скульпторов Н. А. Рамазанова, П. К. Клодта и др. Скульпторы отдали почти 20 лет этой работе!

В росписи храма, длившейся четверть века, участвовали В. И. Суриков, В. П. Верещагин, А. Г. Марков, Ф. А. Бруни, Г. И. Семирадский, К. Е. Маковский… Велик был объем работ, но ведь велика была и цель — создать храм памяти Отечественной войне 1812 года.

Стоимость строительства храма превысила 15 миллионов рублей. Деньги из казны, как это часто у нас бывает, выделялись с большими трудностями, поскольку всегда найдется очередная причина, по которой можно задержать финансирование. В 1874 году Владимир Андреевич ходатайствовал перед Государственным советом об увеличении расходов на отделку храма. Просьба его была удовлетворена. Если бы не Долгоруков, то строительные работы закончились бы дай бог к началу XX века.

Один из русских писателей, в произведениях которого живет образ Долгорукова, — Иван Шмелев. В его рассказе «Царский золотой» один из героев вспоминает о своем участии в строительстве храма: «Годов шесть тому было. Роботали мы по храму Христа Спасителя, от больших подрядчиков. Каменный он весь, а и нашей роботки там много было… помосты там, леса ставили, переводы-подводы, то-се… обшивочки, и под кум-полом много было всякого подмостья. Приехал государь поглядеть, спорные были переделки. В семьдесят в третьем, что ли, годе, в августе месяце, тепло еще было. Ну, все подрядчики, по такому случаю, артели выставили, показаться государю, царю-

освободителю, Лександре Николаичу нашему. Приодели робят в чистое во все. И мы с другими, большая наша была артель, видный такой народ… худого не скажу, всегда хорошие у нас харчи были, каши не поедали — отваливались. Вот государь посмотрел всю отделку, доволен остался. Выходит с провожатыми, со всеми генералами и князьями. И наш, стало быть, Владимир Ондреич, князь Долгоруков, с ними, генерал-губернатор. Очень его государь жаловал». В этом отрывке выражено многое, но главное, что автор очень точно передает отношение простого народа к Долгорукову, называя его «наш князь»[278].

Храм строился при четырех императорах и семи генерал-губернаторах Москвы. Даже архитектор Константин Тон не дожил до освящения своего детища — в 1880 году его принесли к подножию храма на носилках — ему было уже за восемьдесят. Он хотел подняться, чтобы взойти по ступеням в храм, но таки не собрался с силами. Очевидцы запомнили его глаза, наполнившиеся слезами.

Наконец к 1883 году, то есть через 70 лет после опубликования манифеста и через 44 года с начала строительства, все работы завершились, были также приобретены для размещения духовенства и причта близлежащие дома, изготовлены утварь и облачения, устроены новая площадь и набережная. Храм-красавец, построенный в русско-византийском стиле, стал важнейшей архитектурной доминантой старой Москвы.

На освящение храма прибыли вся царская семья, иностранные принцы, дипломаты.

Как вспоминал очевидец, «вся Москва видела это торжество, и несомненно, оно надолго останется в памяти москвичей и всех тех, кого осчастливила судьба видеть это… Внутри храма, в левом его углу, северном, стояли ветераны Отечественной войны; для отдыха им были подготовлены скамьи. Перед выходом из храма государь император изволил подходить к ветеранам и милостиво с ними беседовал. Их, как и следовало ожидать, было немного. Все были удрученные годами старцы. Каждый из них был с Георгием на груди. Надо себе представить, что чувствовали они, свидетели былой русской славы, при виде русской славы наших дней».

Русскую славу наших дней, о которой пишет мемуарист, олицетворял и Владимир Андреевич Долгоруков. И хотя по возрасту он не мог участвовать в Отечественной войне 1812 года, но для увековечения памяти о тех героических событиях он сделал немало.

Государь Александр III так оценил его заслуги в своем рескрипте: «Князь Владимир Андреевич! Сооружение этого величественного памятника производилось особой комиссией, состоявшею в течение последних восемнадцати лет под председательством и ближайшим руководством вашим.

Удостоверяясь лично в блистательном исполнении этого обширного и трудного дела и изъявляя вам искреннюю мою признательность, а равно и благодарность всем лицам, входившим в состав комиссии, жалую вам украшенную бриллиантами медаль в память открытия храма для ношения на груди на Андреевской ленте»[279].

Большой мастер в организации балов, на третий день коронации 17 мая 1883 года Долгоруков дал такой бал, который по роскоши затмил все прежние. На празднество съехалось более полутора тысяч гостей — императорская семья, дипломатический корпус, московская аристократия и пр. Уже задолго до подъезда к генерал-губернаторскому дому на Тверской гости могли услышать звуки государственного гимна, исполняемого оркестром, находящимся на площади перед особняком. Сама площадь и фасад здания были пышно украшены.

У входа в дом именитых гостей встречал сам генерал-губернатор. Государь император появился на празднике в том же мундире лейб-гвардии конного полка, что и хозяин бала Долгоруков. Императрице князь преподнес букет цветов.

Первую кадриль начал император, рука об руку с королевой Греции, императрицу же вел в танце Владимир Андреевич. Закончилось все торжественным банкетом, под утро.

Надолго запомнились москвичам торжества по случаю освящения храма, по размаху сравнимые с празднованием Пушкинского юбилея.

15 мая 1886 года Долгоруков вновь удостоился высочайшей чести, получив от Александра III бриллиантовые знаки ордена Святого апостола Андрея Первозванного, что считалось особой формой отличия.

А было Владимиру Андреевичу уже 76 лет…

Апофеозом признания заслуг князя стало празднование четвертьвекового юбилея его службы генерал-губернатором Москвы. 31 августа 1890 года в храме Христа Спасителя собрались лучшие люди Первопрестольной. К девяти часам утра в собор уже прибыли чиновники гражданского и военного ведомств, руководители учебных заведений, делегаты городских и общественных управлений, а также дамы высшего света. Все были при полном параде.

В десять часов митрополит Московский Иоанникий начал

торжественную службу. Наконец в 11 часов появился и сам Долгоруков, принявший участие в литургии по случаю собственного юбилея. Затем митрополит обратился к нему с речью: «Редко, чтобы кто-либо прослужил 25 лет в одном и том же месте и на одном поприще и чтобы кто-либо прослужил четверть века на таком высоком посту, какой занимаете вы — явление исключительное и едва ли не беспримерное», тем самым сформулировав одну из главных особенностей служения Долгорукова в Москве.

Напоследок митрополит преподнес сиятельному князю икону Рождества Иисуса Христа как «напоминание о трудах, поднятых Вами при окончании, созидании и благоукрашении сего величественного храма». Приняв икону, Долгоруков вышел на крыльцо храма и увидел многотысячную толпу москвичей, приветствовавших своего градоначальника криками «ура». Поклонившись в ответ на проявление народом своих чувств, Долгоруков сел в карету и направился в свой особняк на Тверской, где в два часа должен был начаться торжественный прием.

Дом генерал-губернатора был переполнен гостями, достаточно сказать, что приглашено было 120 депутаций, а пришло 280. Поздравления раздавались одно за другим. И кто только не пришел в этот день, чтобы разделить радость с юбиляром! Московское духовенство, командование Московского военного округа в лице командующего генерал-лейтенанта А. С. Костанды, руководители соседних губерний, начальственные лица Московской губернии, дипломаты и многие другие…

Все поздравления сопровождались подношением адресов, выполненных на любой вкус и цвет, из ценных пород дерева, украшенных золотом и серебром.

Многие дарили юбиляру иконы. Но были и подарки иного рода. Например, дворяне Московской губернии собрали капитал на учреждение в Московском университете Долгоруковских стипендий для студентов из потомственных дворян.

Московская полиция внесла капитал в пять тысяч рублей для воспитания на проценты с него одного бедного ребенка из лиц, служащих в полиции. А в Глазной больнице была учреждена койка имени Долгорукова. Московская городская дума в полном составе поднесла князю свой приговор об учреждении в Екатерининской богадельне отделения имени князя на 60 кроватей, а городской голова Н. А. Алексеев лично пожертвовал шесть тысяч рублей на стипендии имени Долгорукова в университете.

Отвечая думцам, Владимир Андреевич сказал, что их

решение всецело отвечает его желанию, как истинно доброе дело для наиболее несчастных жителей города Москвы. Юбиляр принимал поздравления два дня. Для каждого гостя нашел он доброе слово, каждому ответил и выразил благодарность. А вечером центр Москвы вспыхнул блестящей иллюминацией, особенно выделялась Тверская улица, перекрытая для народных гуляний, продолжавшихся дотемна. Торжество закончилось вечерним приемом 2 сентября, на который князь пригласил три тысячи человек.

Это был последний юбилей князя, превзошедшего всех своих предшественников по числу лет, которые он провел на посту генерал-губернатора. И ведь что занятно — каждую пятилетку его службы в Москве отмечали как в последний раз — с подарками, подношениями и заверениями в преданности. Наверное, тезоименитство императоров не праздновалось в Москве так, как юбилеи Долгорукова. Москвичи привыкли к нему, он отвечал им тем же: «К Владимиру Андреевичу, крайне доступному, обращались все с просьбами самого разнородного, порою фантастического, но в общем всегда сверх законного порядка; князь обещал всем, а очень многим помогал своим крупным авторитетом и обширными связями в делах, по роду своему не подходивших ни к какому административному учреждению. Как ни мягок и по-магнатски вежлив был Владимир Андреевич, но в его просьбе слышался приказ, и не исполнить ее не решался никто. Он любил Москву, в которой чувствовал себя почти на положении старого удельного князя. Он знал свою Москву, и Москва знала и любила его»[280].

А как же было не любить такого почти что своего человека. Ведь ему было свойственно многое из того, что так уважали москвичи. Так, известна была его религиозность. Присутствовать на торжественных молебнах в кремлевских соборах он был обязан по должности. Но Долгорукова не раз видели и на богослужениях в маленьких тесных церквях, спрятавшихся в московских переулках, причем, не желая быть узнанным, князь приходил часто не в мундире, а в партикулярном статском платье. А сколько раз его видели в домовом храме Московского университета на Татьянин день!

Была у него еще одна привязанность. Долгоруков, например, любил попариться в популярнейших Сандуновских банях, где для него в отдельном номере семейного отделения всегда были приготовлены серебряные тазы и шайки, хотя у князя в особняке были мраморные ванны. И все знали, что он любит Сандуны, и за это тоже уважали его. Была в самом факте посещения Долгоруковым Сандунов некая объединяющая его с остальными

москвичами традиция.

Быть может, любовь к русской бане и березовым веникам и позволила Владимиру Андреевичу сохранить до преклонных лет отличную выправку и офицерскую стать. Не злоупотреблял он и всякого рода нехорошими излишествами: «Это был генерал еще николаевских времен, и по внешнему виду напоминавший эти или даже еще александровские времена, с зачесанными кверху височками, с нафабренными усами, невысокого роста, затянутый в мундир, в эполетах, с бесчисленными орденами на груди… Говорили, что он носит парик, что красится, что под мундиром носит корсет… Это был бодрый и даже молодцеватый старик-генерал»[281].

Но ведь и удельные князья стареют и болеют, особенно когда им за восемьдесят. И вскоре после грандиозно отпразднованного юбилея Владимир Андреевич запросился в отставку, последовавшую 26 февраля 1891 года. Так Москва получила нового генерал-губернатора — великого князя Сергея Александровича.

Правда, злые языки утверждали, что Долгоруков ушел не сам, а его «ушли». Дескать, из-за своих «напряженных отношений с царской семьей». И то правда — генерал-губернатор не упускал случая дать почувствовать царствующему дому, что происходит из древнего рода. А двор с трудом терпел его и, в конце концов, вынудил подать в отставку. А сам Владимир Андреевич уходить не собирался — хотел умереть в Москве, здесь, среди своих. Узнав же об отставке, сначала не поверил, прослезился и спросил: «А часовых… часовых около моего дома оставят? Неужели тоже уберут… и часовых?!» И часовых тоже убрали.

Как писал Влас Дорошевич, с отставкой Долгорукова «барственный период «старой Москвы» кончился. Пришли новые люди на Москву, чужие люди. Ломать стали Москву. По-своему переиначивать начали нашу старуху. Участком запахло. Участком там, где пахло романтизмом. И только в глубине ушедшей в себя, съежившейся Москвы накопилось, кипело, неслышно бурлило недовольство. Кипело, чтобы вырваться потом в бешеных демонстрациях, в банкетах и митингах, полных непримиримой ненависти, в безумии баррикад»[282].

Лишенный смысла существования, вырванный из привычного ритма жизни, отъятый из любимой Москвы бывший градоначальник выехал подлечиться… конечно, во Францию. Ведь, как мы уже знаем из жизнеописаний других генерал-губернаторов Москвы, после отставки многие из них уезжали именно во Францию. И так же как и Д. В. Голицын, Долгоруков в Париже и скончался 20 июня 1891 года.

Вскоре после его смерти в Москве огласили духовное завещание князя: «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. 1885 года Июля 17-го дня, я, нижеподписавшийся, Московский генерал-губернатор, генерал-адъютант, генерал от кавалерии, князь Владимир Андреевич Долгоруков, находящийся в здравом уме и твердой памяти, составил это духовное завещание в следующем:

1. Я желаю, чтобы по кончине моей тело мое было положено в простой дубовый гроб, необитый парчею, перевезено до станции Николаевской железной дороги в Москве и со станции той же дороги до кладбища в С.-Петербурге на простых дрогах, запряженных парою лошадей, и предано было земле на Смоленском кладбище в С.-Петербурге, в фамильном склепе, подле могилы жены моей, без приглашения к отпеванию тела моего войска.

2. Распоряжения по погребению тела моего прошу принять на себя генерал-адъютанта Николая Васильевича Воейкова, действительного тайного советника Александра Павловича Дегая, почт-директора Московского Почтамта действительного статского советника Семена Сергеевича Подгорецкаго и Московскаго вице-губернатора князя Владимира Михайловича Голицына. Аминь»[283].

Похоронили Владимира Андреевича, как он и просил, в Санкт-Петербурге, рядом с женой Варварой Васильевной Долгоруковой (1818–1866), дочерью обер-шталмейстера, действительного тайного советника князя В. В. Долгорукова. Упоминаемый в документе Николай Васильевич Воейков — зять Владимира Андреевича, обер-камергер Н. В. Воейков, к которому князь относился с неизменной симпатией.

Но самым содержательным было второе завещание, по которому большую часть своего состояния Долгоруков жертвовал на благотворительность, и после смерти захотев остаться верным своим принципам поддержки бедных и неимущих: «Прошу также выдать государственными бумагами по нарицательной цене для пользования процентами:

а) по три тысячи рублей — приюту моего имени в Москве в ведомстве Московского Совета Детских приютов, бесплатной лечебнице моего имени в Москве, состоящей при Комитете «Христианская Помощь» Российского Общества Красного Креста, и Ломоносовской семинарии, состоящей при Лицее Цесаревича Николая в Москве, для учреждения стипендий;

б) по две тысячи — больнице имени Его Императорского Величества Государя Императора Александра П1-го, убежищу для увечных воинов в селе Всесвятском, где находится дом имени моего; ремесленному училищу моего имени при Мясницком

отделении больницы для чернорабочих в Москве; Православному Миссионерскому Обществу в Москве; Кирилло-Мефодиевскому Обществу в Москве для содержания церковно-приходских училищ; Мариинскому Приюту Московского Общества попечения о детях лиц, ссылаемых по судебным приговорам в Сибирь; Комиссии публичных народных чтений, состоящей при Императорском Обществе распространения полезных книг, и Московскому Художественному Обществу, для ежегодной выдачи из процентов премий лучшему ученику класса живописи;

в) по одной тысяче рублей — мастерской для бесприютных моего имени в Москве, Православному Свято-Никольскому братству в городе Ковно, отделу распространения духовно-нравственных книг Общества Любителей Духовного Просвещения в Москве, Московской Покровской Епархиальной Общине сестер милосердия, Александровской Общине сестер милосердия «Утоли моя печали» в Москве, Обществу Любителей церковного пения, Московскому Благотворительному Обществу 1837 года, Московской Глазной больнице, лечебнице для приходящих больных Московского Попечительного о бедных комитета Императорского Человеколюбивого Общества, бесплатной лечебнице для бедных, учрежденной военными врачами в Москве; богадельне в селе Васильевском Ржевского уезда, Тверской губернии; богадельне для престарелых женщин, состоящей при 1-м Басманном отделении Дамского Попечительства о бедных в Москве; Московскому Комитету для оказания пособий пострадавшим от народных бедствий; Комиссии снабжения бесплатно топливом беднейших жителей Москвы; Московскому Обществу пособия несовершеннолетним, освобожденным из мест заключения; Стрекаловской женской ремесленной школе Общества Поощрения Трудолюбия в Москве и Императорскому Обществу для содействия Русскому Торговому Мореходству в Москве, для ежегодной выдачи из процентов пособий беднейшим ученикам мореходных классов на Белом море;

г) по пятисот рублей — Благотворительному Обществу при 1-й Московской больнице, таковому же Обществу при второй Московской Городской больнице, Ольгинскому Благотворительному Обществу при больнице имени Императора Александра III-го в Москве, Благотворительному Обществу при Императорской Екатерининской больнице в Москве, таковому же Обществу при Московской Мариинской больнице и Московскому Обществу бывших университетских воспитанников;

д) Императорскому Московскому Университету две тысячи рублей для взноса из процентов с этой суммы платы за слушание лекций недостаточными студентами;

е) Вяземскому приюту моего имени, состоящему при Вяземском (Смоленской губернии) благотворительном комитете — одну тысячу рублей»[284].

Мы не зря привели столь полный список тех учреждений, которым Долгоруков завещал свой капитал, чтобы у читателя сложилось твердое убеждение, что Владимир Андреевич никого не забыл. Настолько щедрый это был человек.

Все, кому посчастливилось работать под началом князя, вспоминали его добрым словом. Даже свою одежду и личные вещи он завещал камердинерам, не говоря уже о тех, кто служил с ним: «Назначаю выдачи всем лицам, которые будут находиться у меня в услужении по частному найму в день моей смерти, а равно и низшим служителям из числа состоящих у меня лично в услужении по должности моей Московского генерал-губернатора, а именно:

а) в размере трехгодового жалованья камердинеру,

б) в размере двухгодового жалованья его помощнику,

в) в размере годового жалованья всем остальным и

г) по сто пятидесяти рублей сержантам казенного генерал-губернаторского дома в Москве: Гавриле Ремизову, Василию Каверину и Василию Корягину и тем курьерам, которые будут находиться на моей половине».

А что же семья? Своей единственной дочери Варваре Владимировне Воейковой Долгоруков оставил то, что в день его смерти находилось в его доме: фамильные портреты, бюсты, скульптуру, вазы, фарфор, старинное и драгоценное оружие, изделия из бронзы и слоновой кости, все, кроме подарков, подаренных им еще при жизни Московскому Публичному и Румянцевскому музеям (подношения к юбилеям). Но поскольку дочь отказалась вступить в наследство, то имущество передали внукам князя.

Остальное же Долгоруков приказал продать с аукциона и, присовокупив к своему капиталу в 60 тысяч рублей, заплатить долги, а также раздать бедным. Кстати, долгов он имел немного, что противоречит распространенному мнению, будто он остался должен после смерти. Владимир Гиляровский не преминул укольнуть его: «Старый холостяк, проживший огромное состояние и несколько наследств, он не был кутилой, никогда не играл в карты, но любил задавать балы и не знал счета деньгам, даже никогда не брал их в руки»[285]. Долгов у Долгорукова оказалось чуть более десяти тысяч рублей.

Домашние иконы, подаренные ему ко многим юбилеям, Долгоруков завещал отправить в домовую церковь при особняке генерал-губернатора на Тверской, а также в Новодевичий

монастырь, Троице-Сергиеву лавру. Остается лишь процитировать фразу одного из современников князя: «Вот как любил Москву и Москвичей ея уроженец и вечно памятный генерал-губернатор!»[286]

Вся жизнь Владимира Андреевича Долгорукова, его завещания говорят нам о том, что он обладал целым букетом редких нравственных качеств, которых хватило бы на десяток градоначальников: уважение к людям вне зависимости от сословия, к которому они относились, деликатность и внимательность, доброта и щедрость, типично русские хлебосольство и гостеприимство, завидное чувство юмора и самоирония (компенсировавшее его небольшой рост, высокие каблуки и накладку на голове). Все это позволило ему стать образцом для современников. А его огромный опыт, полученный еще на армейской службе и пополненный в течение двадцати пяти лет начальства над Москвой, позволил ему превратить патриархальную Москву в современную европейскую столицу.

Об этом говорили и в день столетия со дня рождения князя, празднично отмечавшегося в Москве 3 июля 1910 года. Более сорока сословных, общественных благотворительных обществ приняли участие в чествовании памяти своего бывшего генерал-губернатора. Говорили много хороших слов. В домовой церкви генерал-губернаторского дома была отслужена торжественная заупокойная обедня, а затем панихида в присутствии чинов администрации, бывших сослуживцев Владимира Андреевича, а также многочисленных делегатов от разных московских учреждений и общественных деятелей. Бывший духовник князя, протоиерей Зверев, сказал прочувственное слово по адресу покойного. В вестибюле был выставлен портрет князя, увенчанный его гербом и с датами: 1810–1910, а также фотографический снимок с его кабинета. Все это утопало в зелени и цветах, вспоминал Владимир Джунковский, служивший некоторое время с Долгоруковым[287].

За годы удельного княжения в Москве Долгорукова осыпали многими милостями. В мае 1867 года ему присвоили чин полного генерала — от кавалерии. С 1881 года он состоял членом Государственного совета. В 1882 году князя зачислили в казачье сословие Астраханского казачьего войска со званием почетного казака. А на мундире его осталось еще меньше места — помимо полученных до этого, князь был удостоен и других высших российских орденов: Святого Владимира 1-й степени в 1870 году, Святого апостола Андрея Первозванного в 1874 году. А в августе 1890 года император удостоил его собственным бриллиантовым

портретом для ношения оного на Андреевской ленте.

В своем высочайшем рескрипте, «данном на имя московского генерал-губернатора и генерал-адъютанта Москвы князя В. А. Долгорукова» 31 августа 1890 года, Александр III как бы подвел итог деятельности Владимира Андреевича: «Князь Владимир Андреевич! Двадцать пять лет тому назад в Бозе почившему Родителю Моему благоугодно было призвать вас на высокий и ответственный пост Московского генерал-губернатора. В течение всего этого времени, являясь верным выразителем священных исторических преданий и веками испытанной верноподданнической преданности горячо любимой Мною Первопрестольной столицы, вы неусыпно заботились о многообразных ея нуждах и всеми мерами содействовали ея благоденствию и благоустройству». Читая эти строки в тот знаменательный день, Долгоруков плакал.

Но самой главной наградой ему было звание почетного гражданина Москвы, города, с которым князь был кровно связан и с успехом управлял четверть века, что позволяет нам сегодня назвать этот период эпохой. И потому так приятно сегодня нам, современным москвичам, знать, что есть на карте нашей столицы имя Долгорукова.

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В. А. ДОЛГОРУКОВА

1810, 3 июля — в Москве родился князь Владимир Андреевич Долгоруков, став одиннадцатым ребенком в семье.

1827 — поступил в Школу гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров в Санкт-Петербурге.

1829, 14 апреля — произведен в корнеты.

1830–1831 — участник подавления Польского восстания 1830–1831 годов, отличился в сражении под Жолтками, в составе лейб-гвардейского кавалерийского полка из отряда великого князя Михаила Павловича участвовал в штурме Варшавы, награжден орденом Святой Анны 3-й степени с бантом «в воздаяние отличного мужества и храбрости, оказанных при штурме варшавских укреплений».

1833 — произведен в поручики, назначен адъютантом военного министра А. И. Чернышева, в последующие годы неоднократно выезжает в командировки с целью проведения ревизий различных гарнизонов и военных частей министерства.

1836 — награжден орденом Святого Владимира 4-й степени, участвует в Кавказской войне, в военной экспедиции за реку Кубань. За отличие и храбрость в сражениях Долгорукову присваивают внеочередное воинское звание штабс-ротмистра.

1841 — произведен в ротмистры, отправлен в командировку в ряд крупнейших губерний России для сбора информации об урожаях и осмотра интендантских учреждений.

1844 — произведен в полковники с назначением для особых поручений к военному министру.

1845 — отправлен в Казань, назначен во временную комиссию по проведению торгов на поставку 170 тысяч кулей муки и 17 тысяч четвертей овса для «санкт-петербургских и попутных магазинов».

1847 — назначен вице-директором Провиантского департамента Военного министерства, пожалован во флигель-адъютанты Е. И. В.

1848 — присвоен чин генерал-майора свиты Е. И. В., назначен генерал-провиантмейстером, главой Провиантского департамента Военного министерства. В этой должности ему предстояло прослужить до 1856 года.

1856 — назначен членом военного совета.

1857 — повышен в чине до генерал-лейтенанта.

1865, 30 августа — император Александр II назначил Владимира Андреевича Долгорукова генерал-губернатором Москвы. На новом посту он начал с осуществления в Москве Земской реформы и перестройки системы городского самоуправления. На долгоруковскую эпоху приходится бурный расцвет развития Москвы как научного, культурного, экономического и промышленного центра Российской империи.

1874 — награжден орденом Святого апостола Андрея Первозванного.

1875 — за заслуги перед городом удостоен звания почетного гражданина Москвы.

1877 — по просьбе жителей Новослободской улицы ее переименовали в Долгоруковскую.

1890, август — торжественное празднование 25-летия работы Долгорукова на посту московского генерал-губернатора. По оценке историка И. Е. Забелина, этот период стал «замечательной, славной эпохой в устройстве древнего Царского и Царствующего города… Древняя столица совсем изменила свой облик и приобрела не только внешнюю строительную красоту, но и новое, лучшее устройство внутренней жизни… процветание городского быта во всех видах и отношениях».

1891, 26 февраля — отправлен в отставку, затем выехал на лечение во Францию.

20 июня — скончался в Париже, похоронен (согласно завещанию) в Санкт-Петербурге.

БИБЛИОГРАФИЯ

А. Н. Островский в воспоминаниях современников. М.» 1966.

Васькин А. А., Гольдштадт М. Г. От Волхонки до Знаменки. М.» 2008.

Васькин А. А. Архитектура и строительство московских вокзалов. М., 2007.

Вишневский А. Н. Князь В. А. Долгоруков, в память столетнего дня его рождения. М., 1910.

Гиляровский В. А. Москва и москвичи. М., 1983.

Гиляровский В. А. Москва газетная. М., 1934.

Гольденвейзер А. Б. Вблизи Толстого. М., 1959.

Джунковский В. Ф. Воспоминания. М., 1994.

Дорошевич В., Лентовский М. В. Поэма из московской жизни. Маг и волшебник. Театральная критика Власа Дорошевича. Минск, 2004.

Духовные завещания князя Владимира Андреевича Долгорукова // Русский архив, 1896. Кн. 2. Вып. 4. С. 581–587.

Казанцев В. С. Древнерусский род князей Долгоруковых и его сиятельство князь В. А. Долгоруков. В память 25-летия управления его Москвою. М., 1891.

Климова Л. В. Взаимодействие генерал-губернаторов с центральными и местными органами управления во второй половине XIX века // Наше Отечество. М., 2009. Вып. VII.

Кузовлева О. В. Управление Москвой: взгляд в прошлое // Московский архив. 1999. Вып. 2.

Москва в 1870—1880-х гг. // *Богословский М. М.* Историография, мемуаристика и эпистолярия. М., 1987.

Московская консерватория: От истоков до наших дней. 1866–2003. М., 2005.

Петров Ф. А., Фалалеева М. В. Князь В. А. Долгоруков. Правитель Первопрестольной. М., 2010.

Петров Ф. А., Фалалеева М. В. Московский генерал-губернатор князь В. А. Долгоруков // Московский журнал. 2010. Приложение 2.

Селезнев Ю. И. Достоевский. М., 1981 (серия «ЖЗЛ»).

100-летие Московской практической академии коммерческих наук. М., 1910.

Ушедшая Москва. Воспоминания современников о Москве второй половины XIX века. М., 1964.

Шмелев И. С. Избранные сочинения: В 2 т. Т. 2. Рассказы. Богомолье. Лето Господне. М., 1999.

Яровинский М. Я. Здравоохранение Москвы. М., 1988.

ИЛЛЮСТРАЦИИ

Ф. В. Ростопчин. Художник О. А. Кипренский. 1809 г.

Е. П. Ростопчина, супруга графа.

Художник О. А. Кипренский. 1809 г.

Граф Ф. В. Ростопчин.

Художник Н. И. Тончи. 1800 г.

Дом Ф. В. Ростопчина на Большой Лубянке.

Современное фото

Лошадь ростопчинской породы.

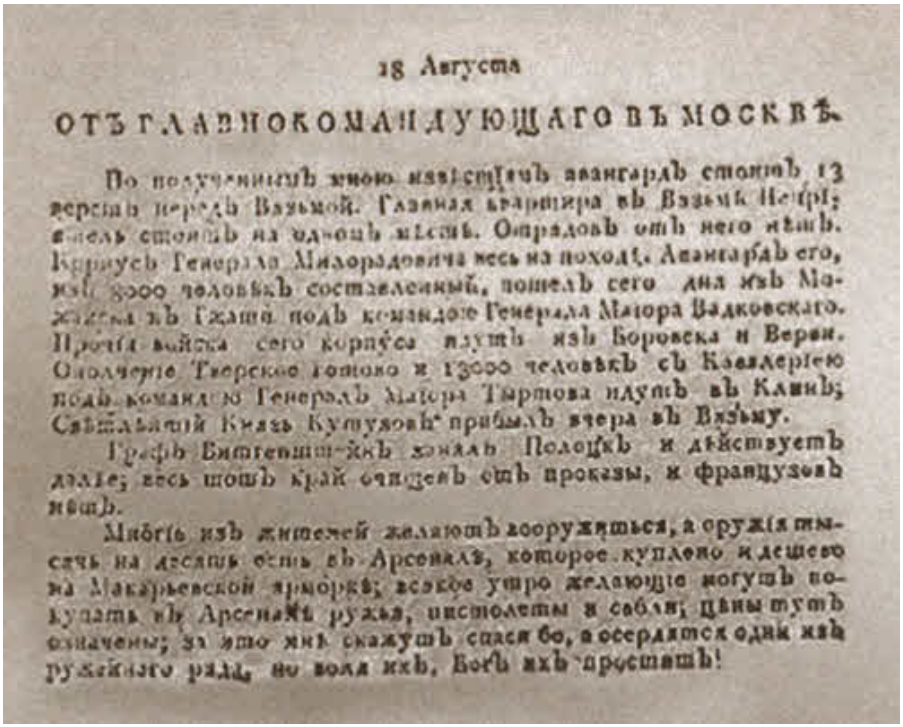
С картины Н. Е. Сверчкова

«Граф Ростопчин и купеческий сын Верещагин на дворе губернаторского дома в Москве».

Акварель А. Д. Кившенко. 1877 г.

«Пожар Москвы».

Художник А. Ф. Смирнов. 1810-е гг.



18 Августа

ОТЪ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩАГО ВЪ МОСКВѢ.

По полученнымъ мною извѣстіямъ авангардъ стоитъ 13 верстъ передъ Вязьмой. Главная квартира въ Вязьмѣ Неприятель вчера стоялъ на одной мѣстѣ. Отрядовъ отъ него нѣтъ. Корпусъ Генерала Милорадовича весь на походѣ. Авангардъ его, изъ 8000 человѣкъ составленный, пошелъ сего дня изъ Можайска въ Гжатскъ подъ командою Генерала Маіора Вадковскаго. Прочія войска сего корпуса идутъ изъ Боровска и Верей. Ополченіе Тверское готово и 12000 человѣкъ съ Кавалеріею подъ командою Генералъ Маіора Тыртова идутъ въ Клинъ; Свѣтлѣйшій Князь Кутузовъ прибылъ вчера въ Вязьму.

Графъ Витгенштейнъ занялъ Полоцкъ и дѣйствуетъ далѣе; весь тотъ край очищенъ отъ прокази, и французовъ нѣтъ.

Многіе изъ жителей желаютъ вооружиться, а оружія тысячи на десять стоятъ въ Арсеналѣ, которое куплено и дешево на Макарьевской ярмаркѣ; всякое утро желающіе могутъ покупать въ Арсеналѣ ружья, пистолеты и сабли; цѣны тутъ означены; за что имъ скажутъ спасибо, а осердятся одни изъ рукодѣльныхъ рядовъ, не ваша ихъ, Богъ ихъ проститъ!

Ростопчинская афиша от 18 августа 1812 года

Д. В. Голицын. Художник Дж. Доу. 1823 г.

Прадед Д. В. Голицына, генерал-аншеф Г. П. Чернышев.

Неизвестный художник. Середина XVIII в.

Н. П. Голицына, мать Д. В. Голицына.

Художник Б. Ш. Митуар 1810-е гг.

Д. В. Голицын в молодости.

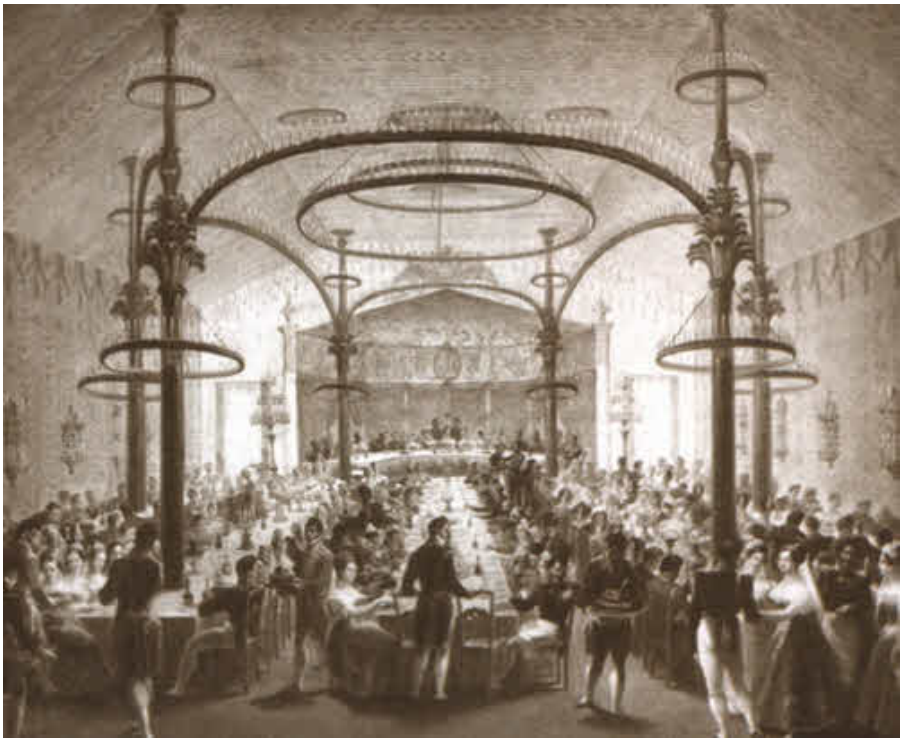
Художник Х. Д. Гамильтон. 1791 г.

Т. В. Голицына (урожденная Васильчикова), супруга князя.

Художник Ф. Н. Рисе. 1835 г.

Резиденция московского генерал-губернатора.

С литографии А. Кадоля. Первая четверть XIX в.



Парадный обед в честь московского градоначальника Д. В. Голицына.

Неизвестный художник. 1830-е гг.

А. А. Закревский. Художник Дж. Доу. 1824 г.

А. Ф. Закревская, супруга губернатора.

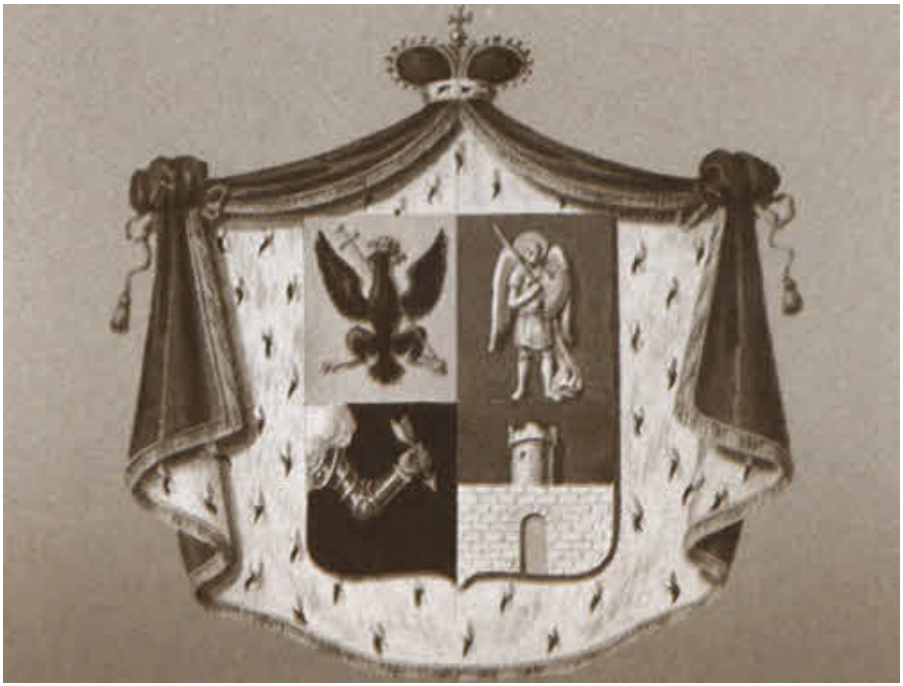
Художник Дж. Доу. 1823 г.

Первый вокзал в Москве — Петербургский. Открыт при А. А. Закревском.

Фото 1914 г.

В. А. Долгоруков в мундире лейб-гвардии Конного полка.

Художник В. О. Шервуд. 1882 г.



Герб князей Долгоруковых

Дом градоначальника на Тверской улице

Исторический музей в Москве. Открыт благодаря В. А. Долгорукову.

Фото 1884 г.

Политехнический музей в Первопрестольной. Основан при В. А. Долгорукове.

Фото 1884 г.

Так выглядела Красная площадь до строительства Верхних торговых рядов.

1880 г.

Новые Верхние торговые ряды на Красной площади.

Фото XIX в.

Памятник героям Плевны. Открыт благодаря В. А. Долгорукову.

Фото начала XX в.

Памятник А. С. Пушкину в Москве.

Открыт в 1880 году при градоначальнике В. А. Долгорукове

Храм Христа Спасителя на Волхонке.

Фото XIX в.

INFO

Васькин А. А.
В 19 Московские градоначальники XIX века/ Александр Васькин. — М.: Молодая гвардия, 2012. — 294[10] с.: ил. — (Жизнь замечательных людей: сер. биогр.; вып. 1395).

ISBN 978-5-235-03532-4

УДК 94(470-25)-057.17 "18"
ББК 63.3(2-2Мос)52

Васькин Александр Анатольевич
МОСКОВСКИЕ ГРАДОНАЧАЛЬНИКИ XIX ВЕКА

Редактор *Л. А. Барыкина*
Художественный редактор *Е. В. Кошелева*
Технический редактор *В. В. Пилкова*
Корректоры *Т. И. Маляренко, Г. В. Платова*

Сдано в набор 29.02.2012. Подписано в печать 10.07.2012. Формат 84x108/32. Бумага офсетная № 1. Печать офсетная. Гарнитура «Newton». Усл. печ. л. 15,96 + 0,84 вкл. Тираж 4000 экз. Заказ № 1209920.

Издательство АО «Молодая гвардия». Адрес издательства: 127055, Москва, Сущевская ул., 21. Internet: http://gvardiya.ru. E-mair.dsel@gvardiva.ru

ARVATO ЯПК
Отпечатано в полном соответствии с качеством предоставленного электронного оригинал-макета в ОАО «Ярославский полиграфкомбинат» 150049, Ярославль, ул. Свободы, 97

СТАРЕЙШАЯ РОССИЙСКАЯ КНИЖНАЯ СЕРИЯ ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

Уже изданы и готовятся к печати:

Е. Матонин «ИОСИП БРОЗ ТИТО»
М. Одинцов «ПАТРИАРХ СЕРГИЙ»
И. Курукин «АННА ЛЕОПОЛЬДОВНА»
В. Есипов «ШАЛАМОВ»
Г. Чернявский «РУЗВЕЛЬТ»
Н. Демурова «ЛЬЮИС КЭРРОЛЛ»
Л. Анисарова «НОВИКОВ-ПРИБОЙ»
Л. Ивченко «КУТУЗОВ»
А. Сергеева-Клятис «БАТЮШКОВ»
Ф. Бедарида «ЧЕРЧИЛЛЬ»
В. Козляков «ГЕРОИ СМУТЫ»
А. Ливергант «СОМЕРСЕТ МОЭМ»
А. Архангельский «АЛЕКСАНДР I»
В. Филимонов «АНДРЕЙ ТАРКОВСКИЙ»

Что свидетельствует ныне о быте ушедших эпох? Как выглядели жившие в них люди? Как были одеты, причесаны, как развлекались и любили друг друга, чем украшали себя женщины, какие кушанья подавались к столу, что считалось приличным, а что возмутительным? На эти и множество подобных вопросов ответят книги новой серии

ЖИВАЯ ИСТОРИЯ:
ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

Уже изданы и готовятся к печати:

Л. *Петрушенко*
ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ СРЕДНЕВЕКОВОЙ ЕВРОПЫ
Е. Акельев
ЖИЗНЬ ВОРОВСКОГО МИРА МОСКВЫ
ВО ВРЕМЕНА ВАНЬКИ КАИНА
О. Ковалик
ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ БАЛЕРИН
РУССКОГО ИМПЕРАТОРСКОГО ТЕАТРА

Б. Ковалев
ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ
В ПЕРИОД НАЦИСТСКОЙ ОККУПАЦИИ
С. Экштут
ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ РУССКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ
ОТ ЭПОХИ ВЕЛИКИХ РЕФОРМ ДО СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА
Ж. П. Креспель
ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ ИМПРЕССИОНИСТОВ. 1863—1883
Е. Глаголева
ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ МАСОНОВ В ЭПОХУ ПРОСВЕЩЕНИЯ
С. *Шокарев*
ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ СРЕДНЕВЕКОВОЙ МОСКВЫ
Ю. Батурин
ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ РОССИЙСКИХ КОСМОНАВТОВ
А. Митрофанов
ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ РУССКОГО ПРОВИНЦИАЛЬНОГО
ГОРОДА В XIX ВЕКЕ: ПОРЕФОРМЕННЫЙ ПЕРИОД

НОВАЯ КНИЖНАЯ СЕРИЯ ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ: *МАЛАЯ СЕРИЯ*

Уже изданы и готовятся к печати:

В. Борисов «ЗВОРЫКИН»
Л. Сексик «ЭЙНШТЕЙН»
Д. Володихин «МАЛЮТА СКУРАТОВ»
В. Эрлихман «РОБИН ГУД»
Б. Григорьев «КОРОЛЕВА КРИСТИНА»

СЕРИЯ «ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ»

ВЫШЛА В СВЕТ КНИГА:

Я. Гордин
ЕРМОЛОВ

Алексей Петрович Ермолов — одна из самых крупных и загадочных фигур русского генералитета всех времен. Воспитавший себя на героических жизнеописаниях Плутарха, европейской рыцарской поэзии, мечтавший о лаврах Александра Македонского и Цезаря, он выделялся среди своих соратников «необъятным честолюбием». С юности познавший не только воинскую славу под командованием Суворова, но и каземат Петропавловской крепости, и ссылку, он упрямо двигался к высоким целям, без достижения которых жизнь казалась ему бессмысленной.

Окончивший Наполеоновские войны героем легенды, отправленный покорять неукротимый Кавказ, Ермолов мечтал прорваться на просторы Азии, разгромив Персию, и дойти до Индии.

Европейская образованность, мощное обаяние, трогательная забота о подчиненных сочетались в нем с рациональной жестокостью и язвительным высокомерием. Ему поклонялись и его ненавидели.

«Сфинксом новейших времен» назвал его А. С. Грибоедов, близко его знавший. Предлагаемая читателю книга — попытка разгадать эту «загадку Сфинкса».

А. Я. Ливергант
СОМЕРСЕТ МОЭМ

Герой этой книги был самым читаемым и одним из самых преуспевающих английских писателей XX века. Притом что жизнь он вел вполне упорядоченную и даже размеренную, она оказалась довольно яркой и насыщенной, в ней было всего очень много — много друзей и знакомых, много любовных историй, много путешествий, много творчества. Про таких, как он, говорят — *self-made man* — человек, который сделал себя сам. Прежде, чем стать писателем, Моэм работал врачом, участвовал в Первой мировой войне, а снискав славу на литературном поприще, попробовал себя в роли резидента британской разведки, в этом качестве ему

даже довелось поработать в России в 1917 году. Книги и пьесы Сомерсета Моэма очень популярны и в наши дни. В Приложении к биографии талантливого английского писателя и драматурга представлены путевые очерки Моэма, еще не публиковавшиеся на русском языке и переведенные автором книги.

notes

Примечания

1

Полное собрание законов. СПб., 1830. Т. 16.

Ключевский В. О. Русская история. М., 2006.

3

Там же.

4

Там же.

Соловьеве. М. История России с древнейших времен. М., 2005.

Ключевский В. О. Русская история. М., 2006.

Большая российская энциклопедия. М., 2007. Т. 8.

Россия под надзором: отчеты Третьего отделения. 1827–1869: Сборник документов. М., 2006.

Климова Л. В. Взаимодействие генерал-губернаторов с центральными и местными органами управления во второй половине XIX века // Наше Отечество. М., 2009. Вып. VII.

Адрес-календарь Москвы. М., 1874.

11

Дневник П. А. Валуева, министра внутренних дел. 1865–1876. Т. 2. М., 1961. С. 289.

Климова Л. В. Взаимодействие генерал-губернаторов с центральными и местными органами управления во второй половине XIX века // Наше Отечество. М., 2009. Вып. VII.

Кузовлева О. В. Управление Москвой: взгляд в прошлое // Московский архив. М., 2000.

14

Из письма к графу С. Р. Воронцову от 28 апреля 1814 г.// Русский архив. 1887. № 2. С. 184.

Ростопчин Ф. В. Правда о пожаре Москвы. М., 1823.

Ростопчин Ф. В. Ох, французы! М., 1992.

17

Вяземский П. А. Характеристические заметки и воспоминания о графе Ростопчине // Русский архив. 1877. Кн. 2. Вып. 5. С. 69–78.

Федорченко В. И. Императорский Дом. Выдающиеся сановники: Энциклопедия биографий. Т. 2. Красноярск; М., 2000.

Мещерякова А. О. Федор Васильевич Ростопчин: у основания консерватизма и национализма в России. Воронеж, 2007.

Осипов К. Суворов. Рига: Литгосиздат, 1949.

Минаков А. Ю. Роль событий 1812 г. в становлении русского консерватизма // Консерватизм в России и Западной Европе: Сборник научных работ. Воронеж, 2005.

22

Русский архив. 1876. № 12. С. 393.

Отечественная война 1812 года. Биографический словарь. М., 2011.

Чичагов П. В. Записки. М., 2002.

Булич Н. Н. Очерки по истории русской литературы и просвещения с начала XIX века. 2-е изд. СПб., 1912.

Кондратенко А. «Профессор хлебопашества» Федор Ростопчин // Орловская правда. 2003. 15 августа.

РостопчинФ. В. Сочинения. СПб., 1853. С. 197–198.

Ростопчин Ф. В. Правда о пожаре Москвы. М., 1823.

29

Анненков П. В. Исторические и эстетические вопросы в романе гр. Л. Н. Толстого «Война и мир» //Л. Н. Толстой в русской критике: Сборник статей. М… 1952.

Ростопчин Ф. В. Правда о пожаре Москвы. М., 1823.

Бочкарев В. Н. Консерваторы и националисты в России в начале XIX века // Отечественная война и русское общество. М., 1911.

Предтеченский А. В. Очерки общественно-политической истории России в первой половине XIX в. М.; Л., 1957.

33

Ростопчин Ф. В. Записки о 1812 годе // *Ростопчин Ф. В.* Ох, французы! / Сост. и прим. Г. Д. Овчинникова. М., 1992.

Братья Булгаковы: Письма. Т. 1. М., 2010.

Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона: Биографии: В 12 т. М., 1991–1996.

Братья Булгаковы: Письма. Т. 1. М., 2010.

Борсук Н. В. Ростопчинские афиши. СПб., 1912.

Борсук Н. В. Ростопчинские афиши. СПб., 1912.

Рязанцев А. Воспоминания очевидца о пребывании французов в Москве в 1812 году. М., 1862.

Ростопчин Ф. В. Правда о пожаре Москвы. М., 1823.

Борсук Н. В. Ростопчинские афиши. СПб., 1912.

Братья Булгаковы: Письма. Т 1. М., 2010.

Рязанцев А. Воспоминания очевидца о пребывании французов в Москве в 1812 году. М., 1862.

Рязанцев А. Воспоминания очевидца о пребывании французов в Москве в 1812 году. М., 1862.

Бестужев-Рюмин А. Д. Записки Алексея Дмитриевича Бестужева-Рюмина. Краткое описание происшествиям в столице Москве в 1812 году// Русский архив. 1896. Кн. 2. Вып. 7. С. 341–402.

Ростопчин Ф. В. Правда о пожаре Москвы. М., 1823.

Михайловский-Данилевский А. Описание Отечественной войны в 1812 году. Ч. 2. М., 1839.

Ростопчин Ф. В. Правда о пожаре Москвы. М., 1823.

49

Донесение князя Кутузова Александру I от 4 сентября 1812 г.// Бумаги, относящиеся до Отечественной войны 1812 г.: В 7 ч. М., 1897–1903. Ч. 1.С.96.

Горностаев М. В. Генерал-губернатор Москвы Ф. В. Ростопчин: страницы истории 1812 года. М., 2003.

Шведов С. В. Судьба запаса огнестрельного оружия Московского арсенала в 1812 году// Советские архивы. 1985. № 5. С. 66–68.

52

М. И. Кутузов. Сборник документов. М., 1954. Т. 4. Ч. 2. С. 149–152.

Глинка С. Н. Записки. М., 2004.

Ростопчин Ф. В. Афиши 1812 года//Ох, французы! М., 1992.

Бестужев-Рюмин А. Д. Записки Алексея Дмитриевича Бестужева-Рюмина. Краткое описание происшествиям в столице Москве в 1812 году// Русский архив. 1859.

Ростопчин Ф. В. Правда о пожаре Москвы. М., 1823.

Рязанцев А. Воспоминания очевидца о пребывании французов в Москве в 1812 году. М., 1862.

Ростопчин Ф. В. Правда о пожаре Москвы. М., 1823.

Рязанцев А. Воспоминания очевидца о пребывании французов в Москве в 1812 году. М., 1862.

Москва в истории и литературе. М., 2009.

61

Провозглашение [Интенданта или управляющего городом и провинцией Московской]. М., 1812. С. 1.

1812 год в материалах и документах. М., 1995.

63

Стендаль (Бейль А. М.). Москва в первые два дня вступления в нее французов в 1812 году. (Из дневника Стендаля) // Русский архив. 1891. Кн. 2. Вып. 8. С. 490–495.

Москва в истории и литературе. М., 2009.

Воспоминания Е. И. Елагиной и М. В. Беэр // Российский архив: История Отечества в свидетельствах и документах XVIII–XX вв.: Альманах. М., 2005.

Ростопчин Ф. В. Правда о пожаре Москвы. М., 1823.

Москва в истории и литературе. М., 2009.

Ростопчин Ф. В. Правда о пожаре Москвы. М., 1823.

Братья Булгаковы: Письма. Т. 1. М., 2010.

Северная почта. 1813. № 67.

71

ЗакревскийА. А. Письмо А. Я. Булгакову 23 декабря 1813 г. // Российский архив: История Отечества в свидетельствах и документах XVIII–XX вв.: Альманах. М., 2003. С. 41–42.

72

Из писем М. А. Волковой, В. И. Ланской, 1812–1818 гг. А. К. Афанасьева // Российский архив: История Отечества в свидетельствах и документах XVIII–XX вв.: Альманах. М., 2007. С. 558–569.

Русский архив. 1912. № 5. С. 46.

Закревский А. А. Письмо А. Я. Булгакову, 9 августа 1814 г. Петербург// Российский архив: История Отечества в свидетельствах и документах XVIII–XX вв.: Альманах. М., 2003. С. 43–44.

75

Закревский А. А. Письмо А. Я. Булгакову, 18 сентября 1814 г. Петербург // Российский архив: История Отечества в свидетельствах и документах XVIII–XX вв.: Альманах. М., 2003. С. 47.

Закревский А. А. Письмо А. Я. Булгакову, 15 сентября 1814 г. // Российский архив: История Отечества в свидетельствах и документах XVIII–XX вв.: Альманах. М., 2003. С. 46–47.

Ростопчин Ф. В. Из путевых записок 1815 года // *Ростопчин Ф. В.* Ох, французы! М., 1992.

Братья Булгаковы: Письма. Т. 1. М., 2010.

Там же.

Хлесткин В. М. Секретное оружие // Московский журнал. 2011. № 2.

Борсук Н. В. Ростопчинские афиши. СПб., 1912.

Воспоминания сержанта Бургоня. СПб., 1898.

83

Уже после смерти графа в 1833 году его сын Андрей женится на поэтессе Евдокии Сушковой, в замужестве Ростопчиной.

84

Закревский А. А. Письмо А. Я. Булгакову, 28 апреля 1814 г. Париж // Российский архив: История Отечества в свидетельствах и документах XVIII–XX вв.: Альманах. М., 2003. С. 42–43.

Гудзий Н. К. Лев Толстой: Критико-биографический очерк. 3-е изд., перераб. и доп. М., 1960.

Ростопчин Ф. В. Записки о 1812 годе // *Ростопчин Ф. В.* Ох, французы! М., 1992.

Ростопчин Ф. В. Правда о московском пожаре. М., 1823.

Пушкин А. С. Путешествие из Москвы в Петербург // *Пушкин А. С.* Полное собрание сочинений: В 10 т. Л., 1977–1979. Т. 7. С. 184–210.

Ныне усадьба Гончаровых отреставрирована и в ней находится дом отдыха МАИ. В главном доме восстановлена комната, посвященная А. С. Пушкину и Н. Н. Гончаровой.

Рассказы бабушки: Из воспоминаний пяти поколений, записанные и собранные ее внуком Д. Благово. Л., 1989.

Соллогуб В. А. Повести. Воспоминания. Л., 1988.

Пушкин А. С. Дневник, 1833–1835 гг. // *Пушкин А. С.* Полное собрание сочинений: В 16 т. М.; Л., 1949. Т. 12. С. 314–337.

Пушкин А. С. Пиковая дама // *Пушкин А. С.* Полное собрание сочинений: В 10 т. Л., 1978. Т. 6. С. 210–237.

Братья Булгаковы: Письма. М.: Захаров, 2010. Т. 2 / Письма 1821–1826 гг.

Соллогуб В. А. Повести. Воспоминания. Л., 1988.

Рассказы бабушки: Из воспоминаний пяти поколений, записанные и собранные ее внуком Д. Благово. Л., 1989.

Манфред А. З. Великая французская революция. М., 1983.

Отечественная война и русское общество. М., 1911.

Голицына Н. П. Моя судьба — это я. М., 2010.

Орлов Н. А. Штурм Праги Суворовым в 1794 году. СПб., 1894.

Балязин В. Московские градоначальники. М., 1997.

102

Очерк жизни светлейшего князя Дмитрия Владимировича Голицына: Собрание из достоверных источников. М.: Унив. тип., 1845.

Михайловский-Данилевский А. И. История второй войны Александра I с Наполеоном. СПб., 1846.

104

Очерк жизни светлейшего князя Дмитрия Владимировича Голицына: Собрание из достоверных источников. М.: Унив. тип., 1845.

105

Скарретка В. П. Черты из жизни светлейшего князя Дмитрия Владимировича Голицына // Сочинения Вильгельма Скарретки. М.: Унив. тип., 1844.

106

Очерк жизни светлейшего князя Дмитрия Владимировича Голицына: Собрание из достоверных источников. М.: Унив. тип., 1845.

107

Военная энциклопедия: В 8 т. Т. 1: «А» — Бюлов. М., 1997.

Отечественная война и русское общество. М., 1911.

М. И. Кутузов: Сборник документов. М., 1954.

Глинка Ф. М. Очерки Бородинского сражения. М., 1839.

111

Там же.

М. И. Кутузов: Сборник документов. М., 1954.

113

Там же.

М. И. Кутузов: Сборник документов. М., 1954.

Клаузевиц К. 1812 год. М., 1937.

116

Братья Булгаковы: Письма. М., 2010. Т. 2 / Письма 1821–1826 гг.

117

Михайловский-Данилевский А. И. Военная галерея Зимнего дворца. СПб., 1845. Т. 1.

118

Некролог князя Дмитрия Владимировича Голицына // [М. Погодин] М., 1844.

119

Братья Булгаковы: Письма. М., 2010. Т. 2 / Письма 1821–1826 гг.

120

Там же.

121

Братья Булгаковы: Письмо от 6 марта 1820 г.

122

Несколько слов в память незабвенного начальника… князя Дмитрия Владимировича Голицына// [Соч.] Кн. М. Н. Голицына, почетного попечителя Московской градской больницы… М.: Тип. С. Селивановского, 1844.

123

Из речи почетного попечителя Московской градской больницы князя М. Н. Голицына перед больными «В память незабвенного начальника, его светлости князя Д. В. Голицына». М.: Тип. С. Селивановского, 1844.

Романюк С. К. По землям московских сел и слобод. М., 2001.

125

Князь Дмитрий Владимирович Голицын: [Некролог] / [С. Шевырев] М.: Унив. тип., ценз. 1844.

126

17, 18 и 19 мая 1844 года в Москве: [Некролог Д. В. Голицына] / [С. Шевырев] М.: Унив. тип., ценз. 1844.

127

Несколько слов в память незабвенного начальника… князя Дмитрия Владимировича Голицына// [Соч.] Кн. М. Н. Голицына, почетного попечителя Московской градской больницы… М.: Тип. С. Селивановского, 1844.

128

Князь Дмитрий Владимирович Голицын: [Некролог] / [С. Шевырев] М.: Унив. тип., ценз. 1844.

Пушкин А. С. Письма, 1826–1830. М.; Л., 1928. Т. 2.

Королева Н. В. Тютчев и Пушкин // Пушкин: Исследования и материалы. Т. IV. М., 1962.

131

Речь президента Московского общества сельского хозяйства… князя Дмитрия Владимировича Голицына, произнесенная в экстраординарном собрании, бывшем 12 октября 1835 года. М.: Тип. С. Селивановского, ценз. 1835.

132

Речь в память усопшего попечителя Московской практической коммерческой академии, светлейшего князя Дмитрия Владимировича Голицына, говоренная в Академии, мая 1844 года, секретарем Совета Академии, коллежским советником Егором Классеном. М.: Унив. тип., 1844.

Бобров Е. А. А. С. Пушкин в Казани // Пушкин и его современники: Материалы и исследования. СПб., 1905. Вып. 3. С. 23–67.

134

Братья Булгаковы: Письма. М., 2010. Т 2 / Письма 1821–1826 гг.

135

Там же.

136

Гоголь в неизданной переписке современников (1833–1853) // Пушкин. Лермонтов. Гоголь / М.: Изд-во АН СССР, 1952. С. 533–772 (Литературное наследство; Т. 58).

137

Гоголь в неизданной переписке современников (1833–1853) // Пушкин. Лермонтов. Гоголь / М.: Изд-во АН СССР, 1952. С. 533–772 (Литературное наследство; Т. 58).

138

Там же.

Аксакове. Т. История моего знакомства с Гоголем. М., 1960. С. 9—120.

Москвитянин. 1844. № 5.

141

Аксакова В. С. Письмо И. С. Аксакову, 6 февраля 1842 г. // Пушкин. Лермонтов. Гоголь. М., 1952. С. 612–614 (Литературное наследство; Т. 58).

142

Толченов А. Гоголь в Одессе//Музыкальный свет. 1876. № 31 /Пушкин. Лермонтов. Гоголь. М., 1952. С. 612–614 (Литературное наследство; Т. 58).

143

Стихотворения 1815–1852 гг. // *Жуковский В. А.* Полное собрание сочинений и писем: В 20 т. М., 1999.

Русский архив (14 декабря — день восстания декабристов на Сенатской площади в 1825 году). 1902. Кн. I. С. 283.

145

Светлейший князь Дмитрий Владимирович Голицын в 1820–1843 гг. // Русская старина. 1889. № 7. С. 147–148.

Россия под надзором. Отчеты III отделения. 1827–1869. М., 2006.

147

Пушкин А. С. Письма, 1826–1830// *Пушкин А. С.* Письма. М.;Л., 1928. Т. 2. С. 2–124.

Муравьев В. Б. Святая дорога. М., 2003.

Комаровский Е. Ф. Записки. М., 1914.

Записки Д. Н. Свербеева. Т. I. М., 1899. С. 105–106.

151

Русский архив. 1901. Кн. II. С. 343.

152

Русская старина. 1889. № 7. С. 56–57.

153

Модзалевский Б. Л. Василий Петрович Зубков и его Записки // Пушкин и его современники: Материалы и исследования / Комиссия для изд. соч. Пушкина при Отделении русского языка и словесности Имп. акад, наук. СПб., 1906. Вып. 4. С. 90—186.

154

Русская старина. 1883. Т. 40. С. 164.

Пушкин в воспоминаниях современников. М., 1998.

156

Князь Дмитрий Владимирович Голицын: [Некролог] / [С. Шевырев] М.: Унив. тип., ценз. 1844.

157

ЦГИА. Ф. 472. Оп. 12, 1828 г. Д. 399. Л. 91–91 об.

Пушкин А. С. Письма, 1826— // *Пушкин А. С.* Письма. М.;Л., 1928.

Т.2. С. 2–124.

159

Барсуков Н. П. Жизнь и труды М. П. Погодина. Кн. III. С. 203–204.

160

Там же.

161

Пушкин А. С. Письма, 1826–1830// *Пушкин А. С.* Письма. М.;Л., 1928. Т. 2.С. 2-124.

Булгаков А. Я. Современные записки и воспоминания мои. Отрывки из дневника // Московский журнал. 2010. № 5.

163

Пушкин А. С. Полное собрание сочинений, 1837–1937: В 16 т. М.;Л., 1937–1959. Т. 14. 1941. Переписка, 1828–1831.

164

Там же.

165

Рассказы бабушки: Из воспоминаний пяти поколений, записанные и собранные ее внуком Д. Благово. Л., 1989.

Никольский В. А. Старая Москва: историко-культурный путеводитель. Л., 1924.

167

Князь Дмитрий Владимирович Голицын: [Некролог] / [С. Шевырев] М.: Унив. тип., ценз. 1844.

Фикелъмон Д. Дневник 1829–1837. Весь пушкинский Петербург. СПб., 2009.

169

Рассказы бабушки: Из воспоминаний пяти поколений, записанные и собранные ее внуком Д. Благово. Л., 1989.

Рассказы бабушки: Из воспоминаний пяти поколений, записанные и собранные ее внуком Д. Благово. Л., 1989.

171

Ивченко Л. Л. «Молитесь все вы за нас, а мы, кажется, не струсим…» // Российский архив: История Отечества в свидетельствах и документах XVIII–XX вв.: Альманах. М., 1996. С. 247–256.

172

Несколько слов в память незабвенного начальника… князя Дмитрия Владимировича Голицына// [Соч.] Кн. М. Н. Голицына, почетного попечителя Московской градской больницы… М.: Тип. С. Селивановского, 1844.

Соллогуб В. А. Повести. Воспоминания. Л., 1988.

174

17, 18 и 19 мая 1844 года в Москве: [Некролог Д. В. Голицына] / [С. Шевырев] М.: Унив. тип., ценз. 1844.

Долгоруков П. В. Петербургские очерки. Памфлеты эмигранта. 1860–1867. М., 1992. С. 275.

176

Закревский А. А. Письмо К. Я. Булгакову, 29 апреля 1811 г. // Российский архив: История Отечества в свидетельствах и документах XVIII–XX вв.: Альманах. М., 2003. С. 31.

177

Закревский А. А. Письмо К. Я. Булгакову, 29 апреля 1812 г. Вилькомир // Российский архив: История Отечества в свидетельствах и документах XVIII–XX вв.: Альманах. М., 2003. С. 33–34.

Братья Булгаковы: Письма. Т 1. М., 2010.

179

Закревский А. А. Письмо А. Я. Булгакову, 6 ноября 1812 г. Новгород// Российский архив: История Отечества в свидетельствах и документах XVIII–XX вв.: Альманах. М., 2003. С. 34–35.

180

Закревский А. А. Письмо А. Я. Булгакову, 16 марта 1813 г. Калиш // Российский архив: История Отечества в свидетельствах и документах XVIII–XX вв.: Альманах. М., 2003. С. 37–38.

181

Закревский А. А. Письмо А. Я. Булгакову, 30 мая 1813 г. Петерсвальде // Российский архив: История Отечества в свидетельствах и документах XVIII–XX вв.: Альманах. М., 2003. С. 38.

182

Закревский А. А. Письмо А. Я. Булгакову, 9 июня 1813 г. Петерсвальде // Российский архив: История Отечества в свидетельствах и документах XVIII–XX вв.: Альманах. М., 2003. С. 38–39.

183

Закревский А. А. Письмо А. Я. Булгакову, 22 июня 1813 г. Петерсвальде // Российский архив: История Отечества в свидетельствах и документах XVIII–XX вв.: Альманах. М., 2003. С. 39.

184

Закревский А. А. Письмо А. Я. Булгакову, 13 декабря 1813 г. Фрейбург// Российский архив: История Отечества в свидетельствах и документах XVIII–XX вв.: Альманах. М., 2003. С. 40–41.

185

Закревский А. А. Письмо А. Я. Булгакову, 25 августа 1814 г. Петербург// Российский архив: История Отечества в свидетельствах и документах XVIII–XX вв.: Альманах. М., 2003. С. 44–45.

186

Закревский А. А. Письмо А. Я. Булгакову, 23 марта 1814 г. с. Масси // Российский архив: История Отечества в свидетельствах и документах XVIII–XX вв.: Альманах. М., 2003. С. 42.

187

Закревский А. А. Письмо А. Я. Булгакову, 28 апреля 1814 г. Париж // Российский архив: История Отечества в свидетельствах и документах XVIII–XX вв.: Альманах. М., 2003. С. 42–43.

188

Закревский А. А. Письмо А. Я. Булгакову, 20 июля 1814 г. с. Ивановское // Российский архив: История Отечества в свидетельствах и документах XVIII–XX вв.: Альманах. М., 2003. С. 43.

189

Закревский А. А. Письмо А Я. Булгакову, 7 декабря 1814 г. Петербург// Российский архив: История Отечества в свидетельствах и документах XVIII–XX вв.: Альманах. М., 2003. С. 48–49.

Братья Булгаковы: Письма. Т. 1. М., 2010.

Братья Булгаковы: Письма. Т. 1. М., 2010.

Архив князя Воронцова. СПб., 1890. Т. 37.

193

Закревский А. А. Письмо А. Я. Булгакову, 16 декабря 1812 г. Петербург// Российский архив: История Отечества в свидетельствах и документах XV1H-XX вв.: Альманах. М., 2003. С. 35–36.

Долгоруков П. В. Петербургские очерки. Памфлеты эмигранта. 1860–1867. М., 1992.

195

Письмо князя П. М. Волконского А. А. Закревскому о кончине императора Александра Павловича // Автографы Императорской публичной библиотеки. 1872. Вып. 1.

Черейский Л. А. Пушкин и его окружение // АН СССР. Отд. лит. и яз. Пушкинской комиссии / Отв. ред. В. Э. Вацуро. 2-е изд., доп. и перераб. Л., 1989.

Бородкин М. М. История Финляндии: Время императора Александра I. СПб., 1909. С. 550–551.

198

Бумаги графа Арсения Андреевича Закревского. Т. II // Сборник Русского исторического общества. 1891. Т. 78.

Исмагулова Т. Д. Генерал-губернатор Финляндии граф Закревский // Stop in Finland. 2004. № 9.

Бородкин М. М. История Финляндии: Время императора Николая I. Пг., 1915.

201

Бородкин М. М. История Финляндии: Время императора Александра I. В 2 т. СПб., 1908–1909.

Выскочков Л. В. Финляндский генерал-губернатор Арсений Андреевич Закревский (1823–1831) // Санкт-Петербург и страны Северной Европы. Материалы пятой ежегодной научной конференции. 25–26 апреля 2003 г.

203

Бумаги графа Арсения Андреевича Закревского. Т II // Сборник Русского исторического общества. СПб., 1891. Т. 78.

Друцкий-Соколинский Д. В. Биографическая заметка о жизни графа Арсения Андреевича Закревского… // Сборник РИО. Т. 73. СПб., 1890. С. VIII.

Бородкин М. М. История Финляндии: Время императора Николая I. Пг., 1915.

Друцкий-Соколинский Д. В. Биографическая заметка о жизни графа Арсения Андреевича Закревского… // Сборник РИО. Т. 73. СПб., 1890. С. VIII.

207

Гоголь Н. В. Прошение на имя министра внутренних дел А. А. Закревского от октября 1829 г. С.-Петербург // *Гоголь И. В.* Полное собрание сочинений: [В 14 т.] [М.; Л.]: Изд-во АН СССР, [1937–1952]. Т. 10. 1940. Письма, 1820–1835. С. 382.

Айзенштокъ И. Я. и др. Комментарии // *Гоголь Н. В.* Полное собрание сочинений: [В 14 т.] [М.; Л.]: Изд-во АН СССР, [1937–1952]. Т. 10. 1940. Письма, 1820–1835. С. 385–501.

Братья Булгаковы: Письма. Т. 3. М., 2010.

210

Неизданные письма к Пушкину // [А. С. Пушкин: Исследования и материалы] М., 1934. С. 551–606 (Литературное наследство; Т. 16–18).

Барсуков Н. П. Жизнь и труды М. П. Погодина. Кн. 17. СПб., 1903.

Кондратьев И. К. Седая старина Москвы. М., 1893.

213

Фигнер А. В. Воспоминания о графе А. А. Закревском // Исторический вестник. 1885. Т. 20. № 6. С. 664.

Найденов Н. Воспоминания о виденном, слышанном и испытанном. М., 1903. Т 1.

Вишняков Н. П. Сведения о купеческом роде Вишняковых. М., 1903–1911.

Дубельт Л. В. Дневник 1851 г. // Российский архив: История Отечества в свидетельствах и документах XVIII–XX вв.: Альманах. М., 1995. С. 142–304.

Балязин В. Н. Московские градоначальники. М., 1997.

218

Там же.

219

Дубельт Л. В. Дневник 1851 г. // Российский архив: История Отечества в свидетельствах и документах XVIII–XX вв.: Альманах. М., 1995. С. 142–304.

Федорченко В. И. Императорский Дом. Выдающиеся сановники: Энциклопедия биографий. Т. 1. Красноярск; М., 2000.

Трифонов Н. А. Н. Ф. Павлов. Избранное. М., 1988.

Аксаков С. Т. История моего знакомства с Гоголем. М., 1960 (Литературные памятники).

Бартенев П. И. Воспоминания // Российский архив: История Отечества в свидетельствах и документах XVIII–XX вв. М., 1994. С. 47–95.

Дубельт Л. В. Дневник 1851 г. // Российский архив: История Отечества в свидетельствах и документах XVIII–XX вв.: Альманах. М., 1995. С. 146–248.

225

Дубельт Л. В. Дневник 1851 г. // Российский архив: История Отечества в свидетельствах и документах XVIII–XX вв.: Альманах. М., 1995. С. 142–304.

Васькин А. А. Чемодан — вокзал — Москва. Чего мы не знаем о девяти московских вокзалах? М., 2010.

Московский архив. М., 2001. Вып. 2.

История Москвы: В 6 т. (1952–1959). М» 1954. Т. 3. С. 244.

229

Танеев С. И. Маскарады в столицах (Материал для истории) // Русский архив. 1885. Кн. 3. Вып. 9. С. 148–153.

Московские легенды, записанные Евгением Барановым. М., 1993.

231

Россия под надзором: отчеты Третьего отделения. 1827–1869. Сборник документов. М., 2006.

М. К. Грибовский. Неизвестный донос о тайном обществе // Российский архив: История Отечества в свидетельствах и документах XVIII–XX вв. Альманах. М., 2003. С. 78–84.

Сборник РИО. СПб., 1892. Т. 78.

Русские портреты XVIII и XIX столетий. СПб., 1905–1909.

Казанцев В. С. Древнерусский род князей Долгоруковых и его сиятельство князь В. А. Долгоруков. В память 25-летия управления его Москвою. М., 1891.

Казанцев В. С. Древнерусский род князей Долгоруковых и его сиятельство князь В. А. Долгоруков. В память 25-летия управления его Москвою. М… 1891.

237

Там же.

Вишневский А. Н. Князь В. А. Долгоруков, в память столетнего дня его рождения. М., 1910.

Вишневский А. Н. Князь В. А. Долгоруков, в память столетнего дня его рождения. М., 1910.

Климова Л. В. Взаимодействие генерал-губернаторов с центральными и местными органами управления во второй половине XIX века // Наше Отечество. М., 2009. Вып. VII.

Кузовлева О. В. Управление Москвой: взгляд в прошлое // Московский архив. 1999. Вып. 2.

Ушедшая Москва. Воспоминания современников о Москве второй половины XIX века. М., 1964.

Яровинский М. Я. Здравоохранение Москвы. М., 1988.

Петров Ф. А., Фалалеева М. В. Московский генерал-губернатор князь В. А. Долгоруков // Московский журнал. 2010. Приложение 2.

Яровинский М. Я. Здравоохранение Москвы. М., 1988.

Васькин А. А. Архитектура и строительство московских вокзалов. М., 2007.

Ушедшая Москва. Воспоминания современников о Москве второй половины XIX века. М., 1964.

Москва в 1870—1880-х гг. // *Богословский М. М.* Историография, мемуаристика и эпистолярия. М., 1987.

249

Толстой Л. Н. Мои воспоминания. М., 1969. (Таня, о которой пишет автор, — дочь писателя.)

Гиляровский В. А. Москва и москвичи. М., 1983.

Солженицын А. И. Двести лет вместе. М., 2000.

252

ОПИ ГИМ. Ф. 402. Оп. 1. Д. 683.

253

Дорошевич В., Лентовский М. В. Поэма из московской жизни. Маг и волшебник. Театральная критика Власа Дорошевича. Минск, 2004.

Гиляровский В. А. Москва газетная. М., 1934.

Шмелев И. С. Избранные сочинения: В 2 т. Т. 2. Рассказы. Богомолье. Лето Господне. М., 1999.

256

Московские церковные ведомости. 1888. № 30. 24 июля.

Селезнев Ю. И. Достоевский. М.: Молодая гвардия, 1981.

Ф. М. Достоевский в воспоминаниях современников. М., 1964.

Московская консерватория: От истоков до наших дней. 1866–2003. М., 2005.

100-летие Московской практической академии коммерческих наук. М., 1910.

Евдокимов И. Исаак Левитан. М., 1959.

Гиляровский В. А. Москва газетная. М., 1934.

Васькин А. А., Гольдштадт М. Г. От Волхонки до Знаменки. М., 2008.

Гиляровский В. А. Москва газетная. М., 1934.

Гиляровский В. А. Москва газетная. М., 1934.

А. Н. Островский в воспоминаниях современников. М., 1966.

Островский А. Н. Полное собрание сочинений. Т XII. Статьи о театре. Записки. Речи. 1859–1886. М., 1952.

Гиляровский В. А. Мои скитания. Люди театра. Минск, 1987.

Петров Ф. А., Фалалеева М. В. Московский генерал-губернатор князь В. А. Долгоруков // Московский журнал. 2010. Приложение 2.

Московские ведомости. 1877. 3 декабря.

Петров Ф. А., Фалалеева М. В. Князь В. А. Долгоруков. Правитель Первопрестольной. М., 2010.

Казанцев В. С. Древнерусский род князей Долгоруковых и его сиятельство князь В. А. Долгоруков. М., 1891.

Полное собрание законов Российской империи. Собрание третье. СПб., 1885. Т. I. № 350.

Гольденвейзер А. Б. Вблизи Толстого. М.: Гослитиздат, 1959. С. 62.

Никольский Ю. Дело о похоронах И. С. Тургенева // Былое. 1917. № 4. С.153.

Дело департамента полиции 1898 года, № 349, «О писателе гр. Л. Н. Толстом» // Былое. 1918. № 9. С. 207.

Многострадальный храм Христа Спасителя // *Васькин А. А., Гольд-штадт М. Г.* От Волхонки до Знаменки. М., 2008.

Шмелев И. С. Избранные сочинения: В 2 т. Т 2. Рассказы. Богомолье. Лето Господне. М., 1999. С. 99—224.

Казанцев В. С. Древнерусский род князей Долгоруковых и его сиятельство князь В. А. Долгоруков. М., 1891.

Линниченко И. А. Патриархальные правители. Одесса, 1916.

Москва в 1870—1880-х гг. // *Богословский М. М.* Историография, мемуаристика и эпистолярия. М., 1987.

Дорошевич В., Лентовский М. В. Поэма из московской жизни. Маг и волшебник. Театральная критика Власа Дорошевича. Минск, 2004.

283

Духовные завещания князя Владимира Андреевича Долгорукова // Русский архив. 1896. Кн. 2. Вып. 4. С. 581–587.

Духовные завещания князя Владимира Андреевича Долгорукова // Русский архив. 1896. Кн. 2. Вып. 4. С. 581–587.

Гиляровский В. А. Москва и москвичи. М., 1983.

286

Духовные завещания князя Владимира Андреевича Долгорукова // Русский архив. 1896. Кн. 2. Вып. 4. С. 581–587.

Джунковский В. Ф. Воспоминания. М., 1994.